Анри Труайя

Член Французской академии

Ги де Мопассан

Роман-биография

«ЭКСМО»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ги де Мопассан (1850–1893) – выдающийся французский писатель, гениальный романист и автор новелл, которые по праву считаются шедеврами мировой литературы. Слава пришла к нему быстро, даже современники считали его классиком. Талантливому ученику Флобера прочили беззаботное и благополучное будущее, но судьба распорядилась иначе…

Что сгубило знаменитого «певца плоти» и неутомимого сердцееда, в каком водовороте бешеных страстей и публичных скандалов проходила жизнь Ги де Мопассана, вы сможете узнать из этой уникальной в своем роде книги. Удивительные факты и неизвестные подробности в интереснейшем романе-биографии, написанном признанным творцом художественного слова Анри Труайя, которому удалось мастерски передать характерные черты яркой и самобытной личности великого француза, подарившего миру «Пышку», «Жизнь», «Милого друга», «Монт-Ориоль» и много других бесценных образцов лучшей литературной прозы.

- Анри Труайя
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Фото
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

Анри Труайя
Ги де Мопассан

Глава 1
Жеребенок вырывается на волю

Прелестница Лора[1] ле Пуатевен, за которой с недавних пор ухаживал некий Гюстав Мопассан, в волнении задавала себе вопрос: соглашаться ли ей на его предложение руки и сердца или не стоит? Ей двадцать пять;[2] красива, с правильными чертами лица и открытым взглядом. Причесанные на прямой пробор и ниспадающие длинными локонами по обе стороны лица густые каштановые волосы подчеркивали умный и решительный характер, который так импонировал ее окружению. Страстно увлеченная литературой, она прочла все, что полагалось прочесть; говорила по-итальянски и по-английски, *захлебывалась* Шекспиром, писала своим близким элегические послания и безмерно восторгалась своим братом Альфредом, который был лучшим другом Гюстава Флобера.

Альфред – рано созревший, рафинированный, мятежный и сумрачный поэт. Как и Флобер, нещадно издевается над буржуа. Лора – непременная участница их дискуссий, игр и фарсов. Оба друга ценят ее критические суждения, а она, в свою очередь, убеждена в том, что их ожидает славная судьба. Рядом с этими исключительными существами ее претендент выглядел не особенно ярким. Да, конечно, он обольстителен, элегантен, с приятными манерами и бархатным взглядом, который стяжал ему столько успехов у женщин. Но Лору терзали опасения, что этому беспечному и рассеянному денди недостанет стати, чтобы удовлетворять ее в интеллектуальном плане. А главное, он не из благородных! Да и сама она страдает оттого, что всего лишь простолюдинка – дочь разорившегося владельца прядильной мануфактуры. После его кончины мать Лоры, Виктуар, обосновалась с детьми у собственной родительницы в рабочем квартале Фекана. Опьяненной гордыней Лоре мечталось вырваться из серой провинциальной повседневности, утвердить себя в свете, заслужить уважение у людей с положением. Она настояла на том, чтобы Гюстав порылся в архивах и доискался до корней своего рода. К счастью, в архивной пыли обнаружился некий Жан-Батист Мопассан, который служил секретарем-советником у короля и в 1752 году был пожалован во дворянство, о чем свидетельствовала выданная австрийским двором грамота. Не сходя с места, Лора настояла, чтобы Гюстав обратился в официальные инстанции и добился права на частицу «де». Если ему это удастся, она, так и быть, примет его предложение.

Послушный ее воле, Гюстав предпринял необходимые шаги, и 9 июля 1846 года гражданский суд Руана разрешил ему отныне именоваться **Гюстав де Мопассан,** к радости невесты, которая теперь не видела никаких препятствий для брака.

Церемония состоялась 9 ноября 1846 года. В том же году брат Лоры Альфред взял в жены сестру Гюстава де Мопассана Луизу. Этот двойной альянс еще более сблизил обе семьи. Но Альфред ле Пуатевен скончался в 1848 году, после короткой жизни, полной безумств и распутства. Лора была убита горем. Перед таковою несправедливостью судьбы она не находила утешения ни в чем ином, как в чтении Шопенгауэра, чей пессимизм соответствовал ее горестному видению человеческого состояния. Но вскоре это черное настроение в одно мгновение сменилось большою радостью: она почувствовала под сердцем дитя. Ребенку, которому ей предстояло дать жизнь, суждено было стать гением. Нельзя, чтоб он увидел свет в «городишке торгашей и заготовщиков солонины», каковым, по ее собственному выражению, был Фекан. Не говоря уже, что семейный очаг на рю Су-ле-Буа[3] был не слишком привлекательным. Есть более достойные места! Как раз незадолго до этого, в сентябре 1849 года, семья Мопассан сняла престижное имение – шато де Миромениль, относившийся к коммуне Турвиль-сюр-Арк, невдалеке от Дьеппа. Когда уже близился срок родин, молодая женщина перебралась в это аристократическое жилище, принадлежавшее некогда маркизу де Флер, затем канцлеру Миромениля. Обитавший в нескольких километрах от владения доктор Гитон помогал Лоре при первых схватках. В актах гражданского состояния младенец был записан под именем Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан, родившимся 5 августа 1850 года в шато де Миромениль, округ Турвиль-сюр-Арк. Миропомазан 20 августа того же года и крещен год спустя, 17 августа 1851 года, в церкви того же прихода. Между тем по городку циркулировали странные слухи. Иные недоброжелатели утверждали, что в действительности ребенок увидел свет в Фекане (фи, что за банальность!), что Лора поселилась в замке Миромениль только после того, как разрешилась от бремени, и что была достигнута договоренность с муниципалитетом Турвиля-сюр-Арк, чтобы в официальных документах было указано место рождения, не соответствующее действительности. Страстная мамаша Лора всю жизнь будет отвергать эту оскорбительную сплетню. Чтобы родить на свет в 1856 году своего второго сына, Эрве, она снова наняла замок – на этот раз в Гренвиль-Имовиле, близ Гавра. Ей казалось важным, чтобы с самых нежных лет дети росли в окружении почтенных стен, старинной мебели и портретов

предков.[4] Сей вкус к барским жилищам не мешал молодой чете регулярно наезжать в Фекан, в Этрета, в Париж. Особенно не сиделось на месте ретивому Гюставу. Он терпеть не мог находиться в четырех стенах и ради развлечения ухлестывал за прекрасным полом. Что девицы легкого поведения, что юные служанки – все годилось, все приходилось впору! С этими податливыми созданиями без комплексов он находил отдохновение от раздражения, которое вызывала в нем супруга – спесивая, гневливая, властная и слишком занятая духовными вопросами. Лора была в курсе похождений своего неверного благоверного и обрушивала на него все новые жалобы и упреки. До детских ушей порою докатывалось эхо этих скандалов, и крошки смутно догадывались об их мотивах.

В 1859 году превратности фортуны вынудили беззаботного Гюстава де Мопассана искать заработка. Сперва он был вторым кассиром у меняльного агента Эдуарда Жюля, потом – компаньоном у Штольца в Париже, и все семейство перебралось в столицу. И там он, понятно, дал волю своему пристрастию к романам со всякой встречной-поперечной. Такого Лора более выносить не могла. Да и сам Ги, которому исполнилось девять лет, понимал, что отцу его не сидится дома из-за других женщин. Будучи пансионером императорского лицея «Наполеон» (ныне лицей имени Генриха IV), он пишет матери: «Я был первым по сочинению. В награду за это мадам де Х. повела меня вместе с папой в цирк. Похоже, что она вознаграждает и папу, только не знаю за что». В другой раз Ги и Эрве были приглашены на детский утренник одною дамой, про которую все знали, что она – любовница их папеньки. Эрве болел, и Лора решила остаться с ним. Гюстав де Мопассан настоял на том, чтобы самому отвести Ги на праздник. Желая поиздеваться над родителем, мальчик одевался нарочито медленно, и, разозлившись, папенька пригрозил, что они вообще никуда не пойдут.

– Ничего! – ответил Ги. – Меня это не беспокоит! Ты же рвешься туда еще больше меня!

– Ну хорошо. Давай завязывай шнурки, – сказал отец.

– Нет, это ты мне их завяжешь! И, вот увидишь, поступишь так, как мне будет угодно![5]

Сконфуженный, Гюстав де Мопассан повиновался. Чуть позже Ги довелось стать свидетелем яростной сцены, разыгравшейся между отцом и матерью. Он вспомнит об этом в одной из своих новелл:[6]

«…Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил по лицу.

Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались, она пыталась заслониться от ударов, но это ей не удавалось. А отец, как сумасшедший, все бил и бил ее. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.

А я… мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятения. Отец, услышав мои крики, обернулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шагнул ко мне. Я подумал, что он хочет убить меня, и, точно затравленный зверь, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в чащу леса.

Я бежал час, может быть, два – не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и тяжким горем, способным навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть. Пожалуй, я так и умер бы под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил лесник и не отвел силой домой.

Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: „Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь“. Я ничего не ответил и заплакал. Отец не произнес ни слова».

Так и жили – от ссор к примирениям, от примирений к ссорам, и в итоге атмосфера в доме сделалась невыносимою. Гюстав уже не делил супружеского ложа со своей законною, нервы у которой были на пределе и которая наконец-то решилась на разрыв. В ту эпоху расторжение брака по закону еще было невозможно, и дело решили полюбовно, простым актом с участием мирового судьи. Лора забирала себе свое добро и детей, на которых супругу надлежало выплачивать ей по тысяче шестьсот франков в год. Несмотря на такой разрыв, Ги отнюдь не разделял мамашиного злопыхательства в отношении непутевого папеньки. Разногласия между родителями убедили его уже в этом юном возрасте, что всякий брак обречен на провал. Он уже тогда пришел к мысли, что мужчина не создан для того, чтобы день за днем и ночь за ночью жить с одной и той же женщиной. Всем сердцем жалея мать, он в то же время готов был понять отца и на протяжении многих лет будет питать к нему чувство

снисходительности с некоей долей презрения.

Перед тем как разойтись, чета Мопассан купила в Этрета виллу с названьем «Ле Верги» – солидное строение XVIII века по дороге на Фекан. Там и обосновалась Лора с детьми. Окрашенный в белое «дорогой дом» с балконом, увитым диким виноградом и ползучей жимолостью, окружал обширный сад, засаженный березами, липами, кленами и падубами. В интерьере тяжелая мебель покоилась в ароматах воска и лаванды. По стенам в полумраке влажно блестели руанские фаянсы. Посреди этого строгого и богатого убранства мать прививала сыну вкус к поэзии, читая ему вслух «Сон в летнюю ночь» и «Макбета». Она с волнением констатировала, что ее чадо походило на дядюшку Альфреда, преждевременно скончавшегося поэта. В один прекрасный день 1862 года, получив от Флобера экземпляр «Саламбо» с дарственной надписью, она не смогла сдержать восторга и сразу же после обеда принялась декламировать детям пассажи из последнего романа своего большого друга. «А каким внимательным слушателем был мой сын, – писала она автору. – Твои описания, порою такие изящные, порою столь ужасные, вызывали блеск молний в его черных глазах». Ги было в ту пору двенадцать лет. «Ах, – думала Лора, – если бы он тоже смог стать писателем!»

Это страстное обучение с литературным уклоном дополнял этретатский викарий, аббат Обур – «большой, *костистый,* а мысли такие же квадратные, как и тело».[7] Аббат обучал Ги и Эрве грамматике, арифметике, катехизису и рудиментам латинского. И, чтобы дать отрокам начальное понятие о том свете, велел зазубрить наизусть имена усопших, «начертанные на крестах из черного дерева» на кладбище. Но требовалось нечто большее, чтобы произвести впечатление на мальчиков. Едва закончится урок, а Ги уже бежит к пляжу, вдыхает полной грудью порывистый ветер с моря, слушает резкие крики чаек и болтает о том о сем с рыбаками. Эрве никогда не сопровождает брата в этих шатаниях. Он на шесть лет моложе, и с Ги его ничто не сближает. Живя под одной крышей, мальчики, по сути дела, не знают друг друга. Старшего сына Лора предпочитает младшему – она видит в Ги маленького мужчину по своему сердцу: умного, крепкого и притом чуткого к соблазнам искусства. Он бегло разговаривает на нормандском наречии. Его товарищи по играм – обожженные солнцем, живые, дерзкие и не испорченные образованием мальчишки. Он не видит никакой разницы между собой и этими развеселыми босяками. Страсть к ветрам и парусам – вот что более всего объединяет их. Порою какой-нибудь рыбак приглашает «маленького Мопассана» на свое суденышко. Чем

бурнее море, тем радостнее приключение для Ги. В тринадцать лет он уже умеет управляться с кормилом, использовать благоприятное направление ветра и выравнивать качающуюся на волнах посудину всякий раз, когда корма устремлялась вниз. Борьба против стихий наполняла его дионисийской радостью. Вспоминая об этих своих детских проказах, он скажет уже в зрелом возрасте: «Я чувствую, что в моих жилах струится кровь морских разбойников».

Но отнюдь не только море привлекало его. Нормандскую землю он обожал не менее. Ему были по сердцу яблоневые сады, пруды с засох-шими ивами по берегам, дворы ферм, оглашаемые прерывистым собачьим лаем. Лица крестьян запечатлелись в его памяти с фотографической точностью. Пытливо наблюдая, мальчик постигал, каков этот люд – стиснув зубы сносящий боль, скуповатый, хитрый и наивный одновременно. Речи крестьян он слушал с еще большим вниманием, чем проповеди аббата Обура.

В двух шагах от этого первобытного социума находился Этрета, вошедший в моду с 1850-х годов с легкой руки Альфонса Карра – как только наступала весна, его наполнял буржуазный и артистический мир. Сопровождаемые детворой и гувернантками, элегантные дамы под зонтиками бродили по галечному пляжу и мечтательно глядели на море. Мужчины отправлялись в казино, размещавшееся в скромной деревянной постройке, играли в бильярд, читали газеты. Когда наступало время чаепития, слушали какого-нибудь заезжего пианиста, наигрывавшего мелодии Оффенбаха. Для молодежи устраивались танцульки, а более степенная публика собиралась в гостиной, именуемой «Античным салонам». Надо ли говорить, какая пропасть отделяла этот никчемный, праздный и сытый народец от окружавшего его местного населения – немытого-нечесаного, аза в глаза не видавшего, но гордого. Не колеблясь, Ги взял сторону простолюдинов. Он – нормандец до мозга костей и намерен оставаться таковым.

Когда он отправлялся на длительные прогулки по побережью, Лора сопровождала его. Как-то раз, увлекшись, они были застигнуты врасплох приливом и, спасаясь от волн, забрались на отвесную скалу. Здесь, на вершине, опасность бросила их в объятья друг друга вдали от мира людей, среди пронзительных криков чаек. О, это был возвышенный момент – Лора соединилась со своим сыном, объятая стихиями дикой природы, и Ги тут же попросил мать дать ему возможность жить как хочет – как жеребенок, вырвавшийся на волю.

Лоре хотелось, чтобы эта близость между нею и сыном сохранилась на всю жизнь. Между тем необходимо было подумать

о более серьезном образовании, чем то, что мог предложить аббат Обур. Скрепя сердце мать решила поместить Ги в пансион. Верная своим убеждениям, что ее сына должна окружать почтенная атмосфера, она выбрала Богословский институт в Ивето, близ Этрета. Знание простого народа вещь хорошая, но неплохо бы к тому и нанести глазурь из хороших манер, обязательную для любого мужчины, желающего сделать карьеру в свете.

Глава 2
Поэзия и реальность

В ту пору, когда Ги переступил порог Богословского института в Ивето, ему исполнилось тринадцать лет. Он уже сложился в крепкого, коренастого парня с развитой мускулатурой, выдающимся торсом и мятежным пламенем в глазах. Привыкший к вольному существованию на берегу моря среди простых рыбацких детей, он задыхался в тесных стенах школы. Все его товарищи по классу были отпрысками обеспеченных семей – сыновьями судовладельцев, мясоторговцев, богатых землевладельцев. В этой «цитадели нормандского духа», как называли это заведение в округе, царила аскетичная атмосфера благочестия и дисциплины. Вспоминая о годах, проведенных в пансионе, Мопассан напишет так: «Там пахло молитвою так же, как пахнет на базаре свежевыловленной рыбой». В условиях жизни среди сутан он стал воспринимать религию как нечто ужасное. Обязанность молиться в строго определенное время, назидательные чтения за трапезой, декламация строк из Евангелия – все это казалось ему гротескным. Отцы церкви только искажают Бога, который, по его мысли, куда более величествен посреди разгулявшихся волн, нежели в стенах банальной церкви. А главное, что он, так любивший плескаться в воде, терпеть не мог нечистоты, в которой погрязли однокашники и менторы. Здесь ноги мыли всего три раза в год, а баню не посещали вовсе. Тупили зрение за чтением тупейших книг. А ведь поначалу Ги слыл образцом прилежания и послушания! Его оценки за триместр были удовлетворительными; поведение было оценено как «соответствующее правилам», труд – «усердным», характер – «вежливым и послушным». Но за этим видимым примирением притаилась буря. Снова и снова Ги жаловался на мигрени, чтобы только не ходить на уроки. И свысока посматривал на этот тюремный мир, в котором ярко высвечивались интеллектуальное убожество профессоров и вызывающая грубость товарищей по классу. Кое-как проглатывая вперемешку латынь, греческий, арифметику и грамматику, он мечтал о больших каникулах. Мама обещала повести его на бал, если оценки будут хорошими. Тогда он написал ей: «Если для тебя нет разницы, то вместо бала, который ты мне обещала… я попросил бы тебя, чтобы ты выдала мне хотя бы половину тех денег, которые тебе пришлось бы истратить на бал, – и я навсегда остался бы перед тобою в долгу,

потому что смог бы купить лодку. Это – единственное, о чем я помышляю после возвращения… Я не собираюсь покупать лодку из тех, что продают парижанам, – они ни на что не годны. Нет, я пойду к знакомому таможеннику, и он продаст мне лодку такую, как те, что стоят в церкви – на манер рыбацких, с округлым днищем» (письмо от 2 мая 1864 г.).

В ожидании нового обретения радостей навигации Ги задумал удивить однокашников своими благородными корнями. Он потребовал от отца прислать ему бумагу, украшенную гербом, «да чтоб непременно с твоими инициалами, потому что они такие же, как мои; ты доставишь мне много удовольствия; у меня вовсе нет бумаги, помеченной моим именем, и мне были бы очень нужны две-три тетради для множества писем, которые я собираюсь написать». Сия забота об эпистолярной элегантности не мешает школяру, как какому-нибудь портовому грузчику, обмениваться с одногодками тумаками и затрещинами; ну а после вышеозначенного он нередко удалялся в уединение предаваться философским размышлениям. Кузену Луи ле Пуатевену он описывает свою «альма-матер» как «печальный монастырь, где царствуют попы, ханжество, тоска, etc… etc… и откуда исходит запах сутаны, который распространяется по всему городу Ивето» (апрель 1868 г.). Чтобы развлечься, он втихаря читает «Новую Элоизу» и замечает: «Эта книга послужила мне одновременно противоядием и благочестивым чтением на Страстной неделе» (там же). Его раздражает, что в классе не говорят о Викторе Гюго. Им уже овладевает лирическая лихорадка. Ему хочется походить на своего дядюшку Альфреда ле Пуатевена, посвятившего все свое существование поэзии. Эта тяга к рифмотворчеству усиливалась в нем приходом половой зрелости. Ему одинаково любы сдержанная музыка слов и недоступные округлые формы женского тела. Истомленный жаждою идеала, он пишет:

Мне узок горизонт, мне не хватает дня,
И вся Вселенная ничтожна для меня!

Или так:

Жизнь – это пенный след за темною кормою
Иль хрупкий анемон, что выращен скалою.

(Перевод Д. Маркиша.)

Едва настрочивши дюжину стихов, он тут же шлет их матери на апробацию. Читая их, она вкушала гордость, смешанную с нежностью. Пред нею, за чертами сына, вставал ее горячо любимый брат. Ги обладает талантом, она в этом уверена и спешит известить об этом своего друга детства Гюстава Флобера.

Но Ги не довольствуется тем, чтобы тешить музу одними только подражаниями – с той или иной степенью успеха – поэтам-современникам. Бок о бок с рафинированным вкусом к служенью изнеженной лире в нем играет аппетит к сочинению брутальных фарсов, вульгарных фацеций, жажда надавать оплеух существующему порядку. То он забавляется тем, что пародирует перед своими однокашниками курс профессора теологии, который пугал их муками ада; то, объявив, что подаваемый школярам на стол напиток, именуемый *абонданс*,[8] недостоин нормандского *чертога*, привыкшего к терпкому вкусу сидра, вовлекает товарищей в безумную авантюру: тайком завладев связкой ключей эконома, школяры дождались, пока заснут директор и классные надзиратели, спустились в погреб, отомкнули замки и допьяна напились вина и водки.[9] Скандал, разразившийся на следующий день, был быстро замят, чтобы не ставить под удар репутацию учебного заведения. Ги, хоть и удостоился суровой выволочки, все же худо-бедно смог продолжить учебный курс. Он по привычке сетует на здоровье, жалуется на не слишком свежую кормежку в школьной столовой и превозносит в стихах полноту своей души. По его мнению, проза не способна передать волнующие его большие чувства. Прежде всего он задается вопросом, как еще можно восславить женщину, кроме как прибегая к божественной мелодии стихов. И то сказать, женщины заботят его все более и более. На каникулах в Этрета он пожирает глазами входящих в воду купальщиц, догадывается по их лицам, как им зябко, воображает их роскошные бюсты, скрытые под пышными купальными костюмами, грезит о жарких объятиях в полумраке грота. Возвратившись в школу, он поверяет свои любовные порывы тетрадным листам. Одна из его кузин, которую он выводит под инициалами E.D., только что вышла замуж, и по этому случаю он шлет ей послание в восьмисложниках:

Ты мне сказала: «Праздник счастья,
Где адаманты и цветы
Венчают опьяненных страстью,
Воспеть стихами должен ты».

Но я живу как погребенный

Средь скучных стен монастыря;
Что знаю в жизни монотонной
За исключеньем стихаря?

(Перевод Д. Маркиша.)

Стихи пошли гулять по классу и попали в руки начальству. Ошеломленный директор заведения решил, что на сей раз Мопассан перешел все возможные границы. Чуждый всякой дисциплине ученик не только хочет воспеть счастье влюбленных, но еще и жалуется, что со всех сторон окружен попами! Паршивая овца должна быть во что бы то ни стало изгнана из стада! И Ги был выпровожен в Этрета привратником учебного заведения.

Но случилось так, что Лора не разгневалась на изгнание сына из школы. Она слишком любила его, чтобы и дальше обрекать на затворническое существование среди благочестивых преподавателей, ни бельмеса не смыслящих в поэзии. И подтверждает это в письме к Флоберу: «Ему там нисколько не нравилось; аскетичность этой монастырской жизни плохо сочеталась с его впечатлительной и тонкой натурой, и бедный ребенок задыхался среди этих высоких стен».

А «бедный ребенок» не мог нарадоваться тому, как все обернулось. Между делом ему впервые случилось познать страсти любви. «В шестнадцать лет», – заверит он своего случайного собеседника Франка Арриса. И гордо воспевает в стихах свои ebats[10] с красивой и простой девушкой по имени Жанна, которой едва исполнилось четырнадцать:

Un grand feu de bonheur nous tordit jusqu'aux os.
Elle criait: «Assez, assez!» et sur le dos
Elle tomba, les yeux fermés, comme une masse.

(Великий пламень страсти разобрал нас до костей. Она кричала: «Довольно, довольно» и с зажмуренными глазами повалилась навзничь, точно куль.)

Две вещи по сердцу отроку, столь чудесно спасшемуся из школы: женщина и вода. И то и другое бурлило во все том же водовороте сладострастья, красоты и вероломства. Отныне, говорит он, его жизнь будет разделена между двумя страстями – l'amour de la chair et l'amour de la mer.[11]

Этим летом 1868 года в Этрета яблоку было негде упасть. Друзья потащили Ги в домик художника Курбе, прилепившийся к самой скале. «В обширной голой комнате, – писал Мопассан, –

толстый, жирный и грязный мужчина наносил кухонным ножом пласты белил на большой чистый холст. Время от времени он прислонял лицо к стеклу и смотрел на бурю» (статья из «Жиль Бласа» – август 1869 г.). Но еще больше, чем мастерская старого художника, привлекала его суета внешнего мира. Казино, где играют и танцуют. Элегантные коляски, теснящиеся возле отелей. Парижанки в летних платьях, проходящие, отворачивая нос, мимо прилавков с рыбой, про которую рыбачки во все горло клялись и божились, что она свежайшая; другие, более смелые курортницы, спускающиеся прямиком к пляжу. Ги с вожделением пожирал их глазами от персей до ягодиц. О, как бы хотелось ему быть на месте тех крепких телом купальщиков, которые помогают им бросить вызов волнам! В один прекрасный вечер он знакомится с одной парижанкой, Фанни де Кл., которая покорила его своей задорной улыбкой и грациозными жестами. Ничуть не колеблясь, он пишет в ее честь стихотворение и подносит. Но когда некоторое время спустя он приходит к ней с визитом, то застает ее за декламацией этого стихотворения в кругу друзей, сопровождаемой взрывами хохота. Застывши на месте от стыда и гнева, точно пораженный молнией, он чувствует себя окончательно убежденным в том, что женщина – существо фальшивое, ветреное и презренное, и единственное, что оправдывает ее существование на земле, – утоление аппетитов мужчин.

В эту пору предметом любопытства обитателей Этрета был молодой англичанин по имени Пауэл, который жил с другом и обезьяной в одиноком шале с названием «Хижина Дольмансе». Ги порою встречал этого оригинала на галечном пляже и обменивался с ним парой слов. Как-то утром, часов около десяти, он услышал крики матросов – под вырубленной самой природой в скале аркой, называемой «Ворота верховья» (Porte d'Amont), тонул пловец. Матросы тут же вскочили в шлюпку, а с ними и Ги. С силой налегая на весла, они поспешили к месту происшествия, и, по счастью, им удалось выудить из воды того неосторожного, который малость перебрал хмельного и теперь был уносим в море приливною волною. Этим несчастным, который тяжело дышал и трясся, был не кто иной, как духовный учитель Пауэла, выдающийся английский поэт Элджернон Чарльз Суинберн. Как участник спасения, Ги получил от двух приятелей приглашение на следующий день на завтрак.

«Хижина Дольмансе» представляла собою низенький домик, «сложенный из силиката и крытый соломою». В его стенах двое эксцентриков принимали молодого человека, не скрывавшего своего удивления. На фоне жирного и рыхлого Пауэла худоба

Суинберна навевала мысли о смерти. Изможденное тело непрерывно била дрожь. Суинберн, тридцати одного года от роду, был поэтом странного романтизма, другом прерафаэлитов Россетти и Берн-Джонса. С первых же слов, которыми он обменялся с хозяевами, Ги точно попал под колдовские чары. Он догадался, что это скромное с виду нормандское жилище в действительности – место культа, где сочетаются дружба, порок и вкус к погребальной эстетике. «В продолжение всего завтрака, – напишет Мопассан, – разговаривали об искусстве, литературе и человечестве, и мнения этих двух друзей отбрасывали на предметы разговора некий волнующий мертвенный отсвет, ибо присущая обоим манера видения и понимания представила мне их как двух больных одержимых, опьяненных извращенной и магической поэзией». Сколь бы ни был он увлечен разговором, от него не укрылась странность украшавших комнату картин и безделушек: «На акварели, если мне не изменяет память, была изображена голова мертвеца, плывущая на розовой раковине по безбрежному океану под луною с человечьим лицом». Тут и там на столиках с выгнутыми ножками были разложены человеческие кости. Среди них – рука с содранной кожей, каковая выглядела как пергамент; на костях чернели обнажившиеся мышцы и были видны следы давно запекшейся крови. Видя, сколь очарован был сим предметом Ги, Суинберн предложил его гостю в качестве сувенира на память об этой встрече. Разом напуганный и покоренный, Ги поблагодарил. Он уже никогда впредь не расстанется с этим знаком того света. Чтобы увлечь его еще дальше в заблуждение чувств, его веселые хозяева, шушукаясь, стали демонстрировать ему фотографии похабно-садистской тематики и напаивать «крепкими ликерами» специфического вкуса. Вокруг троицы прыгала крупная обезьяна и время от времени позволяла Пауэлу гладить себя. Кстати, в меню значилось и такое блюдо, как обезьянье жаркое. Испытывая омерзение, Ги все же согласился принять новое приглашение двух друзей. На сей раз обезьяна отсутствовала. Оказывается, ее повесил камердинер, позавидовав тем ласкам, которыми хозяева одаривали животное. В то время, как оба англичанина сетовали на потерю, Ги размышлял о степени их сумасбродства – и изумлялся. Впрочем, он здравомысляще отклонил новое приглашение. Его настораживали гомосексуальные наклонности этих двух приятелей – окрест уже ходили разговоры, что обитатели «Хижины Дольмансе» составили противоестественную пару и не знают, что бы им еще такое выдумать, чтобы восславить Сада. «Они искали удовлетворения с обезьянами и юными прислугами четырнадцати-пятнадцати лет, которых Пауэлу

присылали из Англии примерно каждые три месяца, – маленькими слугами необыкновенной опрятности и свежести», – расскажет Мопассан Эдмону де Гонкуру. Что касается обезьяны, то «она спала с Пауэлом в одной постели». И в заключение Мопассан пишет: «Это были истинные герои *Старца* (Сада), которые не остановились бы перед преступлением» (*Гонкур*. Дневник, 28 февраля 1875 г.).

Словом, всецело отказываясь стать жертвой или сообщником этих двух апостолов сексуальных извращений, Ги был очарован их выдумкой, их дерзостью, их пренебрежением социальными условностями. Его крестьянская бодрость, вкус к вольным просторам и физическим усилиям любопытным образом сочетались с влечением ко всякого рода нездоровым штучкам. Еще до того, как он в самом деле познал женскую любовь, он грезил об эротических причудах. При том что жизнь его била через край, его преследовали мысли о смерти.

С такою путаницей в голове он совершенно не был расположен к продолжению занятий. Но как обеспечить себе человеческое существование без наличия такой вещи, как – святое дело! – звание бакалавра? Превозмогая горе, вызванное новым расставанием, Лора записывает сына пансионером в руанский лицей, носящий имя Корнеля. Там он, по ее замыслу, должен будет закончить свой класс риторики. Она хотела видеть его не только крепким телом, но и образованным, не только соблазнительным, но и серьезным, и в той же степени привязанным к матери, как и стремящимся добиться своего царственного места в литературе. Если все задуманное удастся, он станет ей утешением в ее супружеских неудачах и послужит оправданием ее надменного отказа связать свою жизнь с каким-либо новым мужчиной.

Глава 3
Два наставника

Спасенный из удушающей атмосферы Ивето, Ги с облегчением наслаждался в руанском лицее духом толерантности и свободы. Отметки он получал хорошие. Педагоги не только не препятствовали его призванию, но, напротив, побуждали сочинять стихи. Одно из его стихотворений – «Бог-Создатель» – воспроизведено в Тетради почета:

> Бог – это высшая святость в своем постоянстве,
> Царь над царями, царящий в бескрайнем пространстве…

(Перевод Д. Маркиша.)

Другое его стихотворение было сочтено достойным декламации устами автора по случаю Сент-Шарлеманя.[12] Товарищи обожали Ги и стремились ему подражать. Но его ожидала апробация куда более высокого порядка. Лора выбрала ему в качестве «корреспондента» в Руане одного из своих друзей юных лет, поэта и драматурга Луи Буиле. 46-летний Луи Буиле, хранитель муниципальной библиотеки, был крупным брюхатым мосье, с бородою, отвислыми усами и взглядом, завуаленным толстыми стеклами пенсне. Закоренелый холостяк, любитель пряных фарсов, хулитель буржуа, он обладал маниакальной страстью к своему искусству. Принимая у себя юного поклонника, он начал с того, что сказал ему: «Сотни слов, а может быть, и менее, достаточно, чтобы составить репутацию художнику, если они безупречны». И он переходит к тщательному рассмотрению творчества Ги, которое считает рыхлым и слишком прозаичным. Ласково и терпеливо он дает ему советы по стихосложению и даже поправляет собственным пером неуклюжие выражения. Ошалевший от благодарности, Ги проводит у своего благодетеля все выходные. Как-то в четверг он обнаруживает там, в облаке дыма, еще одного толстого и усатого мосье, с оголенным лбом, волосами на затылке и глазами навыкате под усталыми веками. Это был Гюстав Флобер, прославленный автор «Мадам Бовари» и «Саламбо». Когда-то он входил в небольшую группу друзей, окружавших Лору. Разумеется, он был весьма растроган, увидев подле себя сына своей подруги по играм, да еще обладающего вкусом к словесности. Но уже поздно, ему нужно возвращаться к

себе в Круассе на грузопассажирском пароходе. Вся троица вышла из дому и направилась к набережной. По дороге веселая компания задержалась на ярмарке Сен-Ромен, которая была в самом разгаре, и два закадычных приятеля, охваченные искренней веселостью, сымпровизировали перед ошеломленным Ги фарс на нормандском диалекте. Буиле сыграл роль супруга, который обменивался наиглупейшими комментариями со своею благоверною – в ее роли выступил Флобер. Этот шутовской номер убедил Ги в том, что и гениям иногда нужно хорошенько похохотать, чтобы снять нервное напряжение. Может быть и так, что этот смех на публике – признак исключительного таланта, который затем развивается в условиях одиночества. Человеку искусства назначено быть естественным, самим собою (а порою даже до грубости, почему бы нет?) в текущей жизни и рафинированным перед чистым листом бумаги – такое определение художника как нельзя лучше подходило веселому малому из Этрета.

Перед тем как сесть на пароход, Флобер пригласил Мопассана нанести визит в его пристанище в местечке Круассе невдалеке от Руана, на берегу Сены. Несколько дней спустя Ги и Луи Буиле пожаловали к мэтру в гости. Флобер принял их у себя в загроможденном книгами и заваленном обрывками бумаги логовище, где сквозь клубы табачного дыма в углу проблескивал позолоченный Будда. Из окон можно было наблюдать, как по реке туда-сюда снуют лодки, баржи, пыхтящие рыболовецкие баркасы. Время от времени местность оглашалась зловещим гудком какого-нибудь трудяги-буксира. Эта портовая суета контрастировала с тишиною писательского кабинета. При виде знаменитого писателя гигантского роста и с лицом викинга Ги охватила нерешительность. Наконец он набрался храбрости и извлек из кармана свои последние стихи. Флобер прочел, покачал головой и заявил:

– Не знаю, будет ли у вас талант. То, что вы мне принесли, свидетельствует о некоторой толике разума, но не забывайте, молодой человек, что талант, как сказал Бюффон,[13] есть не что иное, как долгое терпение. Трудитесь!

И Флобер согласился регулярно принимать у себя своего младшего собрата по перу и наблюдать за его пиитическими опытами. Ги сердечно поблагодарил маэстро и зачастил в Круассе, несмотря даже на то, что вскоре Флобер стал с насмешкой относиться к своему ученику.

В один прекрасный воскресный день маэстро определился с тем, в чем хотел бы наставить Ги. «Если обладаешь оригинальностью, – сказал он отроку, – нужно в первую очередь

высвободить ее, а если не обладаешь – приобрести… Речь о том, чтобы достаточно длительно и с достаточным вниманием глядеть на все, что хочешь выразить, дабы открыть в этом аспект, который никто еще не видел и не описал. Самая незначительная вещь содержит немного неведомого. Отыщем это. Чтобы описать пламя костра и дерево в долине, посидим-ка перед этим костром и перед этим деревом, пока они в наших глазах не перестанут походить ни на какое другое дерево и ни на какой другой костер. Вот таким путем становятся оригинальными».

В другой раз, боясь, что он будет не понят этим отроком, который упорствует в лирике, тогда как искусство суть прежде всего дело наблюдения, ясности ума и труда, он выражает свою концепцию еще четче: «Когда вы проходите перед сидящим на пороге своей лавки бакалейщиком, перед консьержем, который попыхивает своей трубкой, перед биржей фиакров, покажите мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позу, всю их физическую внешность, которая содержала бы и всю их, указанную адресом образа, моральную натуру, так чтобы я не спутал их ни с каким другим бакалейщиком и никаким другим консьержем, и покажите мне одним-единственным словом, чем лошадь, запряженная в данный фиакр, не похожа на полсотни других, которые следуют за нею или идут впереди» (из предисловия к «Пьеру и Жану»).

Говоря это, Флобер несколько подзабыл, что обращается не к романисту, а к неисправимому рифмоплету. По правде говоря, он сомневался, что будущее юного Мопассана окажется связанным с поэзией. Если отрок кропает вирши, чтобы развязать свой стиль, – что ж; но если он имеет талант, он должен посвятить себя прозе. «Он встряхивал Мопассана, как Наполеон делал выволочки своим гренадерам, которым желал добра, – скажет Лора. – Он сердился, когда две следующие друг за другом фразы строились по одному рисунку и одному ритму. Ни одна безделица не ускользала от его педантичной критики».[14]

Другой литературный консультант Мопассана, Буиле, был не столь строг в своих рекомендациях. И он-то как раз был сторонником того, чтобы подтолкнуть Ги к развитию своих поэтических талантов. «Проживи Буиле чуть дольше, он сделал бы из Ги поэта, – заявит Лора, говоря о дебютах своего сына. – Это Флобер сделал из него романиста».

Находясь между этими двумя усатыми менторами, один из которых, со своими скромными сборниками стихов, сделался символом поэзии, а другой, со своими гигантскими романами, – символом прозы, Ги задавался вопросом, какой же путь быстрее приведет к славе. Но как Флобер, так и Буиле советовали ему

запастись терпением. По их мнению, писатель высокого ранга не должен жить пером. Произведение искусства лишь тогда обретает ценность, когда вызревает в течение длительного времени, втайне, вдали от всех. С момента, когда оно *существует*, неважно, напечатано оно или нет. Ги прислушивается к этим двум старым друзьям, которые разговаривают, посасывая трубки, и, сколь ни восхищается, все же чувствует себя резко отличным от них. Руководствуясь их комментариями, он ударяется в чтение самых крупных писателей столетия: Гюго, Сент-Бева, Бальзака… Бурному словесному потоку последнего он предпочитает сдержанность, явленную Проспером Мериме в «Коломбе», или эротическое красноречие «Опасных связей». Как бы там ни было, он видит для себя только одно спасение – в сочинительстве, и грезит о том, чтобы в продолжение своей карьеры иметь поддержку в лице этих двух крестных, которые были свидетелями его первых проб пера.

Но случилось несчастье. В начале июля 1869 года здоровье Луи Буиле дало его друзьям повод для беспокойства. Заговорили об альбуминурии. А 18-го числа того же месяца поэт внезапно скончался. Ги сражен болью и возмущением. Одна из двух опор, за которые он собирался держаться, была вырвана у него самым нещадным образом. Оставался только Флобер, который сам убит горем. Оба вместе присутствовали на похоронах среди безразличной толпы, и Ги с ненавистью смотрел на всех этих незнакомых ему людей, всех этих буржуа, которые топтали сад покойного, когда выносили гроб на плечах четырех факельщиков, сокрушая зеленые бордюры и калеча гвоздики и розы.

Ко всему прочему, он не может даже излить свое горе в слезах: менее чем через неделю предстояли экзамены на звание бакалавра. Ги поспешно перечитывает учебники и садится в дилижанс до Каэна, где были назначены испытания. Вот так, по-прежнему убитый горем, Ги предстал перед экзаменаторами. И наконец 27 июля 1869 года он получил звание бакалавра словесности и может этим гордиться! Это смешение подавленности и радости туманило ему голову. Торжество новоиспеченный бакалавр отметил в борделе.

Чем же заняться теперь? После совета с матерью и Флобером он избирает карьеру юриста. В октябре он записывается на первый курс Факультета права в Париже и поселяется в маленькой комнатке в доме № 2 по рю Монсе. В этом же доме проживал и его отец – значит, по замыслу Лоры, сохранившей корректные отношения с мужем, их сын не останется брошенным в огромном городе. Но Гюстав де Мопассан был существом до того легковесным, до того безответственным, что Ги даже и не

пытался искать у него поддержки. Напротив, он сам чувствовал себя в какой-то мере морально ответственным за того, кому полагалось бы его опекать. Он даже относился к нему как к малолетке и порою бранил. Отныне он, Ги, а не Гюстав де Мопассан, становится главой семьи.

В Париже его занимает не столько курс обучения, сколько кипение политической жизни. Не будет преувеличением сказать, что Францию охватила лихорадка. Императорскому режиму приходилось противостоять все более язвительной оппозиции. Ги забавлялся, читая памфлеты в прессе. Узнав о том, что принц Пьер Бонапарт застрелил из револьвера журналиста Виктора Нуара, он одобряет мысль Рошфора, высказанную на страницах «Марсельезы»: «Я имел слабость верить, что представитель фамилии Бонапарт способен быть кем-то еще, кроме как убийцей». 12 января 1870 года, в день похорон Нуара, на Елисейских Полях собралась разъяренная толпа. Двинется ли она на Тюильри? Нет, рассеялась. Поставив все с ног на голову, Верховный суд оправдывает Пьера Бонапарта и отправляет Рошфора на шесть месяцев за решетку. В напряженной, несмотря на кажущееся спокойствие, атмосфере правительство назначает на воскресенье 8 мая 1870 года плебисцит,[15] в котором народу предстояло высказать свое мнение по поводу последних реформ либеральной Империи. Результат оказался довольно странным. Если провинция в массе своей выразила одобрение политики Наполеона III, то Париж высказал недовольство своим владыкой. В целом – 7 миллионов 350 тысяч «да» и 1 миллион 500 тысяч «нет»; слишком большое число недовольных для страны, теоретически послушной самовластью. Не кончится ли тем, что Франция станет на тропу революции? Ги опасается этого, ибо терпеть не может народных движений. Как бы ни любил он маленьких людей каждого в отдельности, его охватывает страх, коль они начинают действовать массой. Но вскоре неурядицы внутренней политики покажутся цветочками перед лицом куда более грозной опасности. Прусский кайзер Вильгельм I, мечтавший посадить на испанский престол своего кузена, в последний момент отозвал эту кандидатуру; но министры Наполеона III, подстрекаемые императрицей Евгенией, требовали сейчас же гарантий на будущее. Вильгельм I, пребывавший на водах в Эмсе, счел эту просьбу никчемною и известил о ней находившегося в Берлине Бисмарка. Последний жаждал войны во что бы то ни стало, ибо знал, что в военном отношении Германия была подготовлена к ней лучше Франции, и настоял на том, чтобы переделать умеренный ответ своего государя в оскорбительный отказ. Едва сделавшись известной, новость

воспламенила общественное мнение. 14 июля 1870 года бесчисленная толпа прошествовала маршем по парижским бульварам – пели «Марсельезу», выкрикивали лозунг «На Берлин!», бранили Тьера, который, будучи во главе оппозиции, еще пытался спасти мир. Военный министр маршал Лебеф утверждал, что армия к войне готова с блеском: «Все на месте, до последней пуговицы на гетрах!» И вот 16 июля 1870 года Франция объявляет Пруссии войну. Это потрясение ошеломило Ги. Он мгновенно понял, что планы каждого находятся в зависимости от внешних событий, управлять которыми не в его власти. Он, который в простоте своей полагал себя центром мирозданья, внезапно ощутил себя ничтожным, как соломинка, уносимая порывом бури. Глупость соотечественников привела его в подавленное состояние. В ту эпоху набор в армию осуществлялся путем жеребьевки; не дожидаясь, пока его вызовут для прохождения этой формальности, Ги записался волонтером. Вчерашний студент и поэт сегодня стал солдатом. А исполнилось ему всего двадцать лет.

Глава 4
Война

В Венсенне Ги ни шатко ни валко сдал экзамены, необходимые для зачисления в интендантскую службу. Он был определен во 2-ю дивизию в Руане в должности военного писаря. Непыльная должностишка, думалось ему, перышком чиркать – а там, глядишь, войдем триумфальным маршем в Берлин! Действительность, однако же, мигом поубавила всем спеси. В какие-нибудь несколько дней враг заполонил Эльзас, в его руки пал Форбах; немецкие орды устремились в глубь Лотарингии, а главные французские войска оказались блокированными возле Метца. Все живые силы нации устремились на фронт. Захваченный этим порывом, Ги оказался словно затертым льдинами во время ледохода. Французские войска отступали в беспорядке перед победоносными пруссаками. Уносимый этой волною, Ги шагал как сомнамбула; икры ныли, ступни были стерты в кровь, лямки ранца резали плечи. Куда несемся? Где остановимся? Никто о том не ведает. Вокруг, словно в тумане кошмара, – сонмище лиц, истощенных, небритых, смирившихся или перепуганных: мобилизованные – «мирные люди, скромные рантье», сгибавшиеся под тяжестью винтовок-шаспо, «мобильные гвардейцы» вообще без оружия, драгуны без лошадей, едва волочившие ноги, сбитые с толку артиллеристы, пехотинцы в красных штанах… Ни знамен, ни офицеров. Безымянная сутолока поражения. Еще вчера Ги ожидал решительного перелома событий, блистательного контрнаступления. Сегодня он сомневался. Во время краткого привала он пишет письмо матери, находившейся в безопасности в Этрета: «Я спасся с нашей армией, обратившейся в беспорядочное бегство; я избежал плена. Я перешел из авангарда в арьергард с пакетом от интенданта к генералу. Проделал пешком пятнадцать лье (около 60 км. – *Прим пер.*). Пробегав и прошагав всю предшествующую ночь, доставляя приказы, прилег на камне в ледяном погребе. Когда б не мои добрые ноги, попал бы в плен. **Чувствую себя хорошо**». (Выделено в тексте. – *Прим. пер*.)

Второго сентября после жестоких сражений капитулировал Седан, обороняемый Мак-Магоном, на фланге у которого находился Наполеон III. Император попал в плен. Императрица бежала в Англию. Париж взбунтовался. Перемена режима была неизбежна. В столичной ратуше провозглашается Республика. В спешном порядке создается правительство Национальной

обороны. Горожан охватывает патриотический подъем, они мечтают только о реванше. Поскитавшись здесь и там с остатками разбитой армии, изголодавшийся, изнуренный, опустошенный, Ги оказался в столице, готовившейся к продолжительной осаде. Чтобы успокоить мать, он пишет письмо, в котором даже прикидывается убежденным, что партия еще не проиграна для Франции: «Милая мама, сегодня я напишу тебе еще несколько слов, потому что через два дня коммуникации между Парижем и остальной Францией окажутся прерванными. Пруссаки идут на нас форсированным маршем. Что же касается исхода войны, то он более не вызывает сомнений. Пруссаки пропали, они прекрасно осознают это, и единственная их надежда – взять Париж наскоком. Но мы здесь готовы встретить их».

В какой-то момент он думает прежде всего о том, чтобы спасти свою жизнь. Так, он отказывается оставаться на ночлег в Венсеннском замке, чтобы зря не подставлять себя под вражеский огонь. «Лучше уж я во время осады буду в Париже, чем в старой крепости, куда нас поместили, ибо пруссаки разнесут ее своими пушками», – объясняет он в письме к матери. Ги вновь встретился с отцом, и тот из кожи лезет вон, чтобы зачислить сына в интендантскую службу в Париже. «Если я послушаю его, – замечает Ги, – попрошу места охранника большого подземного коллектора сточных вод, чтобы быть укрытым от бомб». От этого беспорядочного отступления в его памяти запечатлелись картины стыда, людской глупости и жестокости. Он видел трупы пруссаков и французов, лежавшие вперемешку в грязи, расстрелы заподозренных в шпионаже по обыкновенному доносу соседа, коров, забитых в чистом поле, чтобы не попали в руки врага… Он истекал потом, трясся от страха и гнева в дни и ночи отступления. Война наводила на него ужас, и он испытывал презрение к бездарным воеводам и политикам, которые только и умели, что чесать языком. Это презрение не мешало ему в той же мере ненавидеть и пруссаков, которые поганили его родную землю. Чем больше их будет побито, тем ему больше радости. Ги восхищался вольными стрелками, героическими крестьянами, которые тут и там истребляли «бошей», мстя за честь Франции. Он сохранит в памяти немало таких историй, которые пригодятся ему для рассказов. А пока он весь в ожидании решающих событий и, как и все вокруг, верит, что Париж выстоит.

Первые вражеские снаряды упали на город 5 января 1871 года. Худо-бедно сопротивление было организовано. В отсутствие регулярного снабжения горожане выстраивались в очереди за съестными припасами, проклинали хапуг, жаждущих поживы, ели даже крыс. Наконец 28 января истерзанный, изможденный Париж

капитулировал. Было заключено перемирие, которое должно было стать шагом к решающему миру. Были проведены выборы в органы законодательной власти, большинство голосов получили умеренные. Назначенный главою исполнительной власти Тьер вступает в переговоры с Бисмарком. Противник требует уступки Эльзаса и части Лотарингии и уплаты контрибуции в размере пяти миллиардов франков.[16] Униженная Франция соглашается на эти условия. Германские войска входят в Париж. Как только восстанавливается связь с внешним миром, Ги добивается разрешения покинуть столицу. «Война была окончена, – напишет Мопассан. – Немцы оккупировали Францию; страна трепыхалась, как побежденный борец под коленом победителя. Из обезумевшего, изголодавшегося, отчаявшегося Парижа отходили к новым границам первые поезда, медленно проезжали мимо полей и деревень. Первые пассажиры разглядывали из-за занавесок разоренные долины и сожженные хутора» («Дуэль»). По дороге на Руан он глядит скрепя сердце на прусских солдат, сидящих верхом на стульях перед редкими еще покуда уцелевшими домиками и курящих трубки. Повсюду остроконечные каски, повсюду различные наречья языка тевтонов. Надо было как-то устраиваться. Выживать в ожидании возможности нормальной жизни.

Пока Ги пребывал в Руане, а затем в Этрета у матери, Париж поднял мятеж. Vive la Com-mune! Тьер отдал приказ правительству и армии отойти к Версалю, и тут же в городе одержала победу власть восставших. Когда регулярные войска вернулись для подавления бунта, весь город ощетинился баррикадами. На улицах столицы француз бился с французом на глазах у зубоскаливших пруссаков. Кровавые репрессии положили конец анархии, продолжавшейся несколько недель.[17] Ги ощущал себя чуждым этой народной революции, мотивов которой он так до конца и не мог понять. Для него что коммунары, что версальцы – все один черт; и в тех и в других он видит одно лишь слепое озверение и тупую жажду убивать. Как будто мало досталось от «бошей», с которыми сцепились из-за пустяка! Не в пример этим одержимым Ги как никогда жаждал мира, при котором только и могут прийти успех и наслаждения. Но в Париже придрались к его документам, и Ги сел в поезд и возвратился в казарму. Надолго ли? Готовился новый закон, устанавливавший срок военной службы в семь лет. Вскипая от гнева, Ги уже представлял себе, как его пошлют простым солдатом в какой-нибудь 21-й артиллерийский полк. Лучше уж умереть! Он умоляет отца вмешаться, чтобы добиться по крайней мере перевода по службе. И тут ему, вконец отчаявшемуся, улыбнулся шанс: ему нашли

замену![18] Он без колебаний уплачивает оговоренную сумму; демобилизованный в ноябре 1871 года, он о облегчением сбросил военную форму и, по-прежнему ошеломленный, задался вопросом, чем же заняться дальше.

Глава 5
Чиновник

Проиграв войну, французы мечтали только об одном: как можно скорее избавиться от германской оккупации. Тьер выпустил заем, нацеленный на досрочное освобождение французской земли. Подписаться на него было национальным долгом. Охваченные невиданным патриотическим порывом, богачи и бедняки ринулись к окошечкам касс. Три миллиарда франков были собраны в несколько месяцев. Маловероятно, чтобы и Ги присоединился к этому движению: вернувшись к гражданской жизни, он оказался на улице без гроша в кармане. Мамаша, которая с легким сердцем растратила свое состояние, сама существовала в Этрета на медные деньги; папаша также был сте-снен в средствах. Тем не менее он определил сыну небольшое пособие в 110 франков в месяц.[19] Сумма в глазах Ги совершенно незначительная. Ему хотелось бы продолжить юридическое образование, и он клянет отца за жадность. По его мнению, эгоистичный родитель манкирует своими обязанностями и не помогает такому одаренному юноше, как он. А деньги, в которых так нуждается Ги, Гюстав тратит на падших женщин. Между двумя мужчинами то и дело вспыхивали мелочные споры. Ничуть не смущаясь тем, что в свои двадцать два года он живет на средства своей семьи, Ги жалуется матери:

«Я только что жестоко повздорил с отцом и хочу тут же ввести тебя в курс ситуации. Я представил ему свой счет за месяц и обратил его внимание на то, что из-за увеличения расходов на освещение и отопление мне на этот месяц не хватит примерно пяти франков. Но он отказался взглянуть на мой счет, сказав, что не может дать больше и просить бесполезно и что если я не в состоянии укладываться, то я волен жить как хочу, ступать на все четыре стороны, а он умывает руки. Я в самой вежливой форме втолковывал ему, что дело тут всего лишь в отоплении, что я принимал без обсуждений любой его примерный подсчет расходов, в который он по привычке забывал вносить половину статей, говорил, что у меня на обед каждый день всего лишь одно мясное блюдо и одна чашка шоколаду, тогда как мне требовалось бы ежедневно два мясных блюда, тем более – при тех микроскопических порциях, что подают в моем скромном ресторане. Он гневно ответил мне, что сам прекрасно обходился одним мясным блюдом и одной порцией сыру… Ах, ты вот как! – сказал я ему. – Послушай-ка, оставь этот тон и заруби себе на

носу одну вещь, а именно, что первый из божественных и человеческих законов суть любовь к своим детям… Не найдется ни одного самого жалкого человека из народа, зарабатывающего тридцать су[20] в день, который не продал бы все, что имеет, чтобы устроить своих детей, а у меня – есть ли будущее? Как бы мне хотелось жениться, в свой черед обзавестись детьми – смогу ли? Ведь вот чем теперь заканчивается дело! Adieu! И я вылетел, точно бомба. Вернувшись к себе, я сказал консьержу, что меня ни для кого нет. Десять минут спустя явился отец, ему сказали, что я вышел и сегодня не вернусь. Он ушел крайне удивленный…»

И чтобы наглядно подтвердить сказанное, Ги адресует матери счет своим расходам:

ПОЛУЧИЛ НА МЕСЯЦ НА ПРОЖИТЬЕ 110 ФРАНКОВ.
УПЛАЧЕНО:
За месяц консьержу 10
Штопка одежды 3,50
Уголь 4
Хворост 1,90
Растопка 0,50
Стрижка волос 0,60
Две серные ванны 2
Сахар 0,40
Молотый кофе 0,60
Керосин для лампы 5,50
Стирка белья 7
Письма 0,40
Тридцать завтраков 34
Хлебцы 3
Обеды, по 1,60 кажд. 48
Истопнику 5
Мыло 0,50
Итого: 126,90
(Итак), 126,90
Он оплатил мне 8 обедов,
т. е. 12,80
остается 114,10
Еще истопнику 5
остается 109,10[21]

Сверх того, он насчитал мне 5 франков на мелкие удовольствия. Единственное удовольствие, которое я могу себе позволить, – это трубка. Я израсходовал 4 франка на табак – грустное и весьма скромное удовольствие! – и у меня еще долго не будет возможности для других развлечений… Если я посылаю

тебе все эти подробности, так это потому, что он, возможно, будет тебе писать, начиная с сегодняшнего вечера, и я хочу, чтобы ты была в курсе дела. Подождем, увидим, что он скажет и будет делать. Что касается меня, то я решительно настроен стоять на своем. Я первым не пойду на примирение (письмо от 23 ноября 1872 г.).

Это признание в отчаянии Ги выплеснул на роскошную почтовую бумагу с рельефными графской короной и инициалами Г.М. вверху листа, которую получил от папеньки. На самом деле, с каким бы негодованием ни изобличал он своего бесчувственного и непутевого родителя, он ожидал скорейшего примирения. Что бы он там ни говорил, он нуждался в отце, чтобы тот помог ему приискать достойный кусок хлеба. Что-что, а кое-какие связи у Гюстава были, и он не помнил зла. Чтобы умирить отчаяние сына, он нажал на все рычаги и отправился в поход по всем конторам, где у него были друзья. В ту пору производство в чиновники происходило в большинстве случаев по простой рекомендации. Лора вывела на баррикады Флобера, и тот также принялся хлопотать по высоким инстанциям. 7 января 1872 года Ги ходатайствовал о вступлении в службу по Морскому министерству, ему ответили: мол, нет вакантного места. Но Ги не собирался сдаваться: за сына хлопочет Гюстав, обращаясь за поддержкой – ни больше ни меньше – к адмиралу Сессе. Новая неудача: хотя кандидатура Ги и не отвергнута, но подходящей для него должности по-прежнему нет. Наконец 20 марта 1872 года начальник штаба, контрадмирал Кранц, информировал члена Национального собрания адмирала Сессе, что его протеже может приступить к работе в министерстве, так сказать, на добровольных началах, пока не откроется вакансия. Поначалу Ги был приписан к библиотеке, где трудился без оплаты в течение нескольких месяцев; затем был назначен сверх-штатным сотрудником и переведен в Управление колоний, которое в ту пору входило в состав Морского министерства. Снова пришел на помощь адмирал Сессе, и 1 февраля 1873 года Ги с радостью узнает, что получил назначение с жалованьем 125 франков в месяц плюс ежегодная премия в 150 франков. Не бог весть что, но какая ни есть гарантия на будущее.

Однако уже после нескольких дней эйфории новому чиновнику открылась вся та удушливая серость, в которой он принужден был пребывать с утра до вечера. Он, дитя просторов, солнечного света и вольных волн, оказался теперь стиснутым четырьмя стенами и грудами зеленых папок в компании таких же бедолаг. Не кончится ли тем, что, изо дня в день царапая бумагу, с вечно сгорбленной спиной и постоянно опасаясь реприманд

со стороны шефа бюро, он вполне уподобится им? Наблюдая за ними, он без снисхожденья подмечает их несчастные страстишки, жалкое малодушие, мелочные интриги и достойное сожаленья рабское состояние. Ги уже чувствует, что эти подобные мокрицам конторские крысы, прозябающие за величественным фасадом министерства по рю Рояль в ожидании часа выхода наружу, когда-нибудь послужат прототипами персонажей его сочинений. Среди них – мосье Торшбеф из «Наследства» мосье Орей из «Зонтика», у которого такая жадная супруга, что ему приходится довольствоваться дырявым зонтом, мосье де Караван с потными руками, отец Бовен, который дрожит перед своей дамой, и старый делопроизводитель Грапп, и мосье Куропатка, и столько других… Садок персонажей неисчерпаем. Ги чувствует свое интеллектуальное превосходство над этими гомункулами. По словам племянницы Флобера Каролины Комманвиль, он «красивый мальчик среднего роста, немного угловат в плечах, но голова его скроена по ладной модели, а черты подобны тем, что у молодого римского императора». Она добавляет, что он «весьма охоч до всех физических упражнений» и «немного влюблен в самого себя». Каждое утро молодой человек входил в здание Морского министерства «примерно так же, как обвиняемый, который уже видит себя заключенным»; проходил мимо часовых с синими воротничками, поднимался на свой этаж, пожимал руки коллегам, справлялся о том, на месте ли шеф и в каком он настроении, и со вздохом, исполненным разочарования, принимался корпеть над грудившимися у него на столе досье. Впрочем, он не хорохорится перед начальством – как ранее с попами семинарии Ивето, он старается казаться покладистым. По службе он аттестуется как «очень умный и очень способный молодой человек, который получил прекрасное образование и которым очень довольны». И никто не догадывался на рю Рояль, что за внешне учтивым и покладистым служащим скрывается бунтарь-насмешник. По невнимательности пустили волка в овчарню. Ги ненавидит администрацию, горы бумаг, люстриновые рукава. И если он соглашается корпеть над этими никчемными рапортами, так только потому, что ему нужны деньги. Жизнь в Париже стоит дорого. На отца он рассчитывать более не может. Правда, они несколько сблизились после ряда словесных перепалок. Ибо Гюстав так же нуждается в Ги, как и Ги нуждается в Гюставе. Гюстав – большой ребенок, и Ги не раз с простодушием преподавал ему уроки. В целом же дела в семье были достаточно запутанными. С некоторых пор дедушка Ги, Жюль де Мопассан, отказался оказывать финансовую помощь своему сыну Гюставу, разменявшему шестой десяток. Тот был в ярости. Он заявил, что

Жюль ограбил его, что он разбазарил наследство, на которое имели право его дети. Старец пребывал в агонии, и самое элементарное приличие требовало бы, чтобы сын склонился к его изголовью. Ги так и советовал отцу, но наткнулся на стену. «Я не поеду. Я не желаю ехать в Руан», – повторял Гюстав, опасаясь попасть в ловушку: он думал, что, если он прибудет на место, ему придется улаживать дела с долгами покойного. Он даже говорил о том, что хорошо бы удрать на Восток, только бы не связываться со всею этой тягомотиной. «Я сердечно посмеялся над этой идеей, – пишет Ги матери 22 сентября 1874 года, – он же остался совершенно ошарашенным». В конце концов он принял наследство (на условиях, чтобы отвечать по долгам только в пределах этого последнего) и поручил Ги представить его на похоронах.

Ги не испытывал ни малейшей нежности к усопшему, которого мало знал, а к отцу относился со снисхождением с примесью презрения. Только мать вызывала в нем глубокие чувства. Она скромно жила на полагавшееся ей пособие в 1600 франков ежегодно и на небольшие нерегулярные доходы от сдачи жилья. Уверенная в судьбе Ги, пристроенного на службу в министерство, она была разочарована своим младшим, Эрве, которого находила ветреным, бестолковым, пугливым, да и вообще немного недоумком. Его интересуют лишь оружие да растения. Куда можно определить такого? Да вот и Ги начинает жаловаться. «Я чувствую себя таким потерянным, таким осиротелым и **деморализованным** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*), что вынужден просить тебя написать хоть несколько ободряющих страниц, – пишет он родительнице. – Я опасаюсь наступающей зимы, чувствую свое одиночество, и мои долгие одинокие вечера подчас ужасны. Когда я сижу один за столом с горящей передо мной печальной лампой, то переживаю такие минуты отчаяния, что не знаю больше, к кому броситься». И тем не менее добавляет: «Я только что написал, чтобы немного развлечься, вещицу в духе „Понедельничных рассказов“. Посылаю ее тебе; она, конечно, без всяких претензий, поскольку написана за каких-нибудь четверть часа. Попрошу тебя, однако, возвратить мне рукопись, чтобы я мог использовать ее в дальнейшем». Позже Ги будет настаивать: «Постарайся найти мне сюжеты для новелл. Днем, в министерстве, я мог бы над ними немного работать. Ведь по вечерам я пишу стихи, которые пытаюсь тиснуть в каком-нибудь журнале» (письмо к матери от 30 октября 1874 г.).

Однако, по большому счету, им овладел вкус к прозе. По совету Флобера он пытается писать с силою, точностью и сдержанностью. Но его привлекает фантастический элемент.

Первый рассказ – «Рука трупа» – был вдохновлен визитом к Пауэлу и Суинберну. Этот маленький мрачный текст, созданный под очевидным влиянием Жерара де Нерваля, Гофмана и Эдгара По, очаровал двух лучших друзей автора – Робера Пеншона по прозвищу Ля-Ток и Леона Фонтена по прозвищу Пти-Блё. Кузен Леона Фонтена руководил изданием «L'Almanach lorrain de Pont-à-Mous-son», и публикация «Руки трупа» на страницах этой безвестной провинциальной брошюры не заставила себя ждать. Рассказ был подписан псевдонимом «Жозеф Прюнье». В первый раз увидев себя напечатанным, Ги ликовал. Не начало ли это литературной карьеры по образцу его дядюшки Альфреда? Что подумает о том Флобер? Этот последний, прочтя «Руку трупа», скорчил гримасу: романтизм дешевого пошиба. Взволнованная Лора обратилась к нему с вопросом: «Как ты думаешь, может Ги покинуть министерство и посвятить себя словесности?» Несмотря на то что ему очень не хотелось принимать у себя мамашу своего подопечного, Флобер все же буркнул в ответ: «Еще нет. Не будем делать из него неудачника».[22]

Узнав о таком вердикте, Ги был, конечно же, удручен, но не замедлил отреагировать. Уязвленный страстью к сочинительству, он был настроен упорствовать и вскоре выдал более длинную и более запутанную повесть, в которой фарс соприкасается с мистерией: «Доктор Гераклиус Глосс». Эта история выводит на чистую воду тщету скверно усвоенных знаний, дурно переваренных философий. Тема, дорогая сердцу Флобера. Но вот в восемнадцатой главе доктор, входя к себе в кабинет, оказывается лицом к лицу со своим двойником: «Доктор понял, что если этот его двойник вернется, если эти два Гераклиуса глянут друг другу в глаза, тот из них, кто в это мгновенье дрожал всею своею кожей, падет, точно сраженный молнией, перед своим двойником». Это навязчивое преследование вторым «я» было хорошо знакомо дядюшке Ги, Альфреду ле Пуатевену. Как и Флоберу. Все же Ги не станет публиковать своего «Доктора Гераклиуса Глосса». Следуя рекомендациям мэтра из Круассе, молодой автор решил подождать, пока достигнет мастерства стиля и мысли, чтобы совершить бурное вхождение в мир словесности. Поддерживаемый этой надеждой, он упорно ищет другие сюжеты для новелл. Несколько таких сюжетов сообщила ему Лора, и он тщательно записал их – могут пригодиться.

…По истечении двух блаженных недель в Этрета под крылышком у мамаши Ги вновь оказывается в затхлой атмосфере министерства, пропитанной пылью и запахом бумаг. «Да было ли такое, что я поехал в Этрета и пробыл там полмесяца? – пишет он Лоре. – Мне кажется, что я вовсе не покидал министерства и что я

по-прежнему жду отпуска, окончившегося сегодня утром… И, конечно, очень часто, в течение бесконечных зимних вечеров, когда я один буду работать в своей комнате, мне будет мерещиться, как ты сидишь на низеньком стульчике и устремляешь взор на огонь, подобно людям, уносящимся мыслями далеко-далеко… Небо совсем голубое, и все же я никогда не ощущал так явственно, как сегодня, разницу между светом в Этрета и светом в Париже; мне кажется, что я ничего не вижу, как будто у меня пелена на глазах…О, как хорошо бы искупаться в море! Повсюду ужасная вонь; я нахожу, что навозная куча твоего мясника воистину ароматна по сравнению с парижскими улицами. Мой шеф ворчлив как никогда. Такой брюзга!..Сейчас половина пятого; я пришел в контору только в полдень, а мне кажется, что я нахожусь здесь взаперти уже по крайней мере часов десять» (письмо от 3 сентября 1875 г.).

Чтобы хоть ненадолго позабыть о конторе, Ги не знал лучшего средства, чем длинные пешие прогулки по предместьям. 18 сентября 1875 года они с приятелем, художником Масом, слывшим неутомимым ходоком, отправились в Шев-рёз и заночевали там. Вставши в пять утра, два закадычных друга осмотрели руины замка, затем отправились в долину Сернэ, полюбовались прудом с поросшими камышом берегами, затем прошагали три лье вдоль реки, наблюдая за змеями, которые стремительно уползали прочь при их приближении, заморили червячка купленными по дороге колбасой, ветчиной, сыром и двумя фунтами хлеба и продолжили путь, минуя Оффаржи и Трапп, к другому, Сен-Кантенскому пруду, служившему пристанищем водяным курочкам, которых караулили охотники. Ги был так счастлив, что вырвался на раздолье природы, что совсем не чувствовал усталости. Пот струился градом по его запыленному лицу, стекая в бороду, которую он отращивал забавы ради. Ги радовался как ребенок, дыша вольным воздухом во всю силу своих легких. Он чувствовал себя свободным, как бродяга. Возможно ли такое, что назавтра ему вновь придется встретиться со своими печальными коллегами по министерству? «Мы достигли Версаля, затем – Пор-Марли и, наконец, Шату в половине десятого вечера, – пишет он матери. – Мы шагали с пяти часов утра и проделали пятнадцать лье, или, если тебе угодно, шестьдесят километров, около семидесяти тысяч шагов. Наши ноги были совершенно расквашены» (письмо от 20 сентября 1875 г.).

Все же эти подвиги в области пешего туризма не могли заменить Ги того опьянения, которое приносят прогулки на лодке и купание. Обуреваемый мыслями о воде, он завершает свое

письмо ламентациями, явившимися из глубин детства: «Как хорошо было бы выкупаться в море!.. Много ли еще народу в Этрета?» (там же).

Глава 6
«La Grenouillère»

[23]

Этрета, о вершина счастья! Как только у Ги оставалось в кармане лишних четыре су, он устремлялся туда, чтобы глотнуть свежего воздуха. Как служащий Морского министерства он имел право покупать железнодорожные билеты всего только за четверть от обыкновенного тарифа. Но, как правило, дни отдыха бывали слишком кратки, а финансы распевали такие романсы, что он не в состоянии был позволить себе даже льготный проезд. Тогда он утешался тем, что проводил вторую половину субботы и воскресенье на берегах Сены. За неимением морской воды удовольствуемся и речной! Загородная местность с ее пашнями и пастбищами начиналась для Мопассана уже за чертою парижских укреплений. Аньер, Аржантей, Шату, Буживаль, Пуасси были свидетелями тому, как он, загорелый, расправлял широкие плечи, возжаждав купания и катания на лодке. Прибыв на место, он мыл свое суденышко, спускал его на воду и с истым сладострастьем налегал на весла, слушая плеск волн о борта посудины, вдыхая запах тины; ему забавно смотреть, как разбегаются в разные стороны крысы, прячась в камышах. Во время этих тихих прогулок он питает иллюзию, что берет реванш за городскую сутолоку. Он так страшится тесноты, так ненавидит толпу, что эти часы уединения видятся ему необходимыми для физического и морального равновесия. Он совершает прогулки по реке даже ночью в надежде восстановить силы. «Катаюсь на лодке и купаюсь, опять купаюсь и снова сажусь в лодку, – пишет он матери. – Крысы и лягушки так привыкли к моему появлению в любой час ночи в лодке с фонарем на носу, что непременно являются меня приветствовать» (письмо от 29 июля 1875 г.).

Поиск уединения, однако же, не исключал в нем желания вволю повеселиться. Здесь, на берегах Сены, он находит нескольких приятелей, так же, как и он, охочих до шуток и водных походов. Вскоре они образовали компанию из пятерых добрых малых, в числе которых Робер Пеншон и Леон Фонтен. Они купили вскладчину длинную лодку и садились за весла, играя бицепсами. Ги носил тельняшку с горизонтальными синими и белыми полосками и белую английскую холщовую фуражку с большим козырьком. Ему доставляло огромное наслаждение налегать на весла. И еще обмениваться с товарищами по экипажу казарменными шуточками. В Аржантее они арендовали мансарду

в местном кабачке и всем скопом забирались туда ночевать и заниматься любовью с развязными девицами. Но еще в большей степени Ги тянет учиться владеть оружием: пистолетом, шпагой, булавой… Правилом, действовавшим в этой компании, была полная свобода языка и манер. «Мы не ведали иных забот, кроме как забавляться и плавать на лодке, ибо гребля для всех нас, кроме одного,[24] составляла культ, – напишет Мопассан в „Мушке“. – Я вспоминаю о таких уникальных приключениях, таких невероятных фарсах, выдуманных этими пятью шалопаями, что сегодня никто не мог бы в это поверить». И далее: «На протяжении десяти лет моей великой, моей единственной, моей всепоглощающей страстью была Сена. Ах! Прекрасная, спокойная, разнообразная и вонючая река, полная миражей и всяческого мусора!»

По реке вокруг суденышка с пятью закадычными приятелями скользили другие, самые разнообразные лодки, а в них – гребцы со смуглыми руками и смеющиеся девушки в светлых платьях под разноцветными зонтиками. Останавливались пообедать в каком-нибудь прибрежном трактирчике, где деловитый хозяин подает вам фритюр de la Seine, матлот – рыбное кушанье под винным соусом – или кролика-соте, сдобренного кислым вином. В этих харчевнях близ Буживаля царствовала веселая сумятица; здесь конторская братия под хмельком и красавицы-модистки подшофе сталкивались нос к носу с девицами известного поведения с напомаженными лицами, авантажными маркерами, вдрызг пьяными рабочими, болтливыми торгашами и полуоголенными лодочниками, которые, чтобы эпатировать барышень, выставляли свои мускулы напоказ. Здесь хохотали, пили, трескали, сколько вынесет утроба, и ласкались тут же, под столом. И еще танцевали, не жалея ног. Оркестр духовых инструментов неистово наяривал мазурки; фальшивые ноты, порою исторгаемые музыкантами, забавляли общество, точно отрыжки после обильной пищи. Потом переходили к канкану. «Парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави, – напишет впоследствии Мопассан. – Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая исподнее. Их ноги с непостижимой легкостью вздымались выше головы, и они раскачивали животами, дрыгали седалищами, трясли персями, распространяя вокруг себя энергический запах, присущий вспотевшим женщинам. Самцы сидели на корточках, точно жабы, делая непристойные жесты».

Среди этих увеселительных мест на берегу реки Ги отдавал предпочтение заведению с купанием, находившемуся на холме Шату и дорогому сердцу художников-импрессионистов:

«Лягушатня». Он усердно посещал это заведение с друзьями и не раз упомянет его во многочисленных новеллах: «Иветта», «Мушка», «Жена Поля»… Это был своеобразный «поплавок» с гудронированной крышей, соединенный с островом Круасси двумя мостиками. За деревянными столами собирались развеселые посетители. По соседству, на маленькой платформе, готовились броситься головою в воду ныряльщики. То и дело к «поплавку» причаливали лодки, высаживая на дощатый пол плавучего кабаре десанты из гребцов и проституток. «В плавучем заведении царил страшный гам и толкотня… Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись, с пьяным блеском в глазах, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались на чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения – гребцы-скандалисты и их подруги в коротких фланелевых юбках».

Выгрузившись из ялика, пятеро добрых молодцев отдыхали среди этого разношерстного люда от своих спортивных подвигов и развлекались тем, что «клеились» к девицам, которых пригласили на променад. Парни часто менялись подружками, передавали их из рук в руки и после хвалились друг перед другом своими амурными похождениями. Втянутые в это всеобщее веселье, девушки были частью команды. Эти дружеские игрища не омрачала ни тень ревности, ни какие-либо иные осложнения. Ялик, на котором плавала веселая группа, назывался «Лепесток розы». В почете у беспутных шалопаев были блуд и бражничество, гимнастика и литература. Среди них в главные фигуры – благодаря атлетическому сложению и сексуальной бодрости – выдвинулся Ги. Его отличала истинно мужская красота: по-пижонски сложенные на лбу волосы, короткий и прямой нос, бычья шея и неподвижный, светящийся и твердый взгляд. С тех пор, как он однажды, бреясь при свече, опалил себе бороду, он уже не отращивал себе таковую, зато носил густые усы, благодаря которым его поцелуи были особенно нежны. Его качества брутального и нежного любовника были видны женщинам издалека. Он же предпочитал смазливых потаскушек из предместий, ценя простоту их манер, отзывчивую плоть и пустую голову. И выбирал их точно так же, как покупатель выбирает баранью ногу в лавке мясника. Никаких тебе сантиментов. Только первобытный порыв, который бешено гонит кровь по жилам. «Я хотел бы иметь тысячу рук, тысячу губ и тысячу… темпераментов (многоточие в оригинале. – *Прим. пер.*), чтобы обнимать сразу целые полчища этих очаровательных и ничтожных созданий», –

напишет он в одной из своих новелл. И еще: «Поскольку женщина требует для себя прав, признаем за нею только одно право: право нравиться». Его податливые жертвы становились героинями его рассказов. Об одной из них, Мушке, которая спала с пятью хитрецами, не находя разницы, он пишет: «Она неутомимо стрекотала с легким непрерывным шумом этих механических ветряков, вращаемых бризом; с ее уст легкомысленно срывались вещи самые неожиданные, самые забавные, самые ошеломляющие». Забеременев, она не знает, от кого из пятерых. И теряет ребенка после падения в воду. Молодая женщина в отчаянии. Лодочники утешают ее: «Успокойся, мы тебе нового сделаем». Бесчисленные Мими и Нини чередою проходят через руки неутолимого Ги. Одна из этих нежных красавиц (он так и не сможет определить, какая именно) наградила его дурной болезнью. Поначалу он не придает этому значения и довольствуется тем, что пишет на стене ресторана на мосту Шату следующие стихи:

…Не пей искристого вина,
Чтоб завтра не было изжоги.
Страшись девчонки, коль она
Тебя поманит на дороге…[25]

(Перевод Д. Маркиша.)

Однажды он признается Роберу Пеншону: «У меня сифон, наконец-то настоящий сифон, не какая-нибудь несчастная дрянь, когда жжет при испускании мочи, не какая-нибудь чушь, которую буржуа называют то погремком, то еще какой-нибудь цветной капустой, – нет, нет, сифон с большой буквы, который свел в могилу Франциска I! И я горд, черт возьми, и я свысока презираю всех буржуа! Аллилуйя! У меня сифон, и, как следствие, я более не боюсь поймать его!» (март 1877 г.).

В любом случае он отказывается лечиться. Попойки и жгучие ночи возобновились с новой силой. Мопассан основывает со своими привычными друзьями «Общество крепитианцев», названное так по имени божка Крепитюса из «Искушения святого Антония» Флобера: означенное божество удостоилось такой чести за свое непристойное поведение. В привычках у крепитианцев были чревоугодие и блуд до истощения сил. В письме к Пти-Блё (Леону Фонтену) Ги расписывает в раблезианском стиле попойку, в результате которой, конечно, никто не мог устоять на ногах. И далее трубит о собственных подвигах: «И много дел содеял в оный день Прюнье (Мопассан. – *Прим. авт.*), так же как и

удивительных, чудесных и возвышенных подвигов в ремесле судоходном, а именно: отбуксировал от Безона до Аржантея столь устрашительно великую парусоносную ладью, что мнил уже кожу с дланей своих на веслах оставить (а были в той парусоносной ладье две преотменные б…ди)».[26]

«Общество крепитианцев» вскоре превратилось в «Сосьетэ де Макеро» – «Общество сутенеров». Председательствующий в этой компании «яростно непристойных лодочников», как называл их Эдмон де Гонкур, Ги де Мопассан при всем при том ни на мгновение не забывал о своих корнях и испытывал гордость за них. Развлекаясь со своими приятелями по дебошам, он одновременно с этим ведет изыскания по генеалогии семьи Мопассан и с гордостью пишет матери: «Вот кое-какие подробности о нашей фамилии, найденные в старых бумагах, которые я сейчас читаю. Вот титулы Жана-Батиста де Мопассана: Шталмейстер, Секретарь-советник Короля, оный же Великой Коллегии, Королевского дома, Французской короны и ее Казны, дворянин Священной Империи…» Далее следует перечень всех престижных предков, подтверждающих дворянские притязания бодрого лодочника из Буживаля (письмо от 30 октября 1874 г.).

И вскоре Ги бросается в другую крайность, пускаясь в зловещие фарсы. Один из таковых закончился трагически. Жертвою стал смиренный министерский писарь, который до такой степени доводил Мопассана своей тупостью, что тот совместно с товарищами по «Обществу сутенеров» решил преподать ему урок. Под предлогом посвящения в оное братство его мастурбировали в перчатках для фехтования, да еще и воткнули линейку в задний проход. Несколько дней спустя несчастный отдал Богу душу, а подтвердить, что этим безвременным концом он обязан дурному обращению со стороны пятерых озорников, не удалось (*Э. де Гонкур*. Дневник, 1 февраля 1891 г.). Как бы там ни было, совесть у Ги осталась спокойной. Он даже зубоскалит по поводу этой перипетии. Жертва, титулованная им Moule à b.,[27] исполнила свое предназначение на земле, ибо окочурилась таким вот смешным фасоном. «Большая новость!!! – пишет он своим приятелям по „Обществу сутенеров“. – Moule à b… умер!!! Умер на честном поле брани, сиречь на своей кожаной чиновничьей подушке около трех часов пополудни в субботу. Шеф послал за ним; посыльный вошел и увидел его бедное маленькое тело неподвижным, носом в чернильнице. Стали вдыхать ему воздух с обоих концов, но он не пошевелился… В Морском министерстве поднялся переполох, заговорили о том, что это **наше преследование** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*) сократило его земной путь… Я покажу этому

Комиссару (комиссару судебных поручений. – *Прим. авт.*) рожу Многоуважаемого Президента Общества сутенеров и просто отвечу: байки… Мне бы еще хотелось затеять процесс против его семейства – почему не предупредили нас, что он такого дурного свойства? Он мертв, мертв, мертв! Сколь коротко, неблагозвучно и ужасно это слово! Мертв – это значит, что мы его больше не увидим; мертв, кроме шуток! Нашего Moule à b… больше нет. Скапутился. Сковырнулся. Отошел. Гигнулся. Или, может, по крайности, сыграл в ящик?»

Создается впечатление, что, выпаливая это циничное надгробное слово, Ги гонит смерть прочь от себя. Изо всех своих пока еще не претерпевших ущерба сил показывает кукиш небытию. Между тем идея собственной кончины не оставляет его. Голод по движениям, тяга к энергичным упражнениям и легкодоступным удовольствиям сменяются длительными периодами черной меланхолии. Душа общества вновь ищет одиночества. Волоките и юбочнику открывается тщета земных наслаждений. Глядя на струящуюся грязную воду Сены, он задается вопросом, каков смысл его присутствия в этом кабаке с названьем «Лягушатня». Потом внезапно его вновь охватывает неистовая жажда жизни. Он снова бросается в ее бушующий водоворот, пьянствует, хохочет, гоняется за девицами. В любви он не рафинированный ценитель чувств, а обжора. Слишком нетерпеливый, чтобы дегустировать, он поглощает свою жертву. И если сам он блистает чистотою, то его прелестные партнерши – отнюдь не всегда. Но запах женщины завораживает его.

На закате дня вся компания возвращается в Париж в переполненном вагоне, где горячий запах эля смешивается с ароматом дешевой парфюмерии и запахом пота. После блаженных часов, проведенных на вольном воздухе, у путников усталые, темно-красные физиономии. Ги понуро возвращается к себе в комнатенку на первом этаже дома № 2 по рю Монсе, единственное окошко которой выходит на сумрачный двор. Почти никакой мебели; по стенам – книги, на столе – бумаги, а посредине всего этого беспорядка – рука трупа, та самая, которую Суинберн подарил ему в Этрета. Эту руку он давно мечтал подвесить к шнурку колокольчика у входной двери. И если он отверг эту мрачную идею, так только потому, чтобы не отпугивать нежных созданий, которые порою заглядывают в его холостяцкое логово. Обитатель оного ведет счет своим победам и утверждает, что от 18 до 40 лет мужчина легко может обладать тремястами различными женщинами.

С сожалением упрятав в шкаф свой наряд лодочника, он надевает на следующее утро строгий костюм, повязывает черный

галстук и направляется в министерство. Удрученный перспективой сидения за столом с запыленными папками, он только и думает о новом побеге к берегам Сены, к веселому заведению с названьем «Лягушатня» с его сутолокой бесшабашных гребцов и разгоряченных девиц. Только бы в воскресенье была хорошая погода!

Глава 7
С улицы Рояль на улицу Гренель

С наступлением ненастного сезона пришел конец купаньям и катаньям на лодке. Обреченный безвылазно находиться в Париже, Ги удваивает интеллектуальную деятельность. Еще ничего не напечатав, он с робостью трется в литературной среде. Не кто иной, как Флобер, бывая наездами в столице, представил его своим друзьям по писательскому цеху. Он по-прежнему убежден, что молодой человек обладает талантом, но должен еще немало работать, прежде чем пускаться в литературную карьеру. «Я уже месяц хочу тебе написать, чтобы выразиться в нежности по адресу твоего сына, – признается он Лоре. – Ты не поверишь, каким я нахожу его очаровательным, умным, добрым малым, рассудительным и духовным, сказать короче – чтобы употребить модное словцо – симпатичным! Несмотря на нашу разницу в годах, я вижу в нем „друга“ (кавычки в тексте. – *Прим. пер.*), и потом, он так напоминает мне моего бедного Альфреда! (Ле Пуатевена. – *Прим. авт.*) Порою я даже пугаюсь за него, особенно когда он опускает голову, декламируя стихи… Надо поощрять в твоем сыне вкус, который он питает к стихам, ибо это – благородная страсть, ибо словесность утешает несчастных, и потому, что у него, может быть, будет талант… кто знает? Он до сих пор не сочинил достаточно, чтобы я мог позволить себе высчитать его поэтический гороскоп… Я желал бы, чтобы он взялся за сочинение крупномасштабного произведения, пусть и отвратительного. То, что он показывал мне, стоит всего, что печатали парнасцы… Со временем он обретет оригинальность, индивидуальную манеру видеть и чувствовать (ибо все при нем). А что до результата, успеха – черт ли с ними! Главное в этом мире – держать свою душу в высоких сферах, подальше от буржуазной и демократической грязи. Культ искусства создает гордость; слишком много никогда не бывает. Такова моя мораль» (письмо от 23 февраля 1873 г.).

Чего не написал в этом письме Флобер, так это того, что он по-прежнему желал бы своему сопернику отказаться от поэзии и посвятить себя прозе. Но он не форсировал ход событий и довольствовался тем, что по привычке указывал ему на неуклюжесть стиля. Их встречи в Париже сделались регулярными. «Мой маленький папочка, – пишет Флобер Ги, – решено, чтобы в эту зиму вы каждое воскресенье приходили ко мне на обед». Сознавая, какая ему оказана честь, Ги отправляется в воскресенье

к мэтру на рю Мурильо. Там он встречает сурового «мосье Тэна», прихварывающего и улыбчивого Альфонса Доде, Эмиля Золя, наводящего свой лорнет и проповедующего натурализм, добродушного гиганта Ивана Тургенева с пышной серебристой гривой и белой бородой, Эдмона де Гонкура – седеющего, усатого и степенного, да еще стольких других… Для всех этих заслуженных особ протеже Флобера – бравый нормандский паренек со здоровым цветом лица, крепкого сложения, с кое-какими литературными претензиями, впрочем, пока еще ничем не обоснованными. Он с почтением слушает их речи и редко высказывает свое мнение. И вот в воскресенье 28 февраля 1875 года в этой маленькой группе обсуждались достоинства поэзии Суинберна. Ги навострил уши. И тут слово взял Альфонс Доде:

– Да, кстати сказать, его называют педерастом! О его пребывании в Этрета в прошлом году рассказывают самые невероятные вещи!

И Ги наскоком вмешался в разговор:

– Не только в прошлом, еще несколькими годами раньше! Я тогда немного жил с ним в Этрета в ту же пору…

Воспользовавшись ситуацией, в свою очередь воскликнул Флобер:

– Но, право, не вы ли спасли ему жизнь?

– Ну, это не только моя заслуга, – ответил Ги.

И поведал во всех подробностях о своих приключениях с двумя англичанами в Этрета. Скабрезности, коими был полон рассказ, очаровали аудиторию. Акции Мопассана в этой тесной компанийке мигом пошли вверх. «Флобер торжествовал. А Эдмон де Гонкур в тот же вечер посвятил событию запись в дневнике».

Горячий прием, которого удостоились его воспоминания о встрече с Суинберном и Пауэлом, вдохновил Ги на продолжение движения по пути сальностей и скабрезностей в творчестве. Совместно с Робером Пеншоном он предпринимает попытку сочинения порнографической пьесы, от которой, по его мысли, друзья Флобера надо-рвут себе со смеху животики. И весело сообщает о том родительнице: «Я и несколько друзей собираемся сыграть в мастерской Лелуара (живописца Мориса Лелуара. – *Прим. авт.*) **абсолютно скабрезную** (выделено в тексте. – *Прим пер*.) пьесу в присутствии Флобера и Тургенева. Стоит ли говорить, что это – наше собственное произведение?» (письмо от 8 марта 1875 г.). Заглавие фарса: «Лепесток розы. Турецкий дом» намекает на дом турчанки Зораиды – погибельное место, о котором ведет речь Фредерик Моро в финале «Сентиментального воспитания». Действие разворачивается в лупанарии, куда по ошибке попадает молодая чета, думая, что это гостиница. Следует

череда непристойных недоразумений, в которых участвуют содержащиеся в означенном заведении проститутки, англичанин, ассенизатор (поскольку сортиры заведения переполнены), камердинер, буйный горбун и т. д. и т. п..[28] Флобер и Тургенев ведали репетициями, которые происходили у Мориса Лелуара на 6-м этаже дома по набережной Вольтера. Флобер поднимался по лестнице, тяжко дыша, сбрасывая на первой лестничной площадке пальто, на второй – рединготт, а на третьей – жилет. «Добрый гигант словесности являлся ко мне во фланелевой жилетке; под толстыми голыми руками он нес одежду, а на голове у него был надет цилиндр», – писал Морис Лелуар. Все женские роли разыгрывались мужчинами-травести. Среди актеров, помимо самого Мопассана, фигурировали Робер Пеншон, Леон Фонтен, Морис Лелуар, Октав Мирбо… Подвергались осмеянию дамы не слишком высокой добродетели, и прямо скажем, все корчились и лопались от хохота. Когда показалось, что спектакль готов, Ги разослал составленные по всей форме приглашения на бланках министерства. Вот какое приглашение, датированное 13 апреля 1875 года, получил муниципальный советник Руана и близкий друг Флобера Эдмон Лапорт: «Дорогой Мосье и Друг, торжество наконец назначено на понедельник 19 числа текущего месяца. Допускаются только мужчины старше двадцати лет и женщины, успевшие потерять девственность. Королевская ложа будет занята тенью Великого маркиза (де Сада. – *Прим авт.*)». Узкая компания знатоков под председательством Флобера бурно веселилась, глядя на эти скабрезно-эротические фацеции. На второе представление, состоявшееся 31 мая 1877 года у художника Беккера в доме № 26 по рю де Флерюс, пожаловали восемь элегантных дам в масках, предвкушавших наслаждение запретным плодом. Флоберу, имевшему неосторожность поведать о пьесе принцессе Матильде, пришлось задействовать все тонкости дипломатии, чтобы отвратить Ея Императорское Высочество от мысли занять место в зале. На импровизированную сцену Ги вышел, наряженный одалиской. Вместо женских персей – табачные кисеты, а мужские персонажи были снабжены огромными фаллосами, сделанными из валиков для заделки щелей в дверях. Экзальтированный Флобер, сидевший в первом ряду, восклицал: «Ах! Как это освежает!» Бедные дамы были столь смущены, что не знали, как и держать себя. Актриса Сюзанна Лажье выскользнула из зала перед самым концом, не будучи в силах долее выдержать. Золя хранил степенность; с одной стороны, им владела врожденная строгость, с другой – забота о том, чтобы не показаться пуританином. Что до Эдмона де Гонкура, то он не больно скрывал свое отвращение к

такому жалкому паясничанию. Вернувшись, он занес в свой дневник:

«Нынче вечером, в студии по рю де Флер, молодой Мопассан показал непотребную пьесу собственного сочинения под заглавием „Лепесток розы“ и разыгранную им самим и его друзьями. Этот угрюмый мрак, эти молодые люди, переодетые женщинами, с огромным высунутым членом, нарисованным на их трико; не знаю, какое отвращение невольно накатывает на вас к этим комедиантам, тискающим друг друга и изображавшим, что творят друг с другом гимнастику любви. В увертюре пьесы мы видим молодого семинариста, который стирает плащи. В середине – танец альмей под сенью монументального фаллоса, находящегося в состоянии эрекции, а заканчивается пьеса почти что натуральной оргией. Я задавал себе вопрос: до какой же степени нужно быть лишенным природного стыда, чтобы представить все это на глазах у публики; и при этом пытался развеять мое отвращение к автору „Девки Элизы“, которое могло бы показаться несравненным; что самое чудовищное, так это то, что отец автора, отец Мопассана, присутствовал на представлении». А так как Флобер, по закрытии занавеса, все повторял «О, как это свежо!», то Гонкур добавил: «Считать такую мерзость свежей?! Да, вот находка так находка!» (Дневник, 31 мая 1877 г.) Вышеозначенный сеанс литературной порнографии до такой степени запечатлелся в памяти Гонкура, что он еще вернется к этому в своем «Дневнике» многие годы спустя. Он все никак не мог позабыть молодого Мопассана, переодетого женщиной, с изображенными на трико ярь-медянкой огромными губами, и катающейся на коленях своего товарища.[29]

Если Флобера этот бурлескный спектакль так развлек с первого же представления, то это потому, что ему более чем когда-либо требовалось забыть о своих заботах в шумной атмосфере дружбы и озорства. Супруг его племянницы Каролины, лесоторговец Эрнест Комманвиль, оказался доведенным до банкротства. Привязанность к молодой женщине побудила Флобера распродать все, чем он владел, но даже этого оказалось недостаточно для покрытия долгов. Неужели придется продать дом в Круассе? «Мысль о том, что у меня не останется больше крыши над головой, не будет home, невыносима, – пишет он Каролине Комманвиль 9 июля 1875 года. – Я теперь гляжу на Круассе взглядом матери чахоточного ребенка, задающей себе вопрос: сколько он еще протянет? И не могу приучить себя к мысли о том, что придется решительно расстаться с ним». Флобер не продаст своего дома в Круассе, но съедет с квартиры по улице Мурильо и переберется 16 мая 1875 года в более скромное

жилище по адресу: Фобур-Сент-Оноре, 240, угол авеню Ортанз. Несмотря на превратности фортуны, писатель по-прежнему наблюдал по-отечески за литературными дебютами Ги, который передавал на его суд все рукописи, в стихах и прозе. С другой стороны, Флобер подключил Ги к созданию собственного сочинения, поручив ему проводить опросы на местности, – роман, над которым он трудился, назывался «Бувар и Пекюше». Польщенный этой доверительной миссией, Ги бегает туда и сюда, собирая информацию, которую требует от него ментор. В одном из длинных писем Ги описывает своему старшему собрату по перу конфигурацию нормандского побережья в окрестностях Этрета и Фекана – место прогулок двух героев. Принимая активное участие в творчестве отшельника из Круассе, он постигает значение точной документации и беспристрастного взгляда на людей и на вещи. По примеру Флобера он наблюдает, примечает, тщательно шлифует свой стиль, сжимает ткань повествования. И Флобер одобряет усердие новообращенного, его – пусть пока еще неуверенный – поиск совершенства. Может, из парня и впрямь выйдет истинный писатель? Вот только как быть с его порочной склонностью к плотским утехам и лодочным прогулкам? И Флобер осыпает своего подопечного упреками в том, что он теряет свое драгоценное время в распутстве, кутежах и навигации. «Нужно, – слышите, молодой человек, нужно работать больше, чем вы сейчас, – пишет Флобер Мопассану в письме от 15 августа 1878 года. – Я пришел к мнению, что вы слишком легкомысленны. Слишком много шлюх, слишком много катаний на лодке, слишком много физических упражнений!.. Вы рождены, чтобы слагать стихи, так слагайте их! Все остальное – тщета, начиная с ваших наслаждений и вашего здоровья: пошлите-ка вы все это к черту! Все ваше время, с пяти часов пополудни и до десяти часов утра, вы можете посвятить Музе… Чего вам недостает, так это „принципов“ – остается уяснить, каких. Для художника существует один-единственный: пожертвовать всем во имя искусства. Он должен рассматривать жизнь как средство, и ничего более, и первое, от кого он должен бежать, – от самого себя!»

Но, несмотря на требования своего мэтра, Ги не мог удовлетвориться таким монашеским режимом. Его сангвинический темперамент был не в состоянии принять такое. Ему хотелось разом жить бурной жизнью и много писать. Празднество мускулов не исключало в нем празднества духа. В какой-то момент жизни его особенно увлек театр. Забросив на полку непотребный фарс «Лепесток розы», он сочиняет короткую пьесу «В старые годы», затем другую – «Репетиция», которые не

хочет брать ни один театр, и садится за большую историческую драму «Измена графини де Рюн». Робер Пеншон представил означенную драму директору Третьего Французского театра (бывшего театра Дежазе) Балланду и получил отказ под тем предлогом, что декорации и реквизит стали бы ему слишком дорого. В свою очередь, Флобер, прочтя пьесу, выказал сдержанность, но обещал замолвить слово перед администратором Французского театра Перреном. Со своей стороны, Золя отнес текст пьесы Саре Бернар. Знаменитая актриса согласилась принять дебютанта и наговорила ему кучу любезностей; Ги, однако же, не стал принимать все за чистую монету и написал матери: «Я… нашел ее (Сару Бернар) очень любезною, даже слишком любезною, ибо, когда я уходил, она обещала представить мою драму Перрену и добиться, чтобы ему ее прочли». Впрочем, когда актриса сказала об этом автору, она сама успела прочесть лишь первый акт. «Да и прочла ли?» – задавал себе вопрос Ги. В любом случае он опасался, как бы Перрен не разозлился, что и Флобер, и Сара Бернар разом поднесут ему одну и ту же пьесу. Неблагодарный, как может быть только ребенок, он уже сожалеет о том, что обратился к своему старому мэтру за рекомендацией. «Счастье это или несчастье, что пьеса была представлена Флобером? – пишет он в том же письме. – Увидим. Вышеупомянутый Флобер довольно неуклюже повел себя, хоть и желал мне быть полезным… Как только вопрос касается практической жизни, дражайший мэтр не знает, что предпринять; он просит вообще, и никогда – по существу, не умеет настаивать, а главное – воспользоваться подходящим моментом» (письмо от 15 февраля 1878 г.). Несколько месяцев спустя Ги узнает, что пьеса «Измена графини де Рюн» отклонена Французским театром. Утешением в таком провале ему послужила мысль о том, что и Золя с Флобером оказались не слишком удачливы на театральной сцене.

И вот он снова садится за стихи. Потом посвящает себя сказкам и публикует одну из них под псевдонимом Ги де Вальмон в «Бюллетен франсез». Кроме того, издатель «Репюблик де леттр» Катулл Мендес согласился включить в свой журнал его поэму «На берегу» и даже пригласил автора на свои четверги на рю Сен-Жорж. Внимательный к этим знакам уважения, Ги вызывал трепетный интерес пусть еще зыбким, но обещанием успеха. «В его внешности не было ничего романтичного, – заметил секретарь редакции „Репюблик де леттр“ Анри Ружон. – Круглое, налитое кровью лицо, какое бывает у матросов-речников, вольная походка и простые манеры. „J’ai nom „Mauvais passant““,[30] – повторял он с добродушием, уличающим угрозу. Его разговор сводился к

воспоминаниям об уроках литературной теологии, которые привил ему Флобер, нескольким скорее ярким, чем глубоким, предметам восхищения, составлявшим его художественную веру, и неисчерпаемому количеству сальных анекдотов, а также дичайших поношений персонала Морского министерства – запас этих последних у него совершенно не иссякал».[31] Со своей стороны, Тургенев писал Флоберу: «Бедный Мопассан растерял все волосы на теле… По его собственным словам, это из-за болезни желудка. Он по-прежнему очень любезен, но сейчас весьма некрасив» (письмо от 24 января 1877 г.). По правде сказать, русский писатель был настроен весьма скептически по отношению к протеже Флобера. По первому взгляду этот амбициозный молодой человек не казался ему обещавшим большое будущее. Во время одной из дружеских вечеринок Тургенев отвел в сторону Леона Энника и шепнул ему на ухо: «Ах, бедный Мопассан! Как жаль, у него никогда не будет таланта!» Тем временем «бедный Мопассан» усердно посещает кружок Катулла Мендеса и встречается там с Малларме, Леоном Дьерксом, Вильером де л'Иль-Аданом… Столь же регулярно участвует он и в литературных обедах, где сотрапезники находят его любезным, забавным и, во всяком случае, необременительным. Благодаря Флоберу он помещает в ежедневную газету «Ля Насьон» статью «Бальзак по его письмам», а другую – «Французские поэты XVI века». Эти исследования стоили ему усилий, несоизмеримых с результатом. В свои двадцать шесть лет он оказался в литературной среде, не будучи еще известным читающей публике. Катулл Мендес, который все более дорожил им, предложил Мопассану стать франкмасоном. Несмотря на свое желание потрафить «большому собрату», которого он величал «Мефистофелем, принявшим образ Христа», Ги отвергает предложение. «Вот, мой милый друг, доводы, которые заставляют меня отказаться стать франкмасоном, – пишет он Катуллу Мендесу. – 1) С момента, когда вступаешь в какое-либо общество, особенно в одно из таких, которые претендуют – хотя бы во всем остальном они были безобидны – на звание тайных обществ, подчиняешь себя определенным правилам, даешь некие обещания, надеваешь хомут на шею, а ведь всякий хомут, сколь бы легок он ни был, – вещь неприятная. **Я предпочитаю платить своему сапожнику, нежели уподобиться ему.** (Выделено в тексте. – *Прим. пер.*) 2) Если это станет известным – а известным это станет неизбежно… я сразу же окажусь на самом дурном счету у большей части моей родни, что мне, по крайней мере, нежелательно, чтобы не сказать – губительно для моих интересов. Не знаю, почему – вследствие ли

эгоизма, злобы или всего вместе взятого, – но я не желаю быть связанным ни с какой политической партией, какова бы она ни была, ни с какой религией, ни с какой сектой, ни с какой школой, я никогда не войду ни в одну ассоциацию, проповедующую те или иные доктрины, не склонюсь ни перед какой догмой, ни перед каким совершенством, ни перед каким принципом, и все это единственно для того, чтобы сохранить за собою право отрицательных оценок… Я боюсь сковать себя даже самой тоненькой цепочкой, сковывает ли она меня с идеей или с женщиной» (письмо от 1876 г.).

Этот гордый ответ свидетельствует о воле к независимости и о презрении ко всяким делишкам и комбинациям, и это очень радовало Флобера. Он умножил свои усилия, стремясь продвинуть Ги на полосы газет, в редакциях которых у него были друзья. Его целью было выкроить для Ги постоянную колонку хроники, но, увы, все места были заняты. Ги приходилось соглашаться на случайную работу то здесь, то там. И вот уже он, атлет с берегов Сены, с некоторых пор начинает жаловаться на головные боли и головокружения. В августе 1877 года он подает заявление об отпуске и получает таковой на два месяца для лечения в Швейцарии, в Леш-ле-Бен, что в кантоне Вале. Это был его первый выезд за пределы Франции. Воспользовавшись этой поездкой, он «распинает аптекаря» и наносит визит в бордель в Весуле. «Что за странный тип!» – вздыхает Флобер, узнавая о похождениях своего протеже. В Леше Ги скрупулезно проходит курс лечения и привычным отточенным взглядом наблюдает за пейзажами и персонажами. Впечатления от пережитого впоследствии легли в основу его рассказа «На водах», в котором повествуется о кратком любовном романе на швейцарском курорте в необычайной атмосфере: «Прямо из комнат спускаешься в бассейн, где уже мокнут два десятка одетых в длинные шерстяные халаты купальщиков, мужчины и женщины вместе. Одни кушают, другие читают, третьи болтают. Толкают перед собою маленькие плавучие столики. Порою играют в веревочку (on joue au furet), правда, не всегда к месту».

Когда Ги вернулся в Париж, то выглядел бодрее, правда, не чувствовал себя вполне выздоровевшим. Конторская жизнь тяготила его, а успех медлил с приходом. Вокруг него молодые собратья по перу тискали свои сочинения и внимали рукоплесканиям. Его одного позабыли-позабросили, думал он. Впрочем, у него были вполне сложившиеся идеи относительно своего будущего и относительно литературы. Вот что пишет он другому автору-дебютанту, приверженцу натурализма Полю Алексису: «В натурализм и реализм я верю не более, чем в

романтизм. Эти слова, на мой взгляд, не означают абсолютно ничего и не служат ничему, кроме словесных перепалок между противоположными темпераментами… Если я настаиваю на том, что видение писателя всегда должно быть точным, так это потому, что считаю это необходимым, дабы его интерпретация была оригинальной и воистину прекрасной… Увиденное проходит через восприятие писателя и приобретет, в зависимости от творческой способности его духа, особенный цвет, форму, масштаб… Зачем сдерживать себя? Натурализм так же ограничен, как и фантастика». И далее: «Это письмо никак не должно выйти за пределы нашего *кружка* (выделено везде в тексте. – *Прим. пер.*), и я буду расстроен, если вы *покажете* его Золя, которого я люблю всем сердцем и которым я глубоко восхищаюсь, ибо вполне может статься, что он будет обижен этим письмом» (письмо от 17 января 1877 г.).

Это нежелание связывать себя с какой-либо литературной школой проистекает оттуда же, откуда и отказ вступить в масонскую ложу: из неуемной жажды свободы. Но обратим внимание вот на что: еще ничего не опубликовав под своим именем, он уже дает уроки другим. Нежного доверия Флобера ему достаточно для убежденности в том, что у него, перебивающегося случайными публикациями там и сям журналиста с псевдонимом Ги де Вальмон, есть-таки золото в мозгу. Как бы он ни отрицал за кулисами натурализм Золя, он все же вступил в небольшой кружок, сплотившийся вокруг автора «Западни». Пресса не обходила молчанием это движение, так что вполне можно было слегка отступить от принципа литературной независимости. 16 апреля 1877 года Поль Алексис, Анри Сеар, Леон Энник, Ж. -К. Гюисманс, Октав Мирбо и Ги де Мопассан пригласили Флобера, Золя и Гонкура в ресторан «Трапп» близ вокзала Сен-Лазар. Ги пришлось приложить всю свою настойчивость, чтобы уломать Флобера прийти. Краснощекий отшельник из Круассе, с глазами навыкате и обвислыми усами, ворчал, посмеиваясь, над всеми этими мудрствованиями по поводу натурализма и реализма. Но искреннее восхищение со стороны молодого поколения было ему приятно. И вот 13 апреля «Репюблик де леттр» объявила об обеде, даваемом «шестью молодыми и полными энтузиазма натуралистами, которые тоже станут знаменитыми», в честь трех мэтров – Флобера, Золя и Гонкура. В газете приводится даже хитроумное меню сей трапезы: «Овощной суп-пюре „Бовари“»; таймень а-ля Девка Элиза; пулярка с трюфелями а-ля Святой Антоний; артишоки «Простая душа»; парфе «Натуралист»; вино «Купо»; ликеры из «Западни». И, чтобы приукрасить выдумку, добавляет: «Мосье Гюстав Флобер, у

которого есть другие ученики, обратил внимание на отсутствие угрей по-карфагенски и голубей а-ля Саламбо». Чтобы раздуть еще больше шума вокруг события, Поль Алексис сделал вид, что разозлился, и опубликовал в «Колоколах Парижа» под псевдонимом «Тильзит» заметку с осуждением этой «полудюжины одержимых», которые «так и жди, что все испортят» и которые только и пригодны на то, чтобы «делать детей». Этот рекламный трюк особенно пошел на пользу писателям-дебютантам, которые мыслили встречу в ресторане «Трапп» как символическое объединение со своими старшими коллегами. Еще вчера они были безвестными, а сегодня пресса прогремит о них как о поборниках нового искусства? Эдмон де Гонкур заносит в свой дневник: «В этот вечер Гюисманс, Сеар, Энник, Поль Алексис, Октав Мирбо, Ги де Мопассан – вся молодежь реалистической и натуралистической словесности – оказали честь нам, Флоберу, Золя и мне, воздали официальные почести трем мэтрам наших дней, дав обед из самых сердечных и самых веселых. Вот поглядите, как формируется новая рать!» (16 апреля 1877 г.)

Отзвуки этого литературного брожения умов долетели до Морского министерства. Теперь в его канцеляриях ни для кого не было секретом, что Ги де Вальмон и Ги де Мопассан – одно и то же лицо. Натуралисты, среди которых ему отныне отводят место, считаются приверженцами левых взглядов. А на рю Рояль держались, естественно, правых. В действительности Ги не принадлежал ни к тем, ни к другим. Как и Флобер, он – бунтарь-индивидуалист, анархист из буржуазной среды. Он слишком горд, чтобы согласиться принять коллективный псевдоним «Господа Золя», которым уже величают сторонников новой школы. И он слишком презирает облеченных властью мужей, чтобы принимать их речи всерьез.

Весною 1877 года французов вновь всколыхнул приступ гнева. Президент Республики маршал Мак-Магон[32] отвергнул либеральные тенденции председателя Совета Жюля Симона. Грянул кризис. Распущено Национальное собрание. Состоялись новые выборы, и народное волеизъявление дало оппозиции большинство в 120 мест. Несмотря на этот вердикт, Мак-Магон цепляется за свой пост. Ги сознается в письме к Флоберу: «Политика мешает мне работать, бывать на людях, думать, читать. Я подобен тем равнодушным, которые становятся самыми страстными, тем миролюбцам, которые становятся кровожадными. Париж живет в ужасной лихорадке, и я тоже охвачен этой лихорадкой: все остановилось, застыло, как перед катастрофой, я перестал смеяться и по-настоящему разгневан… Как же так! Этот генерал, который в свое время выиграл битву

благодаря личной глупости в сочетании с причудой случая, а затем проиграл целых два исторических сражения, пытаясь в одиночку проделать маневр, что так удался в первый раз силою вышеупомянутого случая; генерал, который имел бы право, наряду с титулом герцога Маджентского, на титул Великого князя Решоффенского и эрцгерцога Седанского, под предлогом, как бы бестолочи не оказались под управлением людей более разумных, разорил бедняков (единственных, кого разоряют), остановил в стране всю интеллектуальную работу, ожесточил и подстрекнул на гражданскую войну мирных людей, как тех несчастных быков, которых подзадоривают на бой в цирках Испании!.. Я требую подавления правящих классов, этого сброда красивых тупоумных месье, которые копаются в юбках старой благочестивой и глупой шлюхи, именуемой добропорядочным обществом. Они запускают пальцы в свое былое… бормоча, что общество в опасности, что им угрожает свобода мысли» (письмо от 10 декабря 1877 г.).

В Морском министерстве все с большей подозрительностью глядели на чиновника, который зевал над пыльными папками и только и ждал момента, когда можно будет вырваться из канцелярии и снова сделаться Ги де Вальмоном. Аттестация, которую ему дало начальство за 1877 год, весьма сурова: «Умный служащий, который мог бы когда-нибудь оказаться очень полезным. Но он аморфен, лишен энергии, и я опасаюсь, как бы его вкусы и склонности не отдалили его от административных работ». В условиях постоянно растущей озлобленности своего окружения Ги подумывает – нет, не об отставке, надежность превыше всего! – но о смене места службы. В письме от 21 января 1878 года он жалуется родительнице: «Мой шеф обращается со мной, как с собакой… он не допускает, чтобы человек мог болеть, когда служит. Только ценою целого скандала я добился разрешения съездить к тебе на Новый год, и очень рискую не получить отпуска на Пасху… На днях у меня была жуткая мигрень, и я попросил у зама разрешения уйти домой отлежаться, каковое мне было дано. На следующий день меня вызвал шеф, сказал, что я насмехаюсь над ним, что я вовсе не болен, что у меня ничего нет и что мигрень – вовсе не предлог, чтобы отпрашиваться с работы».

В результате смены правительства обнаружилось, помимо прочего, вот что: личному другу Флобера Аженору Барду был вверен портфель министра народного образования. Ги увидел в этом для себя шанс и обратился к своему мэтру с просьбой похлопотать в высоких инстанциях о переводе из Морского министерства в Министерство народного образования, где он заведомо будет в своей стихии. Чтобы убедить Флобера

действовать побыстрее, он умолил матушку послать ему «патетическое письмо». «Мое положение здесь далеко не из приятных, так сгусти краски почернее, замолви за меня жалостливое слово, и т. д., – пишет он Лоре. – Не проси у него ничего определенного, но поблагодари за обещание, описав, как я буду глубоко обрадован этой надеждой». Лора незамедлительно взялась за дело. «Коли ты называешь Ги своим приемным сыном, – написала она Флоберу, – то ты простишь меня, милый мой Гюстав, за то, что я, совершенно естественно, хочу поговорить с тобой об этом мальчике. То выражение нежности, что ты выказал ему в моем присутствии, было для меня столь сладостным, что я приняла его в буквальном смысле и в настоящее время воображаю, что оно возлагает на тебя почти что отцовские обязанности. Кстати, я знаю, что ты в курсе происходящего и что бедный министерский служащий уже излил тебе все свои сетования. Ты был, как всегда, на высоте, ты утешил его, и ныне он, благодаря твоим добрым словам, хранит надежду, что близок час, когда он сможет покинуть свою темницу и сказать до свидания своему любезному шефу, который стережет ее ворота» (письмо от 23 января 1878 г.).

Всегда готовый к услугам, когда речь заходит о будущем его подопечного, Флобер поведал Аженору Барду об исключительных качествах заинтересованного лица. Новый министр, человек любезный и забывчивый, пообещал вмешаться, но не спешил. Выведенный из себя такой медлительностью, Ги приходит в отчаяние, докучает Флоберу и понукает его. Тем более что начальство на рю Рояль, до которого с каким-то ветром долетела информация о заговоре, решило покарать наглеца за дерзкую мысль сменить место службы. Нашего героя засадили за подготовку бюджета и вопросы по ликвидации счетов портов, и от всей этой цифири у несчастного голова шла кругом. Желая помучить его, шеф не оставлял Ги ни минуты досуга для работы над статьями. Тот был страшно раздражен, как будто в его служебные функции входило неоспоримое право писать для себя на казенной бумаге. Из недели в неделю его письма Флоберу становятся все более трагичными: «Министерство раздражает меня: я не могу работать, мой ум утомлен вычислениями, которыми я занят с утра до вечера… Подобно святому Антонию, каждый вечер я говорю: „Вот и еще день прошел, еще день миновал“… Они кажутся мне долгими, долгими и грустными, в обществе коллеги-недоумка и шефа, который осыпает меня бранью. С первым я больше не говорю, а второму не отвечаю. Оба немного презирают меня и считают несообразительным, что меня утешает… Ничего нового для мосье Барду» (письмо от 5 июля

1878 г.). А вот строки из письма 21 августа того же года: «Мое министерство мало-помалу разрушает меня. После семи часов конторской работы я уже не могу сделать над собой усилие, чтобы отринуть всю тяжесть, угнетающую дух. Я даже попытался написать несколько хроник для „Голуа“, чтобы раздобыть несколько су – и не смог, не сочинил и одной строки, и мне хотелось залить бумагу слезами». Равным образом беспокоится он и о здоровье матери, у которой было не в порядке с сердцем и проблемы со зрением. Что до состояния его собственного здоровья, то он сам определял его как ужасающее, только сифилис, как он полагал, был тут ни при чем: «La Faculté (Медицинский факультет, т. е. врачебные светила. – *Прим. пер.*) в настоящее время убежден, что к моему заболеванию сифилис не имеет никакого отношения, но что у меня конституциональный ревматизм, поразивший сперва желудок и сердце, а затем в конце концов и кожу. Мне прописали паровые ванны в камере; толку пока никакого».

Поглощая в бешеных количествах «горькие настои, сиропы и столовые минеральные воды», он продолжает по воскресеньям кататься на лодке по Сене. Каждая из таких прогулок заканчивалась веселенькой ночкой. Он до того гордится своим списком «охотничьих трофеев», что хвалится перед Флобером. А тот, пораженный, тут же сообщает об этом Тургеневу: «Никаких новостей от друзей, кроме как от молодого Ги. Он недавно написал мне, что за три дня одержал девятнадцать побед! Прекрасно! Только боюсь, как бы не кончилось тем, что у него иссякнет семя» (письмо от 27 июля 1877 г.).

В сентябре 1878 года Флобер наведался в Париж на Всемирную выставку и снова замолвил слово о Ги перед министром. Аженор Барду, который раз от разу становился все сердечнее, пригласил писателя на обед и повторил свое обещание. Увы, то были все слова, коварные слова! В октябре, навестив в Этрета больную мать, отправился в Круассе. Оживленная беседа с Флобером, который – какая честь! – теперь обращался к своему подопечному на «ты», затянулась далеко за ночь. По словам Ги, мэтр был одет «в широкие панталоны, стянутые на поясе шелковым шнурком, и в безразмерный домашний халат, ниспадавший до самой земли». На следующий день Ги посетил дом Корнеля в Пти-Куронн, после чего понуро, с тяжелым сердцем влился в «адскую жизнь» министерства на рю Рояль. Путешествие, а также покупки бесчисленных медикаментов, требуемых для поддержания себя в форме, окончательно подорвали его финансовое состояние. «С трудом хватает на жизнь, – пишет он Флоберу, – а после того, как я

уплачу портному, сапожнику, приходящей прислуге, прачке, за квартиру и за стол, у меня от моих 216 франков в месяц останется от силы 12–15 франков на холостяцкие расходы» (письмо от 4 ноября 1878 г.).

И вдруг засиял луч надежды. 7 ноября 1878 года Флобер объявляет своему ученику: «Каролина написала мне эти строчки, которые я передаю вам: „Мосье Барду формально объявил мне, что в самом скором будущем возьмет Ги под свое крыло“». И посоветовал тому сходить на прием к заместителю министра Ксавье Шарму. Ги тут же последовал совету и принят был весьма учтиво. Но мосье Ксавье Шарм ограничился одними лишь словами: «Господин министр хочет действовать с тактом… Не утруждайте себя более. Я уведомлю вас, когда все будет улажено». «Все это показалось мне подозрительным», – пишет Мопассан Флоберу 2 декабря 1878 года. И три дня спустя: «Мое положение здесь становится невыносимым. Мой шеф, зная, что я должен уйти, известил о том директора, и мне уже наметили преемника. Поэтому каждое утро меня досаждают вопросом: „Когда же вы наконец уйдете? Чего вы ждете?“»

Ко всему прочему, пошли разговоры о возможном расформировании министерства. Если Аженору Барду придется расстаться с портфелем, последние шансы Ги улетучатся без следа. Сидя между двух стульев, он стяжал только ненависть своих начальников. «Я сижу в дерьме по шею, погрязнув в неприятностях и невыразимой печали, – признается он Флоберу. – …Я проводил день за днем в приемной мосье Барду, но так и не смог ни увидеть его хоть на минуту, ни получить хоть какого-нибудь ответа. Мосье Шарм говорил мне каждый день: „Подождите, я поговорю с ним о вас; приходите завтра, вы получите окончательный ответ“. И каждый раз я возвращался, но не получал ничего, кроме зыбких обещаний. В Морском министерстве я потерял премиальные, полагающиеся мне по итогам года, и очень надолго, может быть, на десять лет, всякую надежду на продвижение. А в Министерстве народного образования смеются надо мной… У меня ни гроша, и остается только либо броситься в Сену, либо – к ногам моего шефа, одно другого стоит. Больше мне прибегнуть не к чему» (письмо от 7 декабря 1878 г.).

И вот, наконец, решение, подобное разорвавшейся бомбе: писарь Ги де Мопассан получил назначение в Министерство народного образования. Его разозленный шеф с улицы Рояль задыхался от гнева.

– Вы покидаете этот дом, не передав заявление по начальству! – вскричал он. – Я не позволю!..

– О, мосье, – с апломбом ответил Ги. – Вам ничего не надо позволять! Дело решено на более высоком уровне. На уровне министров!

Досье замыкает конфиденциальная записка начальника канцелярии директору: «Что касается мосье де Мопассана, уволившегося с должности служащего Морского министерства в связи с переходом в Министерство народного образования, то я не думаю, что будет какая-то польза, если я дам оценку его манере служить». Дата: 19 декабря 1878 года.

Как бы там ни было, узнав о перемене в своей судьбе, Ги тут же помчался в Министерство народного образования на рю де Гренель, где у него был милый дружок, писатель Анри Ружон.

– Я покинул Морское министерство! – воскликнул он, ворвавшись в контору. – Я теперь ваш товарищ! Барду причислил меня к своему кабинету! Ха-ха-ха, ну не смешно ль?

Вот как рассказывает о том Анри Ружон: «Мы начали с того, что станцевали неистовый танец вокруг пюпитра, возвышенного в достоинство алтаря дружбы. После этого мы, как и полагаемся, воздали хвалу покровителю словесности – Барду. Мне показалось правильным, что Мопассан посчитал своим долгом закончить потоком брани, адресованной в знак прощанья своим бывшим шефам из Морского министерства».

И вот Ги обосновывается на рю де Гренель, в превосходном кабинете «с видом на сады». Но им уже овладело беспокойство. «Пока мосье Барду здесь, мое финансовое положение будет прекрасным, – пишет он Флоберу. – У меня будет 1800 франков жалованья, 1000 – от Кабинета и по крайней мере 500 франков наградных ежегодно. Но если он падет сейчас – у меня не будет ничего» (письмо от 26 декабря 1878 г.). И немного позже, все тому же адресату: «Пока я служил в Морском министерстве, я пользовался льготным проездом и платил только четверть стоимости проезда по железной дороге. Поездка в Руан обходилась мне в 9 франков в оба конца. Теперь, во втором классе, она будет стоить мне около 36 франков, а для человека, живущего в среднем на 4 франка в день, это – целое состояние… Словом, я обследую состояние моих финансов в конце месяца и надеюсь, что мне все же удастся съездить и провести денек с вами» (письмо от 18 февраля 1879 г.).

Итак, несмотря на удачу, которой он так долго ждал, Ги по-прежнему не чувствовал себя на новом месте прочно. Он опасался зависимости от политических колебаний. Кроме того, он считал свой оклад слишком ничтожным. Только-только получив назначение на столь желанное место, он пишет Леону Фонтену письмо с просьбой одолжить ему 60 франков. Эту дружескую

просьбу Мопассан подписывает гордым титулом, размахнув его на всю ширину страницы: «Причисленный к кабинету министра народного образования, вероисповеданий и искусств, особоуполномоченный по переписке министра и по делам управления отделами вероисповедания, высшей школы и учета» (конец декабря 1878 г.).

У этой медали была, однако же, обратная сторона: на новом месте Мопассану приходилось протирать штаны в канцелярии до половины седьмого вечера каждый день недели и даже в воскресенье – до полудня. Но в эту пору плаванье на лодке уже не так привлекало Ги – свое свободное время он посвящал теперь сочинительству. Он опубликовал под различными псевдонимами (Ги де Вальмон, Мофриньёз, Жозеф Прюнье) целый ряд хроник и стихотворений в многочисленных журналах и газетах, куда ему открылся доступ по рекомендации Флобера. В благодарность Ги поместил 22 октября 1876 года на страницах «Репюблик де леттр» этюд о своем учителе. Последний был искренне тронут. «Вы проявили ко мне сыновнюю нежность, – немедленно написал в ответ Флобер. – Моя племянница в восторге от вашего творения. Она находит, что это – лучшее, что написано о ее дядюшке. И я так думаю, но не осмеливаюсь сказать».

Ликуя, что ему наконец удалось определить «крошку» в Министерство народного образования, Флобер одновременно с этим сожалел, что тот – о, какова неблагодарность! – отвернулся от своего благородного поэтического призвания. «Как будто один хороший стих не полезнее для народного образования в сто тысяч раз, нежели вся эта серьезная чушь, которой вы занимаетесь!» – напишет он. И Ги был того же мнения. Но он, по крайней мере, имел почву под ногами. Как истинный нормандец, он ведет подсчеты, калькулирует, не желает менять синицу в руках на журавля в небе. Пока он не достигнет достаточной известности в литературе, он не откажется от своего поста в министерстве. Скитания изголодавшегося и отчаявшегося гения не в его натуре. Ему подавай сразу и славу, и деньги, и женщин. И он решает завоевать мир. Если Флобер умел довольствоваться малым в своем круассетском уединении, то Ги испытывает поистине алчный аппетит к жизни.

Глава 8
Пышка

Едва Ги занял место в канцелярии на рю де Гренель, как маршал Мак-Магон ушел в отставку. Его отход от дел знаменовал собою конец учрежденного им «морального порядка» и триумф республиканцев. Жюль Греви обосновался в Елисейском дворце, а Жюль Ферри – на рю де Гренель взамен Аженора Барду. Но эти политические пертурбации ничуть не сказались на административной карьере Ги. Не кто иной, как его друг Анри Ружон, стал директором кабинета нового министра, и 1 февраля 1879 года он причислил молодого атташе к секретариату Ксавье Шарма. Этот последний, много старше своего коллеги, благожелателен и учтив. Но он требует от Ги такого большого объема работы и столь длительного присутствия на службе, что бедняга снова ударяется в жалобы: «У меня здесь очень хорошие отношения с Шармом, моим шефом, – пишет он Флоберу. – Мы почти что на равных; он предоставил мне очень хороший письменный стол. Но я в его руках; он сваливает на меня половину своих забот, я повинуюсь и пишу с утра до вечера; я вещь, послушная электрическому звонку, и в общем свободы у меня не больше, чем в Морском министерстве. Отношения приятные, это – единственное преимущество, да и служба куда менее нудная» (письмо от 24 апреля 1879 г.). Ксавье Шарм не раз хотел возложить на своего секретаря составление искусных отчетов по научным, художественным и литературным проблемам, но Ги отвертелся от этого. Не выказывая особой заботы о своей административной карьере, он отказывался проявлять служебное рвение, ограничиваясь наименее хитрыми делами. Так у него, по крайней мере, оставалась свободной мысль для собственных сочинений. Начальство считало его «корректным», «почтительным», но сетовало на его частые отсутствия на службе.

Сменив место жительства, Мопассан оказался теперь в доме № 17 по рю Клозель, в самом сердце квартала продажной любви (как любопытный курьез, сообщим о том, что в 1930 году память писателя была увековечена здесь мемориальной доской, но установили ее почему-то на соседнем доме под нумером 19!). В это жилище из двух комнат с прихожею и кухней Мопассан перевез мебель, книги, старинный ковер и, конечно же, *руку трупа*. По словам друзей писателя, его жилище напоминало гудящий улей – Ги доставляло наслаждение находиться в этом

фаланстере, полном проституток. У него с ними установились самые теплые отношения. Порою какой-нибудь клиент вышеупомянутых дам ошибался этажом и ломился к нему в дверь – все это так напоминало забавы из «Лепестка розы»! Но тут его на какое-то время захватил другой театральный проект. После долгих уверток Балланд согласился поставить на сцене Третьего Французского театра небольшую пьесу «В старые годы». Чтобы потрафить Флоберу, Ги посвятил эту безделицу Каролине Комманвиль. Вечером на премьере публика реагировала благосклонно. «Моя пьеса была хорошо принята, – пишет Ги Флоберу, – даже лучше, чем я мог ожидать. Лампоммерэ, Банвиль, Кларети были очаровательны, „Ле Пти Журналь“ – очень добр, „Ле Голуа“ – любезен, Доде – вероломен… Золя ничего не сказал… Впрочем, его *банда* (выделено в тексте. – *Прим. пер.*) спускает на меня всех собак, находя меня недостаточно натуралистичным; никто из них не подошел ко мне пожать руку после успеха. Золя и его супруга много аплодировали и позднее горячо чествовали меня» (письмо от 26 февраля 1879 г.).

В целом же отношения Ги с семейством Эмиля Золя можно безошибочно назвать самыми сердечными. Он часто наезжал в Медан, оказывал хозяевам честь, садясь за стол, пил сухое вино, рассказывал «крутые» анекдоты, которые строгая, темноволосая мадам Золя слушала, кусая губки, без колебаний высказывался по вопросам литературы – словом, был почти что на равных с хозяином дома. Этот последний решил приобрести лодку, и выбор таковой Ги взял на себя. «Более всего в ходу и самая лучшая для семейных прогулок – это **легкая норвежка** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*), – пишет он автору „Нана“. – Я видел четыре великолепных, но строили их признанные мастера, которые запрашивают от 260 до 450 франков…В Аржантее мне предложили построить таковую за 200 франков, но нужно будет подождать как минимум три недели… Кроме того, я нашел лодку, называемую „Утиный охотник“, 5 метров в длину и 1,35 метра ширины; за ее надежность могу поручиться. В дереве нет заболони;[33] она очень легка в управлении и приятна на взгляд… Цена ей 170 франков, и я думаю, что ее всегда можно будет сбыть с рук без всякого убытка… Если вы остановите свой выбор на „Утином охотнике“, мастер еще раз покрасит его перед тем, как отослать вам. Понятно, что эта покраска входит в счет тех 170 франков, о которых я упоминал» (письмо от 5 июля 1876 г.)

Золя решился на «Утиного охотника» ценою в 170 франков, и Ги сам пригнал лодку в Медан. Окрестить ее решили «Нана», по имени новой героини Золя, потому что, как сказал Ги, «на нее полезет вся публика» (tout le monde grimpera dessus). Вспоминая

об этих дружеских отношениях, Мопассан напишет с изяществом, подернутым ностальгией: «Во время длительного переваривания продолжительных трапез (поскольку все мы неисправимые гурманы и гастрономы, а Золя один кушал за троих ординарных романистов) мы болтали о том о сем… Иногда он брал в руки ружье, с которым управлялся не лучше близорукого, не прерывая разговора, палил по густой траве, где, как мы ему сообщали, находилась дичь, и ужасно удивлялся, отчего это нет ни одной убитой птицы. Порою удили рыбу. Я же оставался в лодке, называемой „Нана“, или купался часы напролет». Впрочем, несмотря на стократно провозглашенное восхищение своим маститым собратом по перу, Ги все же начинает относиться к натурализму с недоверием. Он видит в нем постоянную скованность, каковую полагает явлением опасным, угнетающим вдохновение романиста. «Что скажете вы о Золя? – пишет он Флоберу. – Лично я нахожу его абсолютно сумасшедшим. Читали ли вы его статью о Гюго? А статью о поэтах и брошюру „Республика и литература“? „Республика будет натуралистической, или ее не будет вовсе“. „Я всего лишь ученый“. (Всего лишь… Какая скромность!) „Социальная анкета“. Человеческий документ. Серия формул. Дождемся, что скоро увидим на корешках книг: „Великий роман, созданный по натуралистической формуле“. „Я всего лишь ученый!“ Сверхъестественно! И никто не смеется» (письмо от 24 апреля 1879 г.).

Но случилось так, что водившая большую дружбу с Флобером принцесса Матильда проявила интерес к пьеске Ги и пожелала поставить ее у себя в гостиных и пригласить автора; в главной роли Ея Высочеству виделась актриса Мари-Анжель Паска; но, увы, как раз в это время сорокалетняя актриса пребывала в отчаянии от несчастной любви, и ей было не до сцены. «Боже мой, какие же все-таки дуры эти женщины!» – ворчал Ги. К счастью, к маю 1879 года идеальная исполнительница, казалось, превозмогла свое горе, и на нее снова можно было рассчитывать. Принцесса Матильда направляет молодому автору очаровательное письмо: «Милостивый Государь… Я испытываю живейшее желание, чтобы она (пьеса) была прочитана у меня г-жой Паска… Я прошу назвать удобный для нее день и партнера, который должен играть вместе с ней». Ги, который так обожал хорохориться перед женщинами из народа, в сем случае стушевался не на шутку и адресует письмо Флоберу, прося проинструктировать на предмет манер, принятых в большом свете: «Что мне нужно сделать? Написать или нанести визит? Пожалуйста, напишите хоть несколько разъяснений, как следует

поступать в том и в другом случае? Если написать, то какова формула обращения? Мадам, или Госпожа Принцесса, или просто Ваше Высочество?…Обращение в третьем лице отдает, по-моему, холуйством. Но как же тогда? „Высочество“ неблагозвучно и фамильярно по тону – это все равно что обращаться к члену Царствующего дома на „ты“. Может быть, все-таки „Госпожа Принцесса“? Жду от вас незамедлительного указания» (письмо от 15 мая 1879 г.). Флобер из своего далека высказал соображения по этому поводу; Ги удостоился приема в гостиных принцессы и ее любезного обхождения; пьеса была сыграна перед интимным кругом зрителей и удостоилась успеха в свете.

А большего и не требовалось, чтобы отныне Ги был хорошо замечен как с правой, так и с левой стороны. С левой стороны находился Золя, с правой – Жюльет Адан, возглавлявшая «Ля нувель ревю». Хлопоча о своем протеже, Флобер направил вышеупомянутой даме его последнее стихотворение «Сельская Венера»: «Я верю, что его ждет великое литературное будущее. Он хорошо известен в мире парнасцев» (письмо от 25 ноября 1879 г.). Несмотря на такую рекомендацию, поэма была отвергнута, и Жюльет Адан посоветовала молодому автору взять источником вдохновения Терье.[34] Подобная нелепица до того разъярила Флобера, что он написал Ги: «Вот они каковы, газеты! О Боже мой! Боже мой! Терье предлагается как образец! Жизнь тяжела, и я заметил это не сегодня» (письмо от 3 декабря 1879 г.).

Удары, сыпавшиеся на его подопечного, подкосили Флобера, точно были нанесены по его собственному сердцу. Последние месяцы оказались очень болезненными для отшельника из Круассе. Оказавшись на мели, он по настоянию друзей принял должность внештатного хранителя библиотеки Мазарен. Эта чисто почетная функция не обязывала его ни к присутствию на службе, ни даже к проживанию в Париже, а приносила 3000 франков в год. «Свершилось! Я уступил! – писал он. – До сих пор этому противилась моя неисправимая гордость. Но, увы! Я на грани голодной смерти или близко к тому» (письмо начала июня 1879 г.) Когда Ги нанес Флоберу визит в его одинокой келье, маститый писатель попросил его помочь предать огню кое-какие старые письма. Дело было вечером. Плясавшие в камине языки пламени освещали крупное лицо хозяина, его оголенный лоб и отблескивали в глазах, полных слез. Клочки бесценной бумаги чернели, сворачиваясь на колосниках. Странный обряд продолжался час за часом, прерываясь вздохами и словами сожаленья. Лицом к лицу с этим многое повидавшим, сломленным человеком, глядевшим, как уносится с дымом его прошлое, Ги думал о тщете мирской славы. На него,

потрясенного, нахлынуло страстное желание жить – он предчувствовал, что скоро навсегда расстанется с самым дорогим для него после матери существом. Вдруг неожиданно среди вороха рукописных листов Флобер обнаружил небольшой пакет, перевязанный лентой. Распечатав его, писатель обнаружил там маленькую бальную туфельку, а в ней – расшитый кружевом дамский платок и увядшая роза. «Он расцеловал эти три реликвии, стеная от боли, затем бросил их в огонь и вытер слезы», – напишет Мопассан.

С сердцем, полным опасений, Ги покинул своего мэтра и возвратился в Париж. Там его ждала любопытная новость: он удостоился знака отличия по Академии. Будучи врагом всяких почетных отличий, он все же принял его с некоторым удовлетворением. Но вот над его головой снова сгустились тучи. «Ревю модерн э натюралист» только что опубликовал одно из его стихотворений под заглавием «Девушка» и за подписью «Ги де Вальмон». Эта публикация не была первой – стихи уже были напечатаны тремя годами ранее под заглавием «На берегу» в «Репюблик де леттр» Катулла Мендеса. И тем не менее супрефект города Этампа, где печатался «Ревю модерн э натюралист», счел, что имеется почва для скандала, и поднял на ноги судебные власти. Началось следствие. Ошалевший Ги терзался вопросом, не будет ли дело, которое ему приписывают, стоить ему должности в министерстве. Хуже того, он опасается, не будет ли запрещен к публикации его сборник стихов, содержавший крамольную пиесу. Этот сборник Флобер горячо рекомендовал супруге издателя Шарпантье: «Настаиваю. Вышеупомянутый Мопассан обладает большим, право, большим талантом! В этом вас уверяю я, и убежден, что знаю это. Короче говоря, **это мой ученик** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*) и я люблю его, как своего сына. Если ваш благоверный не уступит всем этим доводам, я затаю на него злобу, помяните мое слово!» (письмо от 13 января 1880 г.)

Оказавшись перед лицом обозначившейся катастрофы, Ги в стихийном порыве бросился к Флоберу. Конечно, он был очень сконфужен тем, что бросился за защитой к своему старому мэтру, у которого и без того хватало забот. Но никто, кроме автора «Мадам Бовари», который 24 года назад сам подвергся преследованиям за тот же грех, не мог бы прийти ему на выручку, думал он.[35]

14 февраля 1880 года Ги направился в Этамп, где судья подтвердил ему обвинение. Ему официально вменялось «оскорбление публичной и религиозной морали и добрых нравов». Тем временем «Ревю модерн э натюралист» опубликовал

другое его стихотворное произведение под заглавием «Стена». Не послужит ли это в глазах судейства отягчающим обстоятельством? Вернувшись в Париж, Ги пишет Флоберу: «Меня решительно преследуют за оскорбление нравов и публичной морали. И все это из-за поэмы „На берегу“. Я вернулся из Этампа, где подвергся продолжительному допросу судебного следователя. Сей чиновник был, однако же, весьма учтив, да и я, по-моему, ни в чем не сплоховал. Я обвинен, но убежден, что они не решатся дать делу ход, ибо слишком очевидно, что я буду защищаться, как бешеный. Не ради себя (плевать я хотел на свои гражданские права), а ради своей поэмы, nom de Dieu![36] Я буду отстаивать ее до конца любой ценой и ни за что не соглашусь на отказ от ее публикации. Теперь мое министерство меня тревожит, и я прибегну ко всем возможным средствам, чтобы добиться прекращения дела».

Доведенный до точки, Ги колеблется в формулировке просьбы. Ему ведомо отвращение Флобера к высказываниям своей общественной позиции, к газетно-журнальным кампаниям и прочим шумихам. Но что было делать, когда на карту поставлено будущее! Тем хуже для щепетильности Старца! Низко опустив голову, Мопассан продолжает: «…Собираюсь просить вас о большой услуге, принося одновременно свои извинения за то, что посягаю на ваше время и ваше творчество ради такого дурацкого дела. Мне от вас нужно письмо – длинное, утешающее, отеческое и философическое, проникнутое высокими идеями о моральной ценности литературных процессов, уподобляющих человека Жермини,[37] если дело кончается осуждением, или порою приводящих к награждению орденом в случае оправдания. Еще потребуется ваше мнение о моей пиесе „На берегу“ с точки зрения литературной и с точки зрения моральной (художественная мораль суть одно лишь Прекрасное!) и ваше сочувствие. Мой адвокат и друг подал мне этот совет, который я нахожу блестящим. И вот почему: это письмо предполагается опубликовать в „Голуа“ в статье по поводу моего процесса. Оно послужит одновременно средством укрепления позиции защиты и аргументом, на котором будет основываться речь моего адвоката. Ваше исключительное, уникальное положение гениального человека, подвергавшегося судебному преследованию за шедевр, с трудом оправданного, затем прославленного и в конце концов признанного безупречным мастером всеми литературными школами, оказало бы мне такую помощь, что, по мнению моего адвоката, дело немедленно замяли бы после одной только публикации вашего письма. Надо бы опубликовать его немедленно, дабы оно вполне походило на непосредственное

утешение Учителя Ученику. Но если по какой-либо причине вам это будет неприятно, не будем более говорить об этом… Я одинок в своей защите, мои средства к существованию под угрозой, я не нахожу поддержки ни в семье, ни у знакомых, и не могу осыпать золотом знаменитого адвоката…»

И, опасаясь, что Флобер не так поймет его, уточняет: «Когда я прошу от вас длинного письма, то имею в виду, что мне нужно две-три страницы вашей почтовой бумаги: только для того, чтобы расположить прессу в мою пользу и склонить ее вступиться за меня. Я же постараюсь заинтриговать все газеты, в которых у меня имеются друзья. Нежно обнимаю вас, мой дорогой учитель, и еще раз прошу у вас извинения. С сыновней преданностью – Ги де М.». Но перед тем, как запечатать письмо, полный угрызений совести, Ги приписывает следующее: «Если вам неприятно, что ваша проза появится в газете, не посылайте ничего» (февраль 1880 г.).

Получив этот призыв о помощи, Флобер не колебался ни секунды. Как ни претило ему поверять свои мысли какой-нибудь бульварной газетенке, он немедленно принялся за составление плана сраженья. «Дорогой мой, – извещает он Ги, – я тут же засяду за письмо, о котором ты меня просишь, но это потребует у меня целого дня, а может быть, и вечера. Ибо прежде всего нужно обо всем поразмыслить… Если случится так, что письмо смутит господ судей, они отыграются на тебе… Постараюсь сделать его возможно более догматичным» (письмо от 15 февраля 1880 г.). Первое, что сделал Флобер, – составил для своего ученика список официальных лиц, к которым ему следовало обратиться, чтобы вызвать их интерес к своему делу, и сам разослал письма тем из них, кого полагал наиболее влиятельными. Из всех этих возможных покровителей наиболее респектабельным показался ему муниципальный советник Руана Рауль-Дюваль. «Благодаря Раулю-Дювалю, – уверяет Флобер Ги, – генеральный прокурор остановит дело, и ты не потеряешь место» (письмо от 17 февраля 1880 г.). И чтобы его корреспондент воспрянул духом, вспоминает свой собственный опыт общения с правосудием: «Тот процесс сделал мне гигантскую рекламу, которой я обязан тремя четвертями своего успеха». Но как бы ни убеждал его Старец, Ги относился к его заверениям все с меньшим доверием. «Дело дрянь, дорогой учитель, – вздыхает он, – думаю, что скоро потеряю место и окажусь на мостовой… Мне сообщают с разных сторон и по самым авторитетным каналам, что меня уж точно осудят. Право, тут какая-то подоплека. Между нами говоря, уверяют, что все это исходит от салона мадам Адан и что я назначен в качестве жертвы для того, чтобы потом разделаться с

Золя» (февраль 1880 г.).

И вот наконец 21 февраля 1880 года «Голуа» публикует письмо Флобера своему ученику: «К чему мы принуждены теперь? Что нужно написать? Как публиковать? В какой Беотии[38] мы живем? Поэзия, точно солнце, озаряет золотом навоз. Тем хуже для тех, кто этого не видит». Флобер остался не удовлетворенным этим верительным посланием, посчитав его написанным «в стиле извозчичьей лошадки». Но резонанс незамедлительно дал о себе знать: неделю спустя судебные преследования были прекращены, о чем следователь и подписал распоряжение. Потрясенный, Ги переполнен благодарностью к Флоберу, считая, что одному лишь ему обязан победой над «стражами закона»: «Спасибо еще раз, мой дражайший покровитель, за ваше красноречивое письмо, которое спасло меня, и за ваше спешное вмешательство… Это – жалкие и трусливые люди. Их отступление в моем деле – прекрасная вещь. Словом, с этим кончено» (начало марта 1860 г.).

Ему бы радоваться всей душой, да вот беда: приходится заботиться о здоровье. Ги признается Флоберу, что страдает параличом аккомодации правого глаза. По словам лечащего врача, речь идет о том же заболевании, которым хворала и его мать, то есть легком раздражении верхнего отдела спинного мозга. «Следовательно, нарушение сердечной деятельности, выпадение волос и поражение глаз имеют одну причину… Во всяком случае, это ужасно тошнотворно». Факт остается фактом – у атлета со стальными мускулами нервы никуда. У него выпадают волосы, он вспыльчив, случаются даже галлюцинации. Несмотря на столь серьезные проблемы со здоровьем, он с жаром готовится к новым баталиям. Шумиха вокруг с треском провалившегося судебного процесса в полной мере послужила его реноме. У Шарпантье готовился к публикации томик его стихов; у того же издателя вот-вот должен был выйти коллективный сборник новелл «Меданские вечера», включавший одно из творений Мопассана – «Пышку». Идея этого коллективного труда родилась за одним из обедов в обществе Золя. Собравшись у прославленного автора «Западни» и «Нана», молодая группа из пяти человек – Мопассан, Гюисманс, Сеар, Алексис и Энник – вспоминала франко-прусскую войну. У каждого из них были воспоминания об этой плачевной эпохе, которые хотелось бы поведать читающей публике. Неожиданно Энник предложил составить сборник из шести новелл на данную тему. Собравшиеся ответили аплодисментами. Теперь нужно было подыскать ему название. Гюисманс имел нахальство предложить для сборника такой титул, от которого всех бросило в дрожь: «Комическое нашествие». Право, не слишком ли провокационно? Сеар

предложил «Меданские вечера» – в честь гостеприимного домика Золя, где так любят собираться его молодые поклонники. Это кроткое название было одобрено единогласно. В общем радостном порыве было решено вверить книгу патронажу доброго хозяина домика в Медане. Его имя, стяжавшее такую громкую славу, будет открывать сборник и послужит поручительством пятерым дебютантам, выстроившимся вслед за ним гуськом. Так и ворвутся наскоком в мир литературы. Золя собирался включить в сборник новеллу «Осада мельницы», которую ранее опубликовал сначала в России, затем во Франции, Гюисманс – рассказ «С мешком за плечами», который незадолго до того увидел свет в Брюсселе, а Сеар – жгучий эпизод из эпохи осады Парижа (чего стоит одно только название – «Кровопускание»!), написанный им для русского журнала, корреспондентом которого он являлся. Дело оставалось за тремя другими авторами – Мопассаном, Энником и Алексисом. Перья в руки – и за дело! Ги особенно рассчитывал на то преимущество, которое даст сборнику имя Эмиля Золя – оно поможет книге разойтись, да еще и принесет каждому соучастнику «на табачок» франков сто или двести… В оправдание сего предприятия, к которому Флобер отнесся с недоверием, Мопассан пишет Старцу:

«У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической идеи, никакого предвзятого намерения; мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны, очистить их от шовинизма в духе Деруледа, а также от фальшивого энтузиазма, почитавшегося до сего времени необходимым во всяком повествовании, где имеются красные штаны и ружье. Генералы, вместо того чтобы быть кладезями премудрости, в которых ключом кипят благороднейшие чувства, великодушнейшие порывы, оказываются просто-напросто посредственными существами, подобными всем другим посредственным существам, с тою только разницею, что они носят кепи с галунами и приказывают убивать людей не в силу дурных намерений, а единственно по глупости. Эта добросовестность, проявленная нами при оценке военных событий, придает всему сборнику своеобразную физиономию, в тысячу раз сильнее ожесточает буржуа, чем лобовые атаки. Это не будет антипатриотично, а будет попросту правдиво, и то, что я говорю о руанцах, гораздо слабее подлинной правды» (письмо от 5 января 1880 г.).

Мопассану не терпелось представить на суд мэтру свою дерзновенную новеллу, названную «Пышка». Как только из типографии пришли первые гранки, он тут же отправил их в Круассе. Флобер с жадностью набросился на них и воспылал

восторгом. Да, были у Флобера основания делать ставку на будущее Ги! Бравый молодец так прекрасно усвоил полученные от него уроки, что вот-вот разом сравняется с самыми маститыми! По-прежнему пребывая в волнении от этого открытия, Флобер пишет своей племяннице Каролине: «Повесть моего ученика „Пышка“, гранки которой я прочел нынче утром, – воистину **шедевр** (выделено везде в тексте. – *Прим. пер.*). Держу слово, **шедевр** композиции, комизма и наблюдения» (письмо от 1 февраля 1880 г.). В тот же день он сообщает свое мнение автору: «Спешу известить вас, что почитаю „Пышку“ **шедевром.** Да, молодой человек! Ни больше ни меньше, видно руку мастера! Очень оригинально по замыслу, отлично понято и выдержано в превосходном стиле. Заметны пейзаж и персонажи, сильна психология. Сказать короче, я восхищен, а раза два или три посмеялся в голос. Я перечислил вам на крохотном клочке бумаги мои ремарки в духе классного надзирателя. Примите во внимание, я полагаю их стоящими. Эта маленькая повесть **останется** в литературе, не сомневайтесь в этом. Ах, что за рожи у ваших буржуа! Как на подбор…Так бы лобызал тебя четверть часа подряд! Нет, право, я доволен! Получил удовольствие и восхищаюсь… Еще раз браво! Nom de Dieu!»

Никогда еще Флобер не выказывал такого восторга перед творением своего ученика, Ги был счастлив тем сильнее, что несколькими днями ранее его осыпали похвалами товарищи. Собравшись у него на рю Клозель, где каждый читал свою новеллу, они выслушали «Пышку» в благоговейной тишине, а затем все встали в едином порыве и провозгласили Мастером! Однако сам он относится без снисхождения к остальным пяти участникам «Меданских вечеров». «Золя: хорошо, но этот сюжет мог быть трактован точно в такой же манере и ничуть не хуже мадам Санд или Доде, – напишет он Флоберу. – Гюисманс: так себе. Ни сюжета, ни композиции, мало стиля. Сеар: тяжело, очень тяжело, мало похоже на правду, подергивания стиля, но много любопытного и тонкого; Энник: хорошо, рука хорошего писателя, местами некоторая беспорядочность. Алексис: похож на Барбе д’Оревильи, но, подобно Сарсе, желает походить на Вольтера» (конец апреля 1880 г.).

И то сказать, «Пышка» выделяется среди других новелл «Меданских вечеров» верностью наблюдения, легкостью почерка, точностью образов, ни в коем случае не вымученных, и безжалостным юмором, взламывающим линейную на первый взгляд канву повествования. Катящийся по оккупированной пруссаками Франции дилижанс с его трусливыми, но при этом самодовольными и эгоистичными пассажирами суть символ

человеческой посредственности. В нем заперта как бы вся нация, униженная поражением. Когда прусский офицер не дает добро на отправление экипажа, пока одна из пассажирок – девица известного поведения по прозвищу Пышка – не согласится разделить с ним ложе, презиравшие ее дотоле буржуа решили, что она должна пожертвовать собою во имя общего интереса. «Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое право она имеет отказывать кому бы то ни было? Скажите на милость, в Руане она путалась с кем попало… А теперь, когда нужно вызволить нас из беды… разыгрывает из себя недотрогу!» – заявляет мадам Луазо. Со своей стороны, граф де Бревиль предпринимает попытку уломать Пышку при помощи ласки и дипломатии: «Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и самое себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не оказать любезности, которую вы оказывали в своей жизни столько раз?» За столом вспоминали примеры самопожертвования – «Юдифь и Олоферна, затем ни с того ни с сего Лукрецию и Секста, помянули Клеопатру, которая принимала на своем ложе всех вражеских военачальников и приводила их к рабской покорности». Пожилая монахиня даже высказала утверждение, что «нередко поступок, сам по себе достойный осуждения, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет». И вот Пышка, которая поначалу пылала негодованием при одной мысли о том, чтобы разделить ложе с врагом ее родины, соглашается, уступив доводам стольких уважаемых особ. Прусский офицер – хозяин своего слова: дилижанс трогается в путь. Получив возможность вздохнуть свободно, буржуа возвращаются к своей прежней натуре и вновь отворачиваются от несчастной. Презираемая всеми, она оплакивала свой позор. «Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал, – пишет Мопассан. – Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих почтенных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули как ненужную грязную тряпку».

Что более всего поразило публику, что более всего очаровало Флобера, так это сочный ход фразы, сотни правдивых деталей в живописании персонажей и горькая мораль, восстающая из целостности сюжета. В этой в высшей степени колоритной повести, обладающей остротой памфлета против благонамеренного общества, жизнь отовсюду бьет ключом. И в противоположность тому, чего мог опасаться Флобер, ученик ни в чем не подражал ему. Наставничество Флобера пошло ему на пользу, но при всем том он сумел создать произведение,

обладающее очевидной оригинальностью. Его почерк более свободный, более непосредственный, чем у отшельника из Круассе. В свои тридцать лет Мопассан достиг самодостаточности.

Этот бурный расцвет его таланта на глазах у честного мира тем более поразителен, что он сочинил свою «Пышку», отчаянно борясь со вполне прозаическими обстоятельствами. Тут и навалившиеся на него административные интриги, и угроза судом, которая могла привести его к потере места в министерстве, и забота о собственном здоровье. В ту пору, когда он вынужден был таскаться в Этамп на допросы, у него так болел правый глаз, что он едва мог вывести строчку на листе бумаги и должен был ставить себе за ухо пять штук пиявок. Мигрени так донимали его, что бедняге приходилось прибегать к эфиру. Это зелье утоляло его боль и обостряло мысль. Вот как он увековечил свои чувства в одной из новелл: «Вскоре странное и чарующее ощущение пустоты, которое обитало в моей груди, разлилось и достигло членов, которые, в свою очередь, стали легкими-легкими, словно в них растаяли плоть и кости и осталась только кожа, – кожа, необходимая мне, чтобы ощущать сладость жизни и почивать в этом благополучии. И я почувствовал, что более не страдаю… Голова моя сделалась полем битвы мыслей. Я сделался высшим существом, вооруженным непобедимым умом, и вкушал потрясающую радость от ощущения своей невиданной силы».

Вместе с тем в «Пышке» нет и следа этой бредовой эйфории. Повествование отличается безупречным реализмом. Источником вдохновения для Мопассана послужила девица известного поведения, о которой ему рассказал ее дядюшка Шарль Кордомм. Звали ее Адриенна Леге, и за свои округлые формы она удостоилась прозвища Пышки. Что же касается самого приключения, то не исключено, что автор чуток добавил ему пикантности во имя искусства. Годы спустя Мопассан встретит Адриенну, одну, в ложе театра «Лафайет» в Руане. После спектакля он пригласит ее на ужин, с глазу на глаз, в отель «Манс». Это был его скромный знак признательности той, которая послужила его первому успеху.[39]

Но Ги еще не был уверен в своем первом успехе – ведь книга еще не успела попасть на суд публики. Ожидая появления со дня на день также и своего сборника стихов, Ги раздумывал-гадал, какая же из двух книг для него важнее. 28 марта 1880 года, на Пасху, он оказывается у Флобера в Круассе, где собрались сливки французской словесности: Гонкур, Золя, Доде и Шарпантье. Гонкур очарован видом Сены, по которой, как привидения,

скользят пароходы, восхищается длинной террасой, обсаженной липами, письменным столом хозяина и качеством кухни. «Лилось рекою вино разных сортов, – гласит дневниковая запись Гонкура, помеченная той же датой, – и весь вечер рассказывали сальные истории, от которых Флобер взрывался хохотом, подобно тому, как давятся от смеха в детстве». Среди этих славных мэтров Мопассан по-прежнему пока еще оставался желторотым юнцом; не для того ли созвал Флобер эту встречу светил, чтобы лучше подготовить своего жеребенка к выходу на вольные просторы?

17 апреля 1880 года «Меданские вечера» наконец поступили в продажу. Получив свой экземпляр, украшенный полными сердечной признательности автографами всех шести авторов, Флобер восклицает: «„Пышка“ подавляет том с таким глупым названием!» (конец апреля 1880 г.). Вскоре Ги посылает ему также и сборник стихов. Труд посвящается «Гюставу Флоберу, блистательному, отечески расположенному другу, которого я люблю со всею нежностью, и безупречному мастеру, которым я более всего восхищаюсь». Растроганный Флобер пишет своему ученику: «Молодой мой человек, у тебя есть все основания любить меня, ибо твой Старец тебя нежно любит. Твое посвящение вызвало во мне волну воспоминаний… Голубчик долгое время ходил с ублаженным сердцем и слезою на веках» (письмо от 25 апреля 1880 г.). Но, уже сочиняя это послание своему любимцу, Флобер инстинктивно чувствовал, что стихи молодого автора – не более чем приятная забава, от которой в литературе не останется и следа, тогда как «Пышку» ожидает блистательная карьера. «Меданские вечера» предваряются кратким предисловием, звучащим как вызов: «Мы ожидаем всяческих нападок, недоброжелательства и игнорирования, тьму примеров чего нам уже дала текущая критика. Наша единственная забота заключается в том, чтобы публично утвердить наши истинные дружеские отношения и вместе с этим – наши литературные тенденции».

Реакция прессы и впрямь оказалась враждебной. 19 апреля Альбер Вольф пишет на страницах «Фигаро»: «В предисловии, исполненном редкого нахальства, маленькая шайка самонадеянных юнцов бросает перчатку критике. Эти плутни шиты белыми нитками. Их потаенные мысли ни для кого не секрет: постараемся, чтобы нас разбранили, тогда сборник пойдет! „Меданские вечера“ не стоят ни строчки критики. Если не считать новеллы Золя, открывающей том, это – низшая степень посредственности». В тот же день Леон Шаперон разразился с полос «Эвенман»: «Как и следовало ожидать, месье натуралисты охвачены горячкой тщеславия. Они только что опубликовали

сборник „Меданские вечера“. Предисловие, составившееся из двух десятков строк, – грубость в самом чистом и неприкрытом виде». Того же мнения держится и некий Ле Ребуйе из газеты «Тан»: «Невзирая на венчающий ее блистательный убор, книга из самых ординарных. Молодые люди, которых рекламирует Золя, усвоили только его зазнайство, а не талант».

Но все же то тут то там раздавались голоса, приветствовавшие выступление Мопассана. Камиль Лемонье воздает в солидном издании «Эроп политик экономик э финансьер» похвалу этому «живому, пересыпанному короткими описаниями рассказу». Фредерик Плесси, отмечая на страницах «Ля пресс» «сжатый, сдержанный, сосредоточенный» стиль «Пышки» и «бесспорно наблюдательский дух» ее автора, добавляет с толикою вероломства: «Это все идет в чистом виде от Флобера, а ведь какой требуется талант, чтобы подражать этому великолепному прозаику!» Всю эту пеструю прессу Флобер не мог читать без ворчания. Эти бестолочи ничегошеньки не поняли! И, конечно, маститый писатель не мог не воздать должное Альберу Вольфу, ополчившемуся на «шайку самонадеянных юнцов» и отличавшееся «редким нахальством» предисловие к их коллективному труду. «Статья Вольфа преисполнила меня радостью, – пишет он Мопассану. – Ну что за кастраты!» И добавляет: «Перечитал „Пышку“ и остаюсь во мнении, что это шедевр. Постарайтесь сотворить дюжину таких же – и будете человеком!»

27 апреля 1880 года несколько друзей собрались в Руане в гостях у семьи Лапьер, чтобы воздать честь Флоберу по случаю дня св. Поликарпа, которого маэстро в шутку назначил своим небесным покровителем за то, что, по преданию, этот благочестивый епископ из Смирны часто повторял: «В каком веке мы живем, Боже правый!» Мопассан, которого дела задержали в Париже, не мог принять участие в торжестве, но послал своему учителю комические письма – одно из них за подписью «Чудовище с улицы Гренель» (так прозвали садиста, убившего девушку), второе – поздравления от имени прокурора Пинара, который когда-то напустился на «Мадам Бовари», а третье – под псевдонимом «Сент-Антуанская свинья». «Право же, я был тронут всем тем, что было предпринято, чтобы развлечь меня, – писал Флобер своей племяннице Каролине. – Подозреваю, что мой ученик горячо поучаствовал во всех этих милых фарсах».

Таким образом, Мопассан постарался изо всех сил, чтобы, пусть издалека, позабавить своего учителя, чья меланхолия внушала ему беспокойство. О нежности, объединявшей их, было известно всей литературной среде. Кое-кто даже шептался о том,

что автор «Мадам Бовари» мог быть кровным отцом автора «Пышки». Разве Лора ле Пуатевен и Гюстав Флобер не были друзьями с детства? Остается всего шаг до того, чтобы вообразить любовные отношения между ними. Никто не станет отрицать схожести между Флобером и Ги. Та же внешняя физическая крепость. То же отвращение к браку и та же тяга к девицам из веселых домов. Та же «агромадная» природная склонность к дурачествам, та же ненависть к буржуа, та же преданность искусству… Но у Ги было и немало сходства со своим законным отцом Гюставом де Мопассаном. Как и Гюстав, он ветреник, транжира, враг всяких ответственностей, не способен вынести малейшего принуждения и склонен сердиться, подобно капризному дитяти. Кстати, Ги познакомился с Флобером очень поздно, только в 1867 году. Если допустить, что первый был сыном последнего, стала бы страстная поклонница литературы Лора ждать так долго, чтобы воссоединить их? Все вышеизложенное приводит к мысли, что между этими двумя мужчинами существовали не тайные отношения кровных отца и сына, но целомудренная и глубокая дружба между великим старцем и тем, кого он почитал своим духовным наследником. Несмотря на таковую очевидность, слух продолжал ходить. Был ли в курсе Флобер? Едва ли, иначе он взорвался бы от гнева. А пока что, обремененный заботами и одержимый мыслью закончить роман «Бувар и Пекюше» прежде, чем будет взят костлявой, он находил лучшее утешение в молодом успехе Ги. Книга продавалась хорошо. Несмотря на, скажем так, неласковую прессу, публика была заинтригована новоявленным талантом, писавшим с силой, правдой, осмелившимся превратить в героиню девушку из народа, торговавшую своими прелестями. «Принеси-ка мне на следующей неделе, – пишет Флобер Мопассану, – список идиотов, которые строчат так называемые „литературные отчеты“ в газетенках… Что ж, изготовим к бою наши батареи!.. Стало быть, вышло восемь изданий „Меданских вечеров“? „Три повести“ выдержали четыре. Я ревную!»

Глава 9
Смерть старца

В субботу 8 мая 1880 года в половине четвертого пополудни Ги получил депешу от Каролины Комманвиль: «Флобер сражен апоплексией. Никакой надежды. Отправляемся в шесть часов. Приезжайте, если можете». Новость подтвердили две другие телеграммы, пришедшие из Руана. Убитый случившимся, Ги взял в руки веселое письмо от Флобера, датированное 3 мая, – то самое, в котором Старец пообещал ему «изготовить к бою батареи», чтобы отразить нападки недоброжелателей «Меданских вечеров». Пяти дней не прошло, и вдруг – такое… Ги бросился на вокзал Сен-Лазар, встретил на перроне чету Комманвиль и сел с ними в поезд. Путь до Руана казался ему нескончаемым. Опьяненный от горя, он едва мог говорить. В Круассе он нашел новопреставленного вытянувшимся на диване, с раздутой от черной крови шеей – признак апоплексии. Он внушал ужас и был покоен, точно колосс, сраженный молнией. Ги стал расспрашивать подробности о последних мгновениях учителя. По словам близких, все произошло неожиданно и молниеносно. Проснувшись поутру, Флобер пребывал в превосходном здравии и радовался от мысли, что назавтра, 9 мая, отправится в Париж. Однако, приняв горячую ванну, почувствовал недомогание. Обеспокоенный, он попросил служанку отправиться за своим лечащим врачом, доктором Фортеном, жившим тут же, в Круассе. Потом открыл флакон с одеколоном, протер виски и вытянулся на диване. Доктора Фортена не оказалось на месте, и к изголовью больного прибыл доктор Турне из Руана. Поздно! Флобер был бездыханным. Видимо, отошел тихо, без мучений. Ги изо всех сил хотел бы поверить в это. Превозмогая смятение, он своими руками обмыл тело почившего и обтер крепким одеколоном. «Я надел на него сорочку, кальсоны и белые шелковые носки; лайковые перчатки, гусарские брюки, жилет и пиджак; галстук, подвязанный под воротником сорочки, выглядел как большая бабочка. Потом я закрыл его прекрасные глаза, расчесал усы и великолепные густые волосы…» (письмо от 9 мая 1880 г.).

Проведя бессонную ночь у тела усопшего, Ги написал Золя: «Наш бедный Флобер умер вчера от апоплексического удара. Похороны состоятся во вторник в полдень. Излишне говорить, что все, кто любил его, будут счастливы видеть вас на его погребении. Если вы отправитесь утром с восьмичасовым поездом, то приедете без опоздания. На станции будут ждать

экипажи, и вас отвезут прямо в Кантеле, где назначена церемония. Жму вашу руку с чувством глубокой скорби». В тот же день он шлет письмо Эдмону де Гонкуру: «Не присоединитесь ли вы к нам для прощания с несчастным великим другом?» Вскоре все спутники Флобера были оповещены о его уходе. Эдмон де Гонкур отметил в своем дневнике: «На некоторое время меня охватило смятение, так что я не понимал, что делаю, да и по какому городу еду в экипаже. Я почувствовал, что между нами существовала тайная связь, порою ослабевавшая, но неразрывная» (письмо от 8 мая 1880 г.).

Урегулировав детали печальной церемонии, Ги встретил прибывших на нее близких и друзей покойного в осиротевшем доме в Круассе при закрытых ставнях. 11 мая, вскоре после полудня, траурный кортеж тронулся в путь. Впереди всех, понурив головы, шествовали Ги де Мопассан и Эрнест Комманвиль… Следом по пыльной прибрежной дороге, ведущей к церкви в Кантеле, тяжелыми шагами выступали остальные участники процессии. Среди них не было ни Гюго, ни Тэна, ни Ренана, ни Дюма-сына, ни Максима Дюкана, ни Огье, ни Вакери. Но Золя, Доде, Гонкур и Жозе Мария де Эредиа приняли участие в церемонии отдания последних почестей усопшему. Присутствовали представитель префекта, мэр Руана, муниципальные советники, студенты и журналисты; об этих последних Гонкур отозвался так: «Что производит ужасное впечатление на таких похоронах, так это куча репортеров с бумажками на ладони, куда они, перевирая, записывают имена присутствующих и названия мест».

По окончании заупокойной службы катафалк, сопровождаемый запыхавшейся потной толпой, двинулся к руанскому кладбищу. «В беззаботной толпе, которая находит похороны слишком затянувшимися, – пишет Эдмон де Гонкур, – возникает светлая мысль о маленькой пирушке. Говорят о камбале а-ля норманд и утятах под апельсиновым соусом… и Бюрти (искусствовед. – *Прим. авт.*) произносит слово *бордель* (выделено в тексте. – *Прим. пер.*), подмигивая глазками влюбленного котяры. Вот и кладбище – кладбище, благоухающее боярышником и возвышающееся над городом, окутанным лиловой тенью; от этого кажется, будто он весь из черепицы» (письмо от 11 мая 1880 г.).

И вот последнее испытание, которое ожидало Ги: когда гроб опускали в могилу, выяснилось, что гробокопатели не учли его размеров… Яма, которую они вырыли, оказалась маловата, и гроб застрял головой вниз, не подаваясь ни туда, ни сюда. Чего только могильщики не делали, как ни манипулировали веревками, ни

бранились, ни ругались – не помогало все равно. Каролина стонала вполне по-театральному. Наконец Золя крикнул: «Довольно, бросьте!» Священник поспешно окропил гроб святой водою. Толпа рассеялась. Яму расширили до нужных размеров уже в отсутствие близких. Стоит ли сомневаться, что Флобер охотно включил бы эту гротескную историю в свой неоконченный роман «Бувар и Пекюше». Ги задыхался от возмущения и гнева. Он злобно глядел на этих людей, большая часть из которых вскоре позабудет об усопшем. «И вот вся эта истомленная жаждой толпа, – продолжает Гонкур, – устремляется в город, сыпя шутками, сверкая раскрасневшимися лицами. Доде, Золя и я уезжаем, отказавшись принять участие в поминках, назначенных на этот вечер».

Каролина продолжала по-театральному выказывать отчаяние. Ги не слишком-то верил этой странной маленькой особе, ради которой Флобер разорился и которая теперь сделалась его полноправной наследницей. Она занималась живописью и ударялась в благочестие; но натура ее была одновременно расчетлива и жеманна. Двумя годами ранее Ги писал о Каролине матери: «Мадам Брэнн, с которой я долго беседовал вчера, живописала мне портрет мадам Комманвиль, вывод из которого меня глубоко поразил. По ее словам, эта госпожа не поддается пониманию, слушает курс физиологии и метафизики, набожна и вместе с тем республиканка, холодна как мрамор, недоступна большинству страданий и страстей, проводит целые часы тет-а-тет то со святым отцом Дидоном, то со своими обнаженными моделями; она нетерпима, непогрешима, наделена высшим разумом. Очевидно, в точности такой была мадам де Ментенон. Сравнение абсолютно точное. Это воистину мадам де Ментенон» (письмо от 15 февраля 1878 г.).

Со своей стороны, Эдмон де Гонкур, наблюдавший чету Комманвиль в день похорон Флобера, напишет следующее: «Муж племянницы, разоривший Флобера, не просто бесчестен, как сказали бы коммерсанты, – он самый истинный прохвост. А по поводу племянницы, ради которой Флобер готов был из себя достать печенку, Мопассан говорит, что не может поручиться за нее. Она была, есть и будет бессознательным орудием в руках своего канальи-мужа, который обладает над нею властью, каковою обладают негодяи над честными женщинами… Комманвиль постоянно говорит о деньгах, которые можно извлечь из сочинений покойного, и, как ни странно, то и дело заводит речь о любовной переписке несчастного друга; это наводит на мысль, что он не остановится перед шантажом переживших Флобера возлюбленных. И осыпает Мопассана

ласками, смешанными со шпионажем, слежкой, достойной истинного полицейского агента».

В тот же вечер за обедом Эрнест Комманвиль до отвала набил себе брюхо ветчиною, а затем, после поминок, отвел Ги в небольшой садовый павильон. Там, обхватив любимого ученика усопшего обеими руками, он целый час рассыпался в комплиментах и уверениях в нежном отношении. Глядя на собеседника, Ги распознал в нем фальшь, немало огорчившись этим. В это время Каролина пыталась разжалобить Эредиа, обливаясь слезами у него на глазах. Этот балаган весьма позабавил Гонкура, и он сделал в дневнике следующую запись: «Эта женщина, которую Мопассан никогда в жизни не видел плачущей, заливалась слезами в нежном самозабвении, и ее голова столь странным образом тянулась к груди Эредиа, что наводило на мысль – если он в сей мо-мент сделает ответное движение, она кинется ему в объятия». Суть подоплеки была ясна Гонкуру как божий день: супруг подговорил Каролину разыграть любовную комедию, с тем чтобы при случае обвинить честного молодого человека в посягательстве и склонить того к поддержке его стороны в кознях против других претендентов на наследство. И заключает: «Ах! Мой бедный Флобер! Что за махинации и человеческие свидетельства вокруг твоего тела! Ты мог бы сделать из всего этого прекрасный провинциальный роман!» (Запись от 14 мая 1880 г.)

Точно так же размышлял и Ги. Но к отвращению, внушаемому ему человеческой посредственностью, примешивались серая меланхолия и безмерная обескураженность перед внезапно открывшейся ему пустотой существования. С уходом Флобера он потеряется, как в лесу, где не знает тропинок. Кто теперь будет давать ему советы? Кто возьмет под свой покров? Кто защитит от интриг собратьев по перу? Да и достанет ли у него теперь мужества и вкуса к сочинительству? Пребывая в таком отчаянии, он поверяет свою тоску Каролине, хоть и подозревает ее в двуличности: «Чем больше отдаляется от нас кончина Флобера, тем более преследуют меня воспоминания о нем, тем сильнее я ощущаю сердечную боль и духовное одиночество. Его образ беспрестанно предо мною, я вижу, как он стоит в своем внушительном коричневом халате, который кажется еще шире, когда он поднимает руки во время разговора. Все его жесты являются предо мной, все его интонации преследуют меня, а фразы, которые он имел обыкновение говорить, звучат в моих ушах, будто он все еще произносит их…Я остро чувствую в этот момент тщетность жизни, бесплодность любых усилий, омерзительную монотонность событий и вещей и ту моральную

изоляцию, в котором живем мы все, но от которой я страдал бы менее, когда б имел возможность беседовать с ним». Такая же точно жалоба Ивану Тургеневу: «Дорогой великий образ следует за мной повсюду. Меня преследует его голос, вспоминаются отдельные фразы, а утрата его сердечной привязанности опустошила мир вокруг меня» (письмо от 25 мая 1880 г.). Золя также получил горестную исповедь сына, потерявшего отца, и примерно в тех же выражениях: «Не могу вам передать, как много думаю о Флобере, он гонится за мною, преследует меня. Мысль о нем без конца возвращается ко мне, я слышу его голос, воображаю себе его жесты, поминутно вижу, как он стоит предо мною в своем внушительном коричневом халате с воздетыми при разговоре руками» (май 1880 г.).

Но уже входила в свою колею повседневная жизнь, брали свое профессиональные заботы молодого писателя, и в этом же самом письме, *прежде* чем выразить свою искреннюю скорбь о смерти большого друга, Ги просит Золя о дружеской поддержке со страниц прессы: «Позвольте просить вас об услуге, которую вы мне, кстати сказать, обещали первым, – а именно, замолвить несколько слов о моем сборнике стихов в вашем фельетоне в газете „Вольтер“. У меня уже есть одна статья в „Глоб“, другая – в „Насьональ“, материал Банвиля, два вполне хвалебных упоминания в „Тан“, превосходная статья в „Семафор де Марсель“, а другая – в „Ревю политик э литтерер“, любезные упоминания в „Пти журналь“, „XIX веке“ и др., и наконец, вчера вечером, лекция Сорсе. Продажа, впрочем, идет хорошо, и первое издание почти разошлось, но мне потребуется надежная поддержка, чтобы сбыть оставшиеся двести экземпляров». Таковую поддержку Золя охотно оказал и 25 мая опубликовал теплую статью, посвященную протеже покойного Флобера. В том же месяце Артур Мейер, возглавлявший газету «Ле Голуа», объявляет своим читателям о постоянном сотрудничестве с Ги де Мопассаном. Последний в спешном порядке собрал свои ранее написанные тексты, переработал их в духе вкусов текущих дней и потом из недели в неделю публиковал под общим заглавием «Воскресные прогулки парижского буржуа». Источником вдохновения для этих новелл послужило неоконченное сочинение почившего Флобера «Бувар и Пекюше». И, как и покойный друг, Ги ополчается на людскую глупость, культ застарелых условностей и мещанские привычки чернильных душ.

Его можно смело поздравить с посвящением в журналисты. Он без робости входит в конторы газет, обменивается рукопожатиями кое с кем из собратьев по перу в модных кафе, сидя у края стола, строчит хроники – то серьезные, то дерзостные;

печатается в «Ле Голуа», затем в «Жиль Бласе» и «Фигаро» и становится – так ли, сяк ли – заметной фигурой на парижском небосклоне, со своими густыми усищами, бычьей шеей и свежим цветом лица.

Надо признать, внезапно свалившаяся на него известность ничуть не вскружила ему голову. Сколько бы он ни получал предложений от газет и редакторов, он держится за свою должность в министерстве. При том что он никого так не высмеивает, как конторских крыс, он готов протирать штаны в конторе сколь угодно долго. «Это вполне французское стремление удивительно у столь жесткого молодого человека, фрондера и по языку, и по походке, любителя прихвастнуть своими физическими подвигами», – скажет о нем шеф Анри Ружон. Правда же заключалась в том, что Ги опасался потерять финансовый источник в случае, если его литературная карьера встретит помехи. Случись болезни или несчастному случаю прервать его писательскую деятельность, так у него, по крайней мере, останется должность и какой ни есть оклад. Он страстно любит деньги, но не как скупой рыцарь, а как жуир-вертопрах. Денежки нужны ему, чтобы оплачивать удовольствия жизни. Не желая упустить ни одного су из тех, что можно выжать из газет и журналов, он отчаянно спорит с редакциями об условиях сотрудничества. Пока что в этой области все идет хорошо. Даже в конторе на рю де Гренель его уважают больше, чем других. Пользуясь этим, он просит после смерти Флобера три месяца отпуска с сохранением содержания. Его просьбу удовлетворяют. 1 сентября он снова обращается с просьбой об отпуске, на этот раз только с половинным содержанием. И снова ему идут навстречу. В начале следующего года он снова берет отпуск – теперь уже на 6 месяцев без сохранения содержания. За это время он пристрастился к вольной жизни. Мысль о том, чтобы снова погрузиться в вороха пыльных бумаг, вдруг показалась ему невыносимой. Он решается рискнуть всем на свете и подать в отставку. Новый министр народного образования мигом дает согласие, решив таким образом положить конец экстравагантностям этого писаря-призрака, о котором все в его окружении в один голос говорят, что никогда не видели его на рабочем месте.[40]

В конфиденциальном личном деле Ги де Мопассана министр мог найти медицинское заключение доктора Рандю: «Я, нижеподписавшийся, клинический врач, удостоверяю, что у г-на де Мопассана, которого я уже неоднократно лечил от затылочной невралгии, сопровождающейся сердцебиениями, возобновились те же самые недуги и что ему было бы противопоказано

приступать к постоянной работе».

Это медицинское заключение выдано врачом отнюдь не из снисходительности: Ги и в самом деле страдал болезнью глаз и был подвержен мигреням, от которых создавалось впечатление, что раскалывается голова; время от времени его преследовали и болезни сердца. Видный офтальмолог доктор Ландоль, консультировавший Мопассана при усилении его страданий, проанализирует в своих записях случай этого странного больного с видом цветущего здоровяка и хрупкой головой: «В начале 1880 года у Ги де Мопассана было повреждение то ли параокулярного нервного узла, то ли, вероятнее всего, узла внутрицеребральных клеток. Констатация означенного недуга вполне может соответствовать диагнозу сифилиса нервной системы в 80 процентах случаев и общего паралича – в 40 процентах».

Несмотря на мучения, которые ему приходилось испытывать во время приступов, Ги неослабно трудился и даже находил силы шутить. «Пусть тебя не шокирует, что это не мой почерк, – пишет он Роберу Пеншону 7 августа 1881 года. – У меня, как говорит Золя, один глаз вкось, а оба врозь, так что пошли бы они оба в сортир! (de sorte que je suis obligé de les laisser aux cabinets tous les deux)». Но все же он приходит к мысли, что путешествие в солнечную местность было бы для него пользительно. Как раз в это время его занедужившая мать отдыхала на Корсике, и он решил к ней податься.

Как только поезд въехал на территорию Прованса, Ги открыл окно и до упоения наслаждался веселым зрелищем полуденного пейзажа, сочными цветами обожженной солнцем каменистой местности, где так уютно коренастым оливковым деревьям с серо-зеленою листвою. А вот, наконец, и Марсель с его заплетающимися улочками, шумной толпой, голосами с певучим акцентом и запахом кушаний, приготовляемых непременно с чесноком. На следующий день он сел на пароход до Корсики. Это лазурное море, так непохожее на сине-зеленое море в Этрета, зачаровало его. Не получится ли так, что он изменит одному с другим? Он уже чувствовал себя покоренным, околдованным светом, запахами, первозданным покоем Средиземноморского побережья. На Корсике он находит свою мать, к тому времени выздоровевшую, посещает Аяччо, Вико, Бастелику, Пиану, ходит в горные походы, охотится и рыбачит, плавает под парусом, восторгается неизменно синим небом и пишет Люси ле Пуатевен: [41] «Купаюсь дважды в день – море до того теплое, что, влезая в воду, не испытываешь ни малейшего ощущения свежести. На термометре весь день 32 градуса в тени. Вот это климат!» (октябрь 1880 г.).

Отдыхая на Корсике, Ги сдружился с молодым студентом-словесником по имени Леон Джистуччи. Оба вместе ходят купаться, и Леон, засмотревшись на раздетого Ги, поражен его незаурядным внешним видом, внушающим веселую силу. Но однажды, заглянув к нему в номер в гостинице «Франция», Леон застал друга вытянувшимся во весь рост на своей постели; лицо покрыто, точно росписью под мрамор, красными пятнами; голова обвязана, глаза закрыты. «Пустяки. Всего лишь мигрень», – пробормотал Ги. И с искаженной болью улыбкой пригласил друга сесть. По столу были разбросаны листки исчерканной бумаги. Это была статья, которую он только что написал для «Ле Голуа» и которая в этот же вечер должна быть отправлена пароходом. «Мой взгляд, – рассказывал Леон, – без конца грустно скользил по столу, где высыхали чернила на листах рукописей, несших на себе живую мысль автора, который лежал теперь на убогой гостиничной кровати и, казалось, агонизировал».[42] Впрочем, назавтра кризис миновал, и Ги снова пустился расточать свою энергию на шатания и купания.

Если в конце октября, несмотря на все соблазны Корсики, Ги все же возвратился в Париж, то отнюдь не для того, чтобы вернуться в министерство, куда он практически позабыл дорогу, но чтобы как следует воспользоваться своим успехом в журналистике. В январе 1881 года он радостно сообщает матери: «Я почти закончил новеллу о женщинах из борделя на первом причастии. Думаю, что она как минимум равна „Пышке“, если не выше». Эта повесть – «Заведение Телье» – по-видимому, была вдохновлена прекрасным знатоком руанских домов терпимости Шарлем Лапьером. А может быть, и самим Гектором Мало,[43] который также претендует на приоритет в сообщении Мопассану этого анекдота. Во всяком случае, для развития сюжета молодому писателю оказалось достаточно одной только фразы, а именно – висевшего на дверях одного из веселых заведений плакатика «ЗАКРЫТО ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОГО ПРИЧАСТИЯ», написанного от руки. Он тут же воображает интригу и увлекается созданием образов персонажей. С ликованием живописует он группу этих вульгарных теток, набившихся в железнодорожный вагон, который мчит их, преисполненных волнения, на торжество первого причастия племянницы хозяйки заведения. Сознавая торжество момента, они расфуфырились, одна пуще другой:

«Действительно, яркие краски так и сияли в вагоне. Хозяйка, с ног до головы в голубом шелку, накинула на плечи красную, ослепительно огненную шаль из поддельного французского кашемира. Фернанда пыхтела в шотландском платье; лиф, еле-еле застегнутый на ней подругами, приподнимал ее отвислые

груди в виде двойного купола, который все время колыхался, словно переливаясь, под натянутой материей.

Рафаэль в шляпке с перьями, изображавшей птичье гнездо с птенцами, была одета в сиреневое платье, усеянное золотыми блестками; оно носило несколько восточный характер, что шло к ее еврейскому лицу. Роза-Рожица, в розовой юбке с широкими воланами, была похожа на чересчур растолстевшую девочку, на тучную карлицу, а оба Насоса словно выкроили свои наряды из старинных оконных занавесок с крупными разводами, времен реставрации Бурбонов».

Мазок широкий, энергичный, краски сочные; картину оживляет ощущение грубого телесного здоровья, вызывающее трепет. Собравшиеся в церкви верующие ослеплены зрелищем этих дам, «разукрашенных пестрее, чем стихари певчих», а крестьяне пожирали глазами этих явившихся из города великих грешниц в самом соку. Во время службы публичные девки, одна за другой охватываемые сладостью воспоминаний, начинают рыдать. Слезы заразительны, и вскоре рыдает все собрание. При виде такого религиозного порыва бравый кюре восклицает, обратившись к проституткам: «Особенно благодарю вас, дорогие мои сестры, вас, прибывших так издалека; ваше присутствие, очевидная вера и столь горячее благочестие послужили для всех спасительным примером… Быть может, без вас нынешний великий день не был бы отмечен этой печатью истинной божественности». В этой новелле, которую Мопассан посвятил И.С. Тургеневу, остроумие автора развивается по нарастающей от начала к завершению. Но за комичностью описаний скрывается, как и в «Пышке», бунт против устоявшегося порядка. Ги в очередной раз бичует благонамеренных граждан, на словах осуждающих то, что вполне приемлют на деле. Конечно, не он первый коснулся в своих сочинениях темы проституции. Гюисманс в «Марте», Эдмон де Гонкур в «Девке Элизе», Эмиль Золя в «Нана» друг за другом обретали своих героинь в этой среде. Но смелость тона, неукоснительная точность деталей, опустошающий юмор у Мопассана воистину неподражаемы. Не вчера еще он писал матери, что питает отвращение к bon goût.[44] Когда-то, говоря о нем, одна из подруг отца, мадам Д., сказала после нескольких комплиментов: «Мне хотелось бы, чтобы какая-нибудь прекрасная дама в шелковых чулочках, на кокетливых каблучках и с надушенными волосами внушила бы ему то совершенство вкуса, которое игнорируют Флобер и Золя, но который дарует бессмертие поэзии и поэтам всего за какую-нибудь полусотню стихов и т. д. Я лично, как вам известно, обожаю свой XVII век, а вот „Ле Голуа“ не всегда мне нравится».

Процитировав сие мнение мадам Д., Ги добавляет: «Я нахожу эту фразу чудесной, так как в ней заключается вся вековая глупость прекрасных дам Франции. Литературу на кокетливых каблучках я знаю и не стану ею заниматься; я желаю только одного – не обладать общепринятым „вкусом“, ибо все великие люди не „обладали“ им, а создавали новый».

«Заведение Телье» явилось яростным отрицанием bon goût, или, точнее говоря, буржуазных условностей. Еще несколько лет назад автора этой новеллы наверняка упекли бы под суд; но Республика образца 1880 года обрела толерантность. «Моральный порядок», столь милый сердцу Мак-Магона, канул в Лету. Публика жаждала свежих новостей, человеческих свидетельств, погружения в те среды, куда честная женщина не решилась бы заглянуть. Лупанары вошли в моду. Дамы из благопристойного общества кинулись в кафешантаны слушать гривуазные куплеты. Танцовщицы канкана вздымали к небу ножки, тряся кружевным исподним перед веселыми разгоряченными месье. «Заведение Телье» было на пике популярности. С этой новеллой Мопассан упрочил свою репутацию первоклассного писателя.

Деньги потекли рекой. Пока шел ремонт его новой квартиры в доме № 83 по рю Дюлонг, он нанял в Сартрувиле – на пути, где из одной реки в другую перетаскивали волоком суда, – белый домик, окруженный липами. Как всегда, катается на лодке по Сене голым по пояс, но также усердно трудится и подыскивает издателя для сборника своих новелл под общим заглавием «Заведение Телье». Все эти новеллы, будь то «Папа Симона», «В лоне семьи», «История одной батрачки», «На водах» или «Весною», являют ту же четкость композиции, ту же молодую смелость стиля и ту же жалость к убожеству человеческого состояния. Отказавшись иметь дело с Шарпантье, которого счел слишком перегруженным печатанием большими тиражами романов маститых авторов, как то: Золя и Доде, Гонкура и Флобера, Ги наконец подписал контракт с молодым бесстрашным издателем Виктором Аваром. Вот какое мнение высказал Мопассану Авар по поводу рукописи: «Точно так, как Вы и дали мне понять, „Заведение Телье“ – вещь неординарная и очень дерзкая; и в первую очередь это – раскаленная почва, которая, по моему убеждению, всколыхнет немало гнева и фальшивого возмущения, но в целом она спасает себя совершенством формы и талантом; все при ней, и я жестоко обманусь, если она не возымеет большого успеха (я говорю не о литературном успехе, который уже завоеван ею, но о кассовом) (письмо от 8 марта 1881 г.). Виктор Авар как в воду глядел. Покупатели набросились на книгу, которую пришлось спешно перепечатывать. Издания

следовали одно за другим с ускоряющимся ритмом. Зато критика, как и всегда, разделилась на хвалебную и уничтожающую. Леон Шаперон в „Эвенман“ называет „Заведение Телье“ „мусором“ и „отвратительной книжицей“. Зато Золя не скрывал своего восторга на страницах „Фигаро“».

Уставший от всей этой катавасии, Ги принял в начале июля 1881 года предложение газеты «Ле Голуа» отправиться в качестве репортера в Северную Африку, где французская армия «с твердостью и методичностью» утихомиривала мятежные племена. Он сгорал от нетерпения при мысли о большом приключении, которое ожидало его на земле, населенной людьми, так не похожими на его соплеменников. Взойдя в Марселе на борт парохода «Абд-эль-Кадир», он снова предается чарам синего с золотом миража Средиземного моря. В Алжире он наслаждается прогулками по белоснежным улочкам, вдыхая их терпкие запахи: «Восторженно любуешься сверкающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны…» Спутник Мопассана в этом похождении – Гарри Алис; Жюль Леметр, в ту пору учитель словесности в Алжире, сопровождает двух приятелей от базара к базару, от мечети к мечети. Затем друзья присоединяются к военному конвою и направляются в Оран. В августе, достигнув Сайды, Ги пишет матери: «Я удивительно хорошо переношу жару. Уверяю тебя, что она была особо жестока на плоскогорьях. Мы пропутешествовали целый день при сирокко,[45] который опалял нам лица огненным дыханьем. Невозможно было дотронуться до стволов наших винтовок: обжигало пальцы. Под каждым камнем таились скорпионы. Мы видели шакалов и мертвых верблюдов, терзаемых стервятниками». Колонна медленно продвигалась сквозь пески к оазису Лагуат, потом к тунисским границам в поисках этого ужасного Бу-Амама, возмутившего южно оранские племена против французских колонизаторов. Скрупулезно выполняя свой журналистский долг, Ги опрашивает офицеров и пытается завязывать разговоры с туземцами. «Никто так не вздорен, не драчлив, не склонен к сутяжничеству и не мстителен, как араб, – пишет Ги. – Кто говорит „араб“, подразумевает „вор“, без всякого исключения». Но столь же беспощаден он и к европейским поселенцам и высшим военным чинам: «Вы скажете: туземцы восстают. Но разве не правда, что у них отбирают собственность и платят им за земли лишь одну сотую истинной стоимости?» Ужас перед войной, который таился в нем еще со времен поражения во Франко-прусской войне, внезапно дал о себе знать на этой земле, которая была для него чужой. В то время как во Франции

подавляющее большинство народа с увлечением наблюдают за африканской авантюрой, он глубоко скорбит о неправедности колонизации. В Кабилии он становится свидетелем гигантских пожаров, устроенных самими арабами, чтобы изгнать европейцев.

Правда, находясь в гуще всего этого абсурда, он иногда задается вопросом, не следует ли вопреки всему признать желательным попадание этих разнообразных некультурных племен под власть французов. «Вполне вероятно, – пишет он, – что в руках поселенцев земля будет приносить столько, сколько она никогда не принесла бы в руках арабов. Но, без всякого сомнения, исконное население постепенно исчезнет». Однако роль его состояла не в том, чтобы судить. Он наблюдает, подмечает, говорит правду в глаза, нравится это его читателям или нет. Результатом этого двухмесячного путешествия станут одиннадцать хроник, которые вызовут шквал поношений со стороны поборников империалистических захватов и, напротив, сочувственное отношение тех, кто не одобрял этих «бесполезных и долгих экспедиций». Травмированный, опустошенный, Ги готовился к возвращению во Францию. Надо ли говорить, что этапы его африканского турне были отмечены приключениями со всякого рода продажными женщинами. Не будучи в силах совладать со своими сексуальными потребностями, он готов был кинуться в объятья первой встречной. В начале сентября Ги и Гарри Алис садятся на пароход «Клебер»; после кратковременного пребывания на Корсике Ги останавливается в Марселе, где рассчитывает отыскать некую *Башю*, которая заменит ему арабских женщин, коих он познал «во множестве».

Возвратившись в Париж, он узнает от Тургенева, что его слава непрестанно возрастает и в России. Кстати сказать, и сам «добрый москвитянин» пересмотрел за это время свое прежнее суждение о своем молодом французском собрате по перу. После «Пышки» он видит в нем писателя высшей пробы. Тургенев даже утверждает, что сам Толстой, прочитав «Заведение Телье», был очарован. Мопассан испытывает от этого живейшее удовольствие. Тем не менее, несмотря на похвалы, услаждавшие его слух, Мопассан жаждет вновь отправиться в путешествие. После месяцев, проведенных на вольных просторах, в скитаниях и опасностях, которые подстерегали его в Северной Африке, атмосфера редакционных контор казалась ему нестерпимо удушающей. Он сожалеет, что не может обменяться впечатлениями с Флобером, который в свое время также был очарован магией Востока. Так, а вот еще новинка: приятель юных лет покойного мэтра Максим дю Кан тиснул свои воспоминания в «Ревю Де Монд». Читая эти страницы, вдохновленные, по словам

автора, искренней дружбой, Ги сперва остолбенел, а затем вознегодовал. Вслед за длительными разглагольствованиями в сострадательном тоне автор «Литературных воспоминаний» заявляет, что, оказывается, Флобер страдал эпилепсией, которая сковывала его творческие силы… Ничуть не колеблясь, Ги публикует в «Ле Голуа» гневный протест; то же самое делает Анри Сеар в «Экспресс». Но «утка» уже запущена. Перед лицом широкой публики автор «Мадам Бовари» предстал жалким больным, который в промежутках между двумя возвышенными фразами катался по полу, брызгая слюною. Такое оскорбление памяти Старца прозвучало для Ги горше личного оскорбления. Когда Каролина Комманвиль попросила у него письма Флобера для публикации, он отказал. Он считал неприличным копаться в прошлом покойного, извлекать из праха его бумаги, выставлять напоказ его слабости. Нет, человеку лучше бы остаться в тени. Только творения должны жить. Именно в этом духе Ги пересматривает рукопись «Бувара и Пекюше» и по настоянию Каролины Комманвиль публикует в «Ля Нувель Ревю». Ги чувствовал, что, хлопоча о посмертной славе Флобера, он выполняет сыновний долг. Выдав в свет столько новелл и хроник, он хотел бы, как и его покойный покровитель, засесть за большой роман. Но достанет ли ему силы, чтобы вытянуть такое предприятие? Отшельнику из Круассе оказалось достаточно сочинить «Мадам Бовари», чтобы оказаться причисленным к ряду самых великих. Мопассан мечтает с ним сравниться. Этот каналья Максим дю Кан рассчитывал подорвать авторитет Флобера, разгласив секрет, о котором не следовало говорить. А между тем, сам того не зная, привел доказательство, что нарушение здоровья порою необходимо для рождения шедевра. Если бы Флобер не страдал эпилепсией, достиг бы он высот гениальности? Да и сам Мопассан не обязан ли тем особым счастьем, которое находит в литературной работе, своим мигреням, стреляющим болям в глазу, галлюцинациям и употреблению эфира, к которому прибегал для облегчения страданий? Не сам ли он когда-то бахвалился Роберу Пеншону – мол, у меня сифилис и я горжусь этим? Конечно, за этой бравадой скрывается и страх перед осложнениями в организме. Но в то же время и безмерная гордость. Он ощущает себя не– похожим на других, сподобленным исключительной судьбе, в которой найдется место и страданиям, и успехам. Может, и впрямь его истинная жизнь начинается с уходом Старца? Он говорит своим друзьям: «Я рад был бы умереть, если б имел уверенность, что кто-нибудь подумает обо мне так же, как я думаю о нем».

Глава 10
«Жизнь» и жизнь как она есть

Успех «Заведения Телье» вдохновил Мопассана на удвоение усилий. Хроники и новеллы сыпались с кончика его пера как из рога изобилия, и таковое изобилие ничуть не сказывалось на качестве текстов. Он заполнял своей продукцией полосы газет и журналов, денежки резво текли к нему в карман. Друзья, которые порою видели его подолгу корпевшим над одной-единственной страницей текста, не могли узнать прежнего Ги в этом плодовитом, вдохновенном и бодром сочинителе. По правде сказать, теперь он меньше катается на лодке и меньше плавает. Как отметил его собрат по перу Анри Сеар, деятельность мосье де Мопассана, прежде заключавшаяся исключительно в игре мускулов, внезапно трансформировалась в литературную активность. Силы, дотоле расходовавшиеся на физические упражнения, ныне сконденсировались в его чернильнице – в результате автор, в пору дебюта вымучивавший каждую строку, обрел теперь легкое, гибкое и плодовитое перо, так что любое сравнение с прошлым выглядело бы некорректным.

Динамизм Мопассана был таким, что, исправно поставляя прессе хронику за хроникой на злобу дня, он мощно продвигал вперед свой первый роман – «Жизнь». Как ему представлялось, это творение должно было решительно утвердить его реноме и вознести на одну высоту с Флобером и Золя. Между делом он посылает издателю Кистемакерсу в Брюссель предисловие к изданию шаловливого романа XVIII столетия «Темидор»[46] и ранее не публиковавшуюся новеллу «Мадемуазель Фифи». К этой последней была приложена фотография автора – «не особенно удачная, но другой у меня нет. Поручите ее г-ну Жюсту». Этот самый Жюст должен был исполнить с нее гравированный портрет, предназначенный для следующего сборника новелл. Обретя почву под ногами, теперь уже он диктовал условия издателям, стремясь выжать из них максимум возможного. Вот, к примеру, письмо от 4 декабря 1882 года некоему издателю, предположительно Моннье: «Таковы условия, на которых я могу иметь с Вами дело. Том из 10–15 новелл, т. е. 150 страниц текста с иллюстрациями. Тираж – 500 экземпляров класса люкс. Гонорар – 2000 франков, из коих 1000 франков в день сдачи вам текста и 1000 – в день поступления книги в продажу. Вы получаете исключительное право на публикацию этих новелл на срок пять лет…Кроме того, я счел бы себя вынужденным запросить с Вас еще крупную сумму. Я

продаю роман в газету за 8000 франков. Русский перевод, выходящий прежде французского издания, дает мне 2000. Соответственно, большая новелла принесет мне при тех же условиях как минимум 1500 франков. Если я присчитаю еще 1500 франков за публикацию той же новеллы в томе, где помещены еще три других (а я получаю с мосье Авара[47] по 1 франку с тома, продающегося за три с полтиной), то это составит по крайней мере 3000 франков». И ниже, чтобы подзадорить адресата, добавляет: «И все-таки я предпочел бы совсем не писать этой новеллы, даже в том случае, если бы вы отсчитали мне 3000 франков наличными…»

Ревнуя к успеху, которым Мопассан пользовался у других издателей, Шарпантье предлагает ему выгодный договор, который при всем при том стеснил бы автору свободу. Вполне естественно, Мопассан заартачился: «С чего это вам взбрело в голову заключать со мной договор, о котором вы до сих пор и не помышляли? Я предложил вам книгу для издания (стихи. – *Прим. авт.*). Вы приняли ее, ничего не говоря о договоре. И вдруг вы посылаете гербовую бумагу в двух экземплярах! Я в принципе решил никогда не подписывать официальных договоров. Кстати сказать, с г-ном Аваром у меня только устная договоренность. Но если я приду к тому, чтобы подписать договор с вами, то я сделаю это лишь на условиях, которые сочту приемлемыми. Вот они. До 3-й тысячи я получаю по 40 сантимов с экземпляра. Начиная с 3-й тысячи – по 1 франку с экземпляра. Сверх тиража печатаем только 100 экземпляров. По истечении шести лет я получаю право распоряжаться своим творением как сочту нужным…» И завершает с неприкрытым цинизмом: «Коль скоро мы не связаны друг с другом никакими письменными обязательствами, вполне естественно, что и я ищу для себя наибольших преимуществ как автор, и вы – как издатель».

Сборник новелл под заглавием «Мадемуазель Фифи» поступил в книжные лавки в то время, как автор прогуливался по югу Франции, между Ментоном и Сен-Рафаэлем. Источником вдохновения для новеллы, давшей название сборнику, послужили, как и для «Пышки», события эпохи прусской оккупации. Главная героиня новеллы, как и главная героиня «Пышки», – девица известного поведения. Но если Пышка уступает настояниям прусского офицера, то Рашель, возмущенная наглостью и грубостью захватчика, закалывает его ножом. Рассказывая об этом патриотическом поступке простой девушки из народа, Мопассан понимал, что его творение льстит идее реванша, которая владела всей Францией после поражения. Книга была встречена критикой с горячим одобрением, уровень продаж

превзошел все ожидания. Автор потирал руки. «Я мельком видел Мопассана, – отметил Поль Алексис. – Он постоянно шутит и говорит только о деньгах».

Ну, а тратил Мопассан денежки так же легко, как и зарабатывал. Родительница уступила ему участок земли близ Этрета, по дороге на Крикето, близ Гран-Валя (ныне владение № 57 по улице Ги де Мопассана, Этрета), где он построил шале, состоявшее из жилого дома и двух флигелей, связанных между собою галереей, бегущей по всему фасаду. Стены – в желто-кремовой штукатурке, крыша выложена красной черепицей. В интерьере царствовала эклектика. Тут и руанские фаянсы, за древность и подлинность которых едва ли можно было поручиться, и резные деревянные фигуры святых, и стойки для зондов в форме сапог, все – сомнительного вкуса. В саду новый владелец высадил ясени, буки, тополя, выкопал бассейн, в который напустил красных рыбок. Поодаль он устроил птичий двор, чтобы обеспечивать себя свежими яйцами, и стрелковый стенд для упражнений в стрельбе из пистолета. И, наконец, он поставил в огражденном месте среди яблонь перевернутое рыбачье суденышко, в котором плотник Дюперу оборудовал баню и комнату для прислуги. Как только эти работы были закончены, Ги стал обзаводиться охотничьими собаками и кошками. Из первых у него в любимчиках ходили спаниель Пафф, который был незаменимым помощником на охоте, а позже – африканская борзая Тайя, которая, увы, не выносила жизни в парижской квартире и закончила свои дни за городом, у друзей писателя. Ну, а что касается кошачьих, то тут несравненной королевой была Пироли; позже ее звание унаследовала дочь Пусси. Мопассану было хорошо в компании этих сладострастных и вольнолюбивых существ; общение с ними возбуждало в нем властную чувственность, которой он порою сам опасался. «Я их люблю и ненавижу, этих очаровательных и коварных животных, – пишет он. – Мне доставляют наслаждение прикосновения к ним, когда я ощущаю, как под моей ладонью скользит их шелковая шерстка, пускающая искры, когда я чувствую теплоту этой шерстки, этой тонкой, изысканной шкурки. Ничего нет на свете нежнее, ничто не дает коже более деликатного, более рафинированного, более редкостного ощущения, нежели теплое и вибрирующее одеяние кошки». И тут же добавляет: «Но эта живая одежка вселяет в меня проникающее через пальцы странное и яростное желание забить животину, которую ласкаю» («О кошках», 1886 г.).

Был у него также попугайчик, который произносил «Кокассан» вместо «Мопассан» и триумфально приветствовал дам: «Bonjour, petite cochonne!» (Здравствуй, свинюшка!) Вспоминая о

Суинберне, он даже рискнул завести обезьяну, но означенное животное оказалось столь стесняющим и столь нечистоплотным, что он поспешил от него избавиться.

Надо ли говорить, как он обожал этот домик. Сперва он хотел окрестить его, шутки ради, «Дом Телье»,[48] но это вызвало единодушное возмущение посетительниц. Одна из них, белокурая соседка Эрмина Леконт де Нуи, чьими хрупкими чертами и изысканной улыбкой он втайне любовался, предложила другое название: «Ла-Гийетт». Это название показалось ему лестным: «Ла-Гийетт», «Дом Ги»! Он решил проводить там все свободные дни в хороший сезон. Как и в юные годы, он плавает в открытом море, чтобы поддержать форму. Однажды он во время прилива обогнул Юго-Восточную стрелку, что составило шесть километров в оба конца. 15 августа он устроил у себя в саду на лужайке фейерверк. Окрестные жители любили его больше, нежели родительницу – «даму из Верги», которая в городе швыряет деньги на глупости,[49] а как пойдет на деревенский базар, так сквалыжничает из-за каждого су.

Общительный и компанейский, хозяин «Ла– Гийетт» любит устраивать празднества и прогулки с участием соседей. Часто возглавляемая им развеселая компания дачников отправлялась вечером на какую-нибудь из окрестных ферм, где устраивались ночные танцы. «Отправлялись всей шайкой, с шарманкой, на которой играл обыкновенно живописец ле Пуатевен в хлопчатом колпаке, – писал об этих вылазках Ги де Мопассан. – Двое мужчин несут фонари. Мы движемся за ними следом, болтая и смеясь, как сумасшедшие. Будят фермера, служанок и лакеев. Нам подают даже луковый суп (что за ужас!), и мы танцуем под яблонями, под звуки шарманки. Из глубин строений доносятся крики разбуженных петухов, в конюшнях на подстилках встревожены лошади. Свежий сельский ветер, полный аромата трав и скошенных хлебов, ласкает нам щеки».

Мопассан также частенько захаживает со своими этретатскими друзьями в кабачок «Прекрасная Эрнестина», что по дороге на Сен-Жуэн. Хозяйка Эрнестина Обур, энергичная хохотушка в свои сорок лет, охотно принимает у себя в заведении всех окрестных знаменитостей, и надо полагать, Ги не раз уютно устраивался в ее постели. Стены ресторанчика увешаны картинами и рисунками, подаренными художниками. Эрнестина коллекционирует автографы. Поддавшись уговорам, Ги напишет в ее «Золотой книге» такой куплет:

> Quatre vers sans sortir d’ici?
> Mais mon esprit bat la campagne!

Et je n’ai gardé de souci
que pour les verres de champagné.[50]

(Четверостишие для вас?
Но мысли после битвы вялы
И жаждут утонуть сейчас
В шампанском, розлитом в бокалы.)

(Перевод Д. Маркиша.)

…С приходом холодов и дождей Ги возвращается в Париж; здесь сельский дворянин преображается в литератора – завсегдатая Больших бульваров. Его можно увидеть всюду – в конторах редакций, в кафе, в театрах – и всякий раз обращают на себя внимание его до смешного франтоватый вид и острый, напряженный взгляд, какой бывает у живописцев. Несмотря на некоторую толику презрения, которую он питал к бывшим коммунарам, он возобновляет сердечные дружеские отношения с возвратившимся из изгнания Жюлем Валлесом,[51] в котором признает «превосходный писательский талант».[52] И защищает в горячих спорах с этим неисправимым анархистом позицию тех, кто, как Гонкур, как Доде, как Флобер и как он сам, ставили искусство превыше политики и ощущали себя более близкими к интеллектуальной элите, которая читает их книги, нежели к народу, который их не знает.

Как-то случилось ему поранить руку при чистке револьвера. «Пуля пронзила палец во всю длину и выскочила с конца», – пишет Мопассан Золя. А вот Эдмона де Гонкура пытается убедить, будто получил пулю от обманутого мужа. «Золя рассказывал мне о нем (Мопассане), что это отъявленный выдумщик», – заметил Гонкур (запись от 21 января 1882 г.). Все же Золя с любовью относился к своему младшему собрату по перу – отчаянному, словоохотливому и уверенному в себе. Когда же самому Мопассану поступило предложение написать очерк об авторе «Западни», тот с охотой берется за дело и быстро сочиняет светлый, бодрый и хвалебный текст о бесспорном поборнике натурализма, которого считает своим учителем и другом. «Среднего роста, полноватый и добродушный, но упрямый… Вся его округлая и сильная персона напоминает о пушечном ядре», – вот какой портрет Золя оставил нам автор «Заведения Телье».

Зато Ги взъярился не на шутку, когда увидел, что юмористический журнал «Черный кот» («Le Chat Noir») поставил на обложку его имя в качестве «главного администратора». По правде говоря, это был всего лишь розыгрыш, из тех, что

частенько позволяла себе редакция. Но в узком кругу людей пера прошел слушок, что Мопассан продал свое имя «Черному коту» за сорок франков. Это переходило всякие границы! Ослепленный гневом, Ги пишет секретарю редакции мосье Эдмону Дешому: «Эта дурного тона шутка заставляет меня выразить вам свое негодование, ибо такое отношение лишено всяких признаков учтивости с вашей стороны». И далее: «Предупреждаю вас, что это письмо было написано и сдано на почту в присутствии свидетелей и что мною приняты необходимые меры для того, чтобы пришел и мой черед посмеяться над результатами усвоенного в отношении меня поведения» (письмо от 16 февраля 1883 г.). Но, слава богу, дело было быстро улажено, и теперь уже сам Мопассан просил прощения: «Я очень огорчен тем, что обидел вас… Мне очень досадно, что я ошибся и адресовал вам это раздраженное письмо, которое… должно было удивить и оскорбить вас» (вторая половина февраля 1883 г.).

И то сказать, в эту пору Ги пребывал в состоянии тревоги и был особенно раним – он напряженно ожидал выхода в свет у Авара своего первого романа «Жизнь». Он вынашивал эту историю еще с 1877 года и, когда поведал о ней Флоберу, услышал: «О да, это великолепно! Вот настоящий роман, вот идея!» Несмотря на одобрение мастера, разродиться оказалось непросто. Ги трудился над романом год за годом – то старался с рвением, то откладывал, то возобновлял, то снова бросал… Он поверял бумаге свои воспоминания и навязчивые мысли, активно эксплуатировал близкие ему темы: невозможность достижения в браке полного согласия между мужчиной и женщиной, почти физическое отвращение к материнству, врожденная любовь к Нормандии, страсть к воде, проблема внебрачных детей, пессимизм, которому должно превалировать над всякой светлой мыслью… Противовесом бурному течению и часто мелодраматичной бессвязности перипетий выступает первозданная пышность края, где происходит действие. Никогда прежде пейзажи Мопассана не приходились так «к месту», не были так созвучны движению повествования, так необходимы для психологии персонажей. Все эти персонажи выведены в резко очерченном рельефе. Вот супруг Жанны – виконт Жюльен де Ламар, грубый, алчущий денег и изменяющий жене то со служанкой Розали, то с графиней де Фурвиль. Жанна увядает, осознав тщету своих иллюзий. Она была открыта для всего – любви телесной, любви матери, любви детей. Но куда бы ни рвалась ее страстная душа, ее везде ждало поражение. Ее слабохарактерные родители уклонились от своих обязанностей, так что рассчитывать ей оставалось только на служанку Розали. А

вот аббат Толбиак – фанатичный клерикал, выказывающий лютую ненависть к любым проявлениям естества. Драма разыгрывается из конфронтации этих экстремальных характеров, бия ключом; наталкиваясь одно на другое, события несутся потоком, точно струя водопада. Сорванная брачная ночь Жанны и открытие ею неудачи своего замужества; роды Розали, которая стала матерью почти девочкой; аббат Толбиак, топчущий каблуком щенящуюся суку; ревнивый муж, сталкивающий в пропасть кибитку, где укрылась влюбленная парочка, – убогое убежище раскалывается о скалы, точно яйцо… Каждое из этих событий запечатлевается в мозгу читателя с необычайной точностью. Что касается философии книги, то она заключается в нескольких простых словах, которые Жанна произносит в конце, чтобы успокоить хозяйку: «Видите ли, жизнь никогда не бывает ни такой дурной, ни такой хорошей, как принято считать». Эта фраза почти буквально воспроизводит строку из письма Флобера Мопассану 18 декабря 1878 года: «Вещи никогда не бывают ни такими дурными, ни такими хорошими, как принято считать». Кстати сказать, и весь роман осенен тенью мэтра. В нем является – в более насыщенных красках, в более естественном стиле – магия «Мадам Бовари», «Воспитания чувств» и «Простой души».

Публикуя «Жизнь», Мопассан заявил, что потревожит немало буржуазных сознаний. Но ему горя было мало. Он даже радовался ожидаемой сумятице. Между тем отзывы прессы с самого начала оказались благоприятными. Поль Алексис провозгласил со страниц «Пробуждения» («Le Réveil»): «Все женщины, в большей или меньшей степени, увидят себя Жанной, станут отыскивать в ней собственные эмоции и особенно преисполнятся нежностью… Пышущий здоровьем горячий стиль, играющая мускулами и апломбом фраза – все это я нахожу у Ги де Мопассана». Между тем иные критики ставили автору в упрек пессимизм и «натуралистическую эстетику». Хроникер из газеты «Тан» восклицает: «Каковыми бы достоинствами ни обладала „Жизнь“, мосье де Мопассан стоит выше этого своего произведения. Почему его полотно столь яростно покрылось черными тонами? Именно пессимизм воспрепятствовал обновлению Флобера, именно он сокрушил мосье Золя до психологической беспомощности». На эту обидную ремарку отвечает Филипп Жиль с полос газеты «Фигаро»: «Не знаю, на какую вершину вознесет мнение публики успех этого романа, в котором не стоит сомневаться; но что могу сказать с уверенностью, так это то… что его автор сделал большой шаг и оказался на позиции достаточно возвышенной, чтобы его личность можно было четко различить. Мосье Ги де Мопассан, начинавший как ученик Золя, закончил

школу».

И вот уже клиенты устремились в книжные магазины, чтобы заполучить горячую новинку от Ги де Мопассана. 25 тысяч экземпляров разошлись в рекордный срок. Тем не менее управление книготорговли «Ашетт», в ведении которого находились все станционные книжные киоски, запретил продажу в означенных торговых точках такой непристойной вещи. «Чиновник, на коего возложен надзор за моральностью книг, которые читают в залах ожидания, нашел мою книжицу непристойной, – пишет Мопассан Золя. – Ну не идиот?» По поводу этого «железнодорожного скандала» «La Jeune France» («Молодая Франция») тиснула 1 мая 1883 года такие вот хлесткие стишки:

Никогда еще такого не бывало!
Под угрозой целомудренность вокзалов…
Но не в том опасность гибельная скрыта,
Что разбиты рельсы или насыпь срыта.
«Если рельсы целы, – спросишь ты, мечтатель, —
Так чего же опасаться нам, приятель?»
Опасайся «Жизни» – нового романа
Дерзкого писателя Ги де Мопассана!

(Перевод Д. Маркиша.)

Ханжеская история сделалась предметом зубоскальства в литературных кругах. Контора «Ашетт», поняв, что зашла слишком далеко, отступилась от своего решения; «Жизнь» появилась в продаже и в подконтрольных этой благонамеренной фирме книжных киосках. По этому поводу Лоран Таилад пустил вот какой забавный куплетец:

Бурже, Мопассана, Лоти
В вокзальных киосках нетрудно найти —
Их там продают, как жаркое!

(Перевод С. Лосева.)

Через несколько недель после шумного выхода в свет «Жизни» воистину неистощимый Мопассан публикует «Рассказы вальдшнепа». Несмотря на разнообразие сюжетов, которых он касается в этом сборнике, главное, что их объединяет, – нормандский колорит. Вот как он сам характеризует свое

творение в статье, предназначенной в качестве рекламы для владельцев книжных магазинов: «Что особенно отличает это последнее сочинение автора „Заведения Телье“ и „Жизни“, так это веселость и забавная ирония. Первый рассказ в этой книге – „Эта свинья Морен“ – достоин был бы занять место рядом с „Пышкой“. Новеллы, которые следуют за ним, являют собою все самые различные образчики насмешливого юмора писателя. Только две-три из них привносят в ансамбль драматическую ноту». Эта «мольба» адресована издателям Рувейру и Блонду. Триумф, как водится, не заставил себя ждать. Но Мопассан уже засел за другие новеллы и хроники. В этом году он опубликует их около семидесяти. Среди этих текстов – предисловия к «Тем, кто осмеливаются» Рене Майзеруа, «Девушке для девушки» Жюля Герена и «Стрелкам из пистолета» барона де Во и некрологи памяти Ивана Тургенева, скончавшегося в Буживале 3 сентября 1883 года. «Он был невероятно наивен, этот гениальный романист, странствовавший по свету, знавший всех великих людей своего столетия, прочитал все, что только мог прочитать человек, и который разговаривал на всех языках Европы как на своем родном. Он был простым, добрым и правым с избытком, любезный как личность и преданный умершим и живым друзьям». Эта смерть, последовавшая вскоре за уходом Флобера, явилась тем более тяжелым ударом для Мопассана, что «добрый москвитянин» был горячим пропагандистом его творчества в России. Таинственное родство душ связывало автора «Пышки» с этим иноплеменным писателем, который сам был блестящим мастером новеллы. И тот и другой питали вкус к сжатому повествованию, к разоблачительным деталям, а порою к инфильтрации фантастического начала в описание повседневного бытия.

По правде говоря, Ги был несколько удивлен, что его специфически французские книги обрели такой успех на родине Тургенева и Толстого. Как нам представляется, объяснение этому явлению следует искать в особом характере гения автора. Русские читатели превыше всего ценят в рассказчике естественность, правду и живую теплоту повествования. Зато не питают доверия к слишком витиеватым, слишком мудреным сочинениям, которые, может быть, и дают пищу для ума, но нисколько не трогают сердце. Они более жаждут испытать волнение, нежели предаться интеллектуальной игре. Мопассан, наименее склонный к мудрствованию среди французских писателей, говорит с ними простым и веселым языком. Читая его, они не размышляют, не возвышаются до философских размышлений, но чувствуют магию земли, магию плоти, и эта глубокая сопричастность вызывает их

сочувствие и восхищение.

Продажи за границей укрепили в Мопассане мысль, что его творчество приобрело международное значение. Денежки текли сразу из многих источников, и благодаря этому он получил возможность оказывать большую помощь матери – этой неисправимой мотовке явно недоставало тех пяти тысяч франков дохода, которыми она располагала; вялому и бесхарактерному брату Эрве, который тщетно пытался найти занятие себе по душе; наконец, приятелям, не столь удачливым, как он. Но ему хотелось повысить и свое качество жизни, в частности, обзавестись камердинером. 1 ноября 1883 года. Мопассан принял у себя кандидата на столь почетную должность – бельгийца Франсуа Тассара, которого рекомендовал ему портной. Это был молодой человек приятной наружности, с открытым лицом, плоскими бакенбардами и значительным достоинством в поведении. Когда писатель стал настаивать на том, чтобы камердинер облачился в ливрею, тот отказался. Мопассан поначалу заколебался, стоит ли брать такого упрямца на службу, но тот напомнил ему, что несколько лет назад ему случилось прислуживать Флоберу в доме одних знакомых по улице Мурильо, и даже уточнил, что хозяйка дома повелела ему подносить этому высокому гостю блюда прежде, чем дамам. Взволнованный этой подробностью, Ги отступился от своего требования о ливрее и тут же, не сходя с места, пригласил Тассара на службу. И не пожалел о том. С самого первого дня Франсуа Тассар выказывал своему хозяину бесконечную преданность – лелеял его, заботился о нем, удерживал в памяти его самые незначительные слова. Он преклонялся перед своим хозяином и отнюдь не был случайным свидетелем жизни великого писателя.[53] Правда, ему не очень-то понравилась та перевернутая рыбачья шхуна, в которой для него было оборудовано жилище. «Острый запах, аромат елки и гудрона, подступал к горлу, – писал он. – Моя комната была похожа на огромный гроб, подновленный для большого путешествия. Я лежал, но спать не мог… На следующий день мой хозяин спросил меня, уютно ли мне было в этой посудине. Я поблагодарил его за внимание. Он рассказал мне, каких трудов ему стоило заполучить ее – на эту калошу претендовали все окрестные виллы, чтобы устроить в ней комнаты для друзей».

С первыми холодами Мопассан и Тассар вернулись в Париж. В городе Ги возвратился к привычной жизни – работе и выходам в свет. Следует думать, он время от времени встречался с отцом, но теперь он испытывал к нему лишь неясное чувство нежности и сострадание, окрашенное оттенком презрения. Бойкий Гюстав неплохо зарабатывает на жизнь в конторе Штольца. В часы досуга

занимается живописью, выписывая по преимуществу пейзажи и даже выставляясь от случая к случаю в Салоне французских художников. Тем не менее жалуется на жизнь и считает, что старший сын совсем забросил его. «Увы! У моего бедного Ги совсем нет чувства семьи! – скажет он. – Помимо матери, имевшей на него безмерное влияние, семья мало что значила для него». Точно так же Ги мало интересуется своим братом Эрве, которого считает пустоцветом. Истинные услады молодой модный романист ищет вне круга своих ближних. Искусственная атмосфера салонов становится для него ненавистным, но незаменимым наркотиком. Светские женщины, комплименты которых он ценит, притягивают и раздражают его. «Что правда, то правда, они обладают разумом, но – разумом шаблонным, подобным рисовому пирогу с кремом. Разумом своим они обязаны образованию, полученному в Сакре-Кёр.[54] Постоянно все те же фразы из одних и тех же слов. Это – рис. Затем к ним добавляются банальности, почерпнутые в свете. Это – крем». (Процитировано Франсуа Тассаром. – *Прим. авт.*)

С этими «говорящими куклами» Ги держится по большей части молчаливо, натянуто и без доверия. Ему недостает мысли на каждую остроту отвечать остротой. И он постоянно испытывает боязнь, как бы над ним не стали смеяться. «Рассматривая его вблизи, я нахожу, что он очень похож на своих крестьян, – замечает Жорж де Порто-Риш. – Он мне кажется, подобно им, разом мизантропом – и балагуром, терпеливым – и себе на уме, мечтательным, вопреки самому себе, – и распутным…» И далее: «Постоянная забота Ги де Мопассана – как бы не оказаться одураченным… Он ходит с револьвером наготове… Женщины доискиваются его, льстят ему… Все же у Ги де Мопассана не защемит сердце. Иные эмоции не в его власти; он немощен с точки зрения морали». Тэн называет Мопассана «печальным быком». А Гонкур видит в нем «образ и тип молодого нормандского барышника (maquignon)». Разочаровавшись в светских женщинах, он столь же разочаровывается и в собратьях по перу. Писательские попойки его более не забавляют. Он зевает у Золя, у Гонкуров, в ресторане, в кафе; даже работа порою кажется ему никчемной. «Две трети своего времени провожу, скучая безмерно, – пишет он Марии Башкирцевой в апреле 1884 года. – Последнюю треть заполняю тем, что пишу строки, которые продаю возможно дороже, приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом… Я не способен любить по-настоящему свое искусство… Я не могу заставить себя не презирать мысль, поскольку она ничтожна, и форму, поскольку она несовершенна». И признается: «Я –

промышленник от словесности» (Je suis un industriel des lettres).

Чтобы освежить впечатления и обновить мысли, Ги решает сменить квартиру и обосноваться по адресу: рю Моншанен, 10, на первом этаже особняка, построенного его кузеном Луи ле Пуатевеном. Но работы по обустройству затянулись. Ги отправляется на Лазурный берег. Но нигде не может отдохнуть душою. Согласившись написать предисловие к переписке Флобера и Жорж Санд, он задает себе вопрос, стоит ли патронировать эту нескромную корреспонденцию. Зато с пиететом готовит к изданию Полное собрание сочинений Флобера у издателя Кантена. Склонившись над объемистой папкой с примечаниями к «Бувару и Пекюше», он придирчиво разбирал их слово за словом, не позволяя себе ни малейшей критики. «Там у него было все, – расскажет Анри Ружон. – Остроты, каламбуры, проблески мысли, пошлости, шалости, даже раздумья… Это было нечто импозантное и вместе с тем ребяческое. Мопассан бывал растроган при виде таких заголовков, как „Ахинея государственных мужей“, сопровождавших компактные досье. Он смеялся в голос над листком почтовой бумаги, синего цвета в клеточку, предназначенной для крестьянских писем, на которой Флобер записал своим четким изящным почерком следующее замечание: „Вещи, которые отупляют меня: железные перья, непромокаемые плащи, Абд-эль-Кадер“. Мопассан невероятно высоко ценил этот автограф».[55]

Пребывая в Каннах, он нечаянно устроил пожар в своем номере. В огне погиб экземпляр сборника стихов с важными правками, приготовленный к переизданию. Не знак ли судьбы? Поэзия для него осталась в прошлом. «Довольно рифм», – решил он. Отныне он посвящает себя только прозе. Он рожден для того, чтобы сделать своей темой повседневность, *грубую правду*, мужское отчаяние. Кстати сказать, у него в портфеле уже лежал новый, практически готовый роман. «Вы спрашиваете, какие у меня новости? – пишет он издателю Виктору Авару. – Они не блестящи. Глаза мои с каждым днем все хуже и хуже. Это происходит, я думаю, потому, что я в высшей степени переутомил их работой… Я завершил „Милого друга“. Остается только перечитать и нанести последние штрихи на две последних главы. Через шесть дней работа будет полностью завершена» (письмо от 21 февраля 1885 г.).

Глава 11
«Милый друг»

В Каннах Мопассан наслаждается ласковым климатом и с опустошительной иронией судит окружающее его высшее общество. Во всех этих элегантных и самодовольных фигурах он видит потенциальных героев романа. И в самом деле, вскоре его снова посещает вдохновение; если прежде источником его была сельская и буржуазная жизнь, то теперь писатель присматривается к обществу, привилегированному по рождению и состоянию. Где найдешь лучшее место для наблюдения, нежели этот модный курорт, привлекающий сливки аристократии и финансовых воротил? «Ги де Мопассан признался мне, что Канны для него – целый муравейник для завязывания отношений (une fourmilière des renseigne– ments) – замечает Эдмон де Гонкур. (Дневник, 24 декабря 1884 г.) – Тут зимуют и семейство Люинь, и княгиня де Саган, и семья герцогов Орлеанских; тут с куда большей легкостью достигается близость отношений (l'intimité), здесь люди открывают душу куда скорее и куда легче, нежели в Париже. И он вполне справедливо и умно дал мне понять, что именно здесь он находит типажи мужчин и женщин для романов, которые хочет сочинить о свете, о парижском обществе и его любовных затеях».

В эту среду распутства, праздности и самодовольства Мопассан втерся, точно шпион. Он любезничает с гранд-дамами, которые относятся к нему со снисхождением, и в душе клянется отомстить им, выведя на страницах разоблачительной книги. Он жаждал бы затащить их всех к себе в постель, чтобы поизгаляться над ними, – и вместе с тем ему до смешного льстило, когда какая-нибудь из них оказывала ему милость, удостаивая комплиментом. Он, привыкший к девушкам из народа и putains, порою испытывал стремление шокировать этих образчиков высокопоставленности каким-нибудь вульгарным фарсом. Как-то раз графиня Потоцкая прислала ему шутки ради шесть напарфюмированных кукол. Он же послал ей их обратно, набив животы тряпками, давая понять, что обрюхатил их в рекордный срок. К посылке прилагалась собственноручно написанная им записка: «ВСЕХ ЗА ОДНУ НОЧЬ». Потом забеспокоился, не допустил ли перегиб; но бойкую графиню так легко не шокируешь. Ободрившись, он пишет графине: «Спасибо, что не вызвали меня для объяснений по поводу кукол. Я и так сокрушаюсь». В том же письме он сетует на высшее общество, в

котором вращается: «Что я делаю? Скучаю. Скучаю беспрерывно. Все досаждает мне: и люди, которых я вижу, и однообразные события, следующие чередою. В обществе, которое называется элегантным, мало мысли, мало ума, мало чего бы то ни было. Звучного имени и звонкой монеты недостаточно. Этот народец производит впечатление отвратительной живописи в блестящем обрамлении… Когда приглядываешься к всеобщему избирательному праву и людям, которых оно нам дает, руки чешутся расстрелять народ картечью да отправить на гильотину его представителей. Но когда присматриваешься к вельможам, которые могли бы нами управлять, то становишься попросту анархистом… О! Я никогда не стану придворным. Знаете ли, какое странное чувство вызывают во мне пэры? Чувство безмерной гордости, дотоле мне совершенно неведомое. Мне кажется, что я – Принц и разговариваю с совсем маленькими детьми, которые еще ничему не учились, кроме Священной истории».

Отхлестав таким образом дворянство по щекам, Ги адресует корреспондентке (между прочим, тоже с голубой кровью в жилах) едва скрываемое признание в любви: «Но я думаю о других персонах, с которыми люблю беседовать. Знаете ли вы одну из таковых? Она не питает неизбежного пиетета перед СИЛЬНЫМИ МИРА СЕГО (стиль-то каков!), она откровенна в своих мыслях (по крайней мере, я так полагаю), в своих мнениях и своих неприязнях. Не потому ли я так часто размышляю о ней? Ее мышление производит на меня впечатление порывистой, непосредственной и соблазнительной искренности. От него можно ожидать сюрпризов; он полон неожиданностей и необычного очарования». И заканчивает: «Прошу принять от меня, Мадам, все, что во мне может оказаться приятным для Вас» (Канны, 13 марта 1889 г.).[56]

Адресатка этих галантных строчек – графиня Эммануэла Потоцкая, урожденная княгиня Пиньятелли ди Чергариа, супруга графа Николая Потоцкого, атташе при австро-венгерском посольстве. По правде говоря, супруги давно не жили вместе – Николая, в содержанках у которого была Эмильенн д'Алансон, нисколько не волновали свидания с женою. Эммануэла содержала в своем особняке по адресу: авеню де Фридлянд, 27, истинно парижский салон, где принимала художников, музыкантов, литераторов, врачей, аристократов, польских эмигрантов и чаровала сонмы поклонников своею красотою, дамскими капризами и вольностью манер. Темпераментная, взбалмошная, пристрастная к наркотическим зельям и блистательная, она покорила Мопассана; ухаживая за нею, он чувствовал себя

попеременно то кошкой, то мышью. Он послал красавице старинный веер, написав на нем два четверостишия:

Où sont mes goûts de naguère?
On me disait libertin!
Aujourd'hui je n'ai plus guère
Que les soifts de sacristain…
J'ai cru… N'ai-je point rêve?
Oui, j'ai cru… Dieu me pardonne!
En bredouillant mes «Ave»
Que c'était vous la Madone.

(«Куда же теперь делись мои привычки? Меня величали распутником, а нынче желанья мои, что у церковного ризничего! Я поверил… Иль это только приснилось мне? Да, я поверил. Господь меня прости, что это Вы – Мадонна, и произношу мои „Ave", как в бреду…»)

Как-то раз графиня Потоцкая устроила скандальный обед – «Пир Маккавеев». Каждый участник должен был сыграть роль мужчины, умершего от истощения сил после безмерных любовных упражнений. В награду за это вручался брелок, украшенный сапфирами и графской короной с инициалами чаровницы. На обороте – надпись синей эмалью: «À LA VIE, À LA MORT» – «РАДИ ЖИЗНИ, РАДИ СМЕРТИ». Галантные кавалеры графини, собиравшиеся у нее за столом каждый четверг, соревновались в чудачествах и шалостях, развлекая хозяйку. Над головами собравшихся маркиза де Бельбеф,[57] одетая в облегающее тело трико акробатки, выполняла упражнения на трапеции. Рядом, в зале для фехтования, обнаженные по пояс мужчины предавались комическим поединкам на рисовальных кистях вместо шпаг. Лакеи невозмутимо разносили кушанья. Вкушали самые изысканные блюда на позолоченном серебре. Порою банкеты перерастали в оргии. Муж, закрывавший глаза на образ жизни своей благоверной, не брезговал участвовать в них. Впрочем, Эммануэла сохраняла рассудок холодным – ей доставляло противоестественное наслаждение разжигать в мужчинах страсть, и в то же время она не спешила допускать их в свои покои с золоченой балюстрадой. Одета она была неизменно в длинный широкий плащ и газовую косынку, завязанную под подбородком, на груди светился ряд отборных жемчугов, и она окутывала себя ароматом роскошных духов, по слухам, специально сочиненных для нее Герленом. Лицо ее, бледное, как фарфор, не знало ни румян, ни пудры; волосы зачесаны на прямой пробор à la Vierge, [58] а взгляд ее был разом вызывающим и щедрым на обещания.

Мопассана прельщало в этой соблазнительности смешение женской беспринципности, рафинированного ума и аристократических корней.[59]

В ту же пору, когда его покорил коварный шарм графини Потоцкой, он испытал волнение, получив в Каннах письмо от незнакомки:

«Милостивый государь!

Читая вас, я испытываю почти блаженство. Вы боготворите правду и находите в ней поистине великую поэзию. Вы волнуете нас, рисуя столь тонкие и глубинные движения человеческой души, что мы невольно узнаем в них самих себя и начинаем любить вас чисто эгоистической любовью. Пустая фраза? Не будьте же строги! Она в основе глубоко искренна. Мне хотелось бы, конечно, сказать вам что-нибудь исключительное, захватывающее, но как это сделать? Это так трудно! Я тем более сожалею об этом, что вы достаточно выдающийся человек, чтобы внушить романтическую грезу стать доверенной вашей прекрасной души, – если только правда, что ваша душа прекрасна. Если она не прекрасна и подобные вещи вас не занимают, – то я прежде всего жалею о вас самом. Я назову вас литературным фабрикантом и пройду мимо.

Уже год, как я собираюсь написать вам, но… не один раз мне казалось, что я слишком возвеличиваю вас и, пожалуй, не стоит к вам обращаться. Но вот, два дня тому назад, я прочитываю в „Голуа“, что кто-то почтил вас милым посланием, и вы просите эту любезную особу дать вам адрес, чтобы ответить ей. Во мне тотчас же заговорила ревность, меня вновь ослепило ваше литературное дарование, – и вот я перед вами.

Теперь выслушайте меня хорошенько, я навсегда останусь для вас неизвестной (говорю это вполне серьезно) и не захочу вас увидеть даже издали. Как знать: быть может, ваше лицо не понравится мне? Я знаю только, что вы молоды и не женаты – два очень существенных пункта, даже в сфере туманных грез.

Но могу вас уверить, что я обворожительно хороша. Быть может, эта сладкая мысль побудит вас ответить мне».[60]

Заинтригованный, Мопассан пробежал глазами подпись и адрес: «Мадам Р.Ж.Д. До востребования. Почтовое отделение на рю де ла Мадлен. Париж». Он мог бы кинуть его в корзину. Но эта женская тайна взволновала его. Кто знает, не выльется ли это в заманчивое приключение? Как бы там ни было, с такого рода синими чулками, которые готовы броситься вам на шею за то лишь, что вы опубликовали несколько книг, надо держать ухо востро. И Ги шлет на адрес «до востребования» такой ответ:

«Милостивая государыня,

Мое письмо, очевидно, не оправдает ваших ожиданий. Мне хочется прежде всего поблагодарить вас за доброе отношение ко мне и за ваши милые комплименты по моему адресу, а затем давайте побеседуем, как благоразумные люди.

Вы просите у меня разрешения быть моей поверенной? Во имя чего? Я вас совсем не знаю. Вы незнакомка; характер, наклонности и все прочие ваши качества могут совершенно не соответствовать моему интеллектуальному складу; с какой же стати я стал бы вам рассказывать о всем том, о чем могу сказать лишь с глазу на глаз, в интимной обстановке, женщинам, являющимся моими друзьями? Не было бы это поступком легкомысленного и непостоянного друга?

Разве таинственность переписки способна усилить прелесть отношений?

Разве вся сладость чувств, связывающих мужчину и женщину (я говорю о целомудренных чувствах), не зависит прежде всего от приятной возможности видеться друг с другом, разговаривать, вглядываясь в собеседника, и мысленно восстанавливать, когда пишешь женщине-другу, черты ее лица, витающие между нашими глазами и листом бумаги?

Но можно ли писать об интимных переживаниях, о самом сокровенном тому существу, чей физический облик, цвет волос, улыбка, взгляд тебе неизвестны?

Ради чего рассказывать вам, что „я сделал то-то и то-то“, и сознавать в то же время, что это вызовет перед вами, раз вы меня совершенно не знаете, только слабое отражение малоинтересных вещей?

Вы упоминаете о письме, полученном мной недавно, – оно было от мужчины, просившего у меня совета. Вот и все.

Возвращаюсь к письмам незнакомок. Я получил их за два года около пятидесяти или шестидесяти. Могу ли я выбрать из числа этих женщин поверенную своей души, как вы выражаетесь?

…Простите меня, сударыня, за эти рассуждения, более присущие человеку здравого смысла, чем поэту, и считайте меня вашим признательным и преданным

Ги де Мопассаном».

Поставив точку, он думает, что заткнет рот корреспондентке.

Но она отвечает, и притом с живостью и дерзостью:

«Ваше письмо, милостивый государь, меня не удивляет, и я нисколько не домогалась того, что вы, по-видимому, приписываете мне.

Прежде всего я не просила вас сделать меня вашей доверенной: это было бы слишком уж простодушно. И если у вас найдется досуг вновь перечитать мое письмо, вы убедитесь, что вы не соблаговолили уловить с первого же взгляда иронического и непочтительного тона, принятого мною по отношению к себе самой…

Ответить мне доверием – не было бы это безрассудством, принимая во внимание, что вы меня совсем не знаете?.. Разве это не означало бы злоупотребить вашей чувствительностью, если бы вам внезапно сообщили о кончине короля Генриха IV?

Ответить мне доверием, в уверенности, что я требую этого, так сказать, с места в карьер, значило бы остроумно посмеяться надо мной. Признаюсь, если бы я была на вашем месте, я бы так и сделала, ибо я бываю иногда очень весела. Это, однако, не мешает мне часто бывать достаточно грустной, чтобы грезить об излияниях в письмах к неизвестному философу…

Что касается того, может ли тайна что-нибудь прибавить к прелести отношений, – все зависит от вкуса… Пусть это вас не забавляет, прекрасно! Но меня… меня это чертовски забавляет – признаюсь в этом совершенно искренне, равно как и в том, что ваше письмо, каково бы оно ни было, вызвало во мне чисто детскую радость.

И знаете, если это вас не забавляет, то это только потому, что ни одна из ваших корреспонденток не сумела вас заинтересовать, – вот и все. Если же и мне самой не удалось взять надлежащий тон, то я слишком благоразумна, чтобы сердиться на вас за это.

Только шестьдесят писем? Я была уверена, что вам надоедают гораздо больше… И вы всем отвечали?

…Неужели, сделав первый шаг, мы теперь остановимся? Мне тем более будет жаль, что у меня появляется желание доказать вам в один прекрасный день, что я заслуживаю большего, чем стать 61-м номером.

Однако если все же двух-трех легких намеков было бы достаточно, чтобы привлечь на свою сторону красоты вашей дряхлеющей души, уже лишенной чутья, то можно было бы, например, сказать: волосы – светлорусые, рост – средний, родилась между 1812 и 1863 годом. А что касается нравственного облика… О нет, не буду хвастаться, а то вы вмиг догадаетесь, что я родом из Марселя».

Ги почувствовал, что эта молодая женщина с прикрытым маскою лицом идет на него в атаку с обнаженной рапирой, и притом неплохо владея приемами фехтованья. Игра показалась ему забавной, и он снова берется за перо:

«Да, сударыня, второе письмо! Это удивляет меня. Я чуть ли не испытываю смутное желание наговорить вам дерзостей. Это позволительно, раз я вас совершенно не знаю. И все же я пишу вам, так как мне нестерпимо скучно!»

В предыдущем письме «сударыня» критически высказалась по поводу «Старухи Соваж», опубликованной в «Голуа»: «Что за банальность – эта история о старушке матери, мстящей пруссакам!» Автор спешит оправдаться – в его ответе гнев смешан с разочарованием:

«Вы упрекаете меня за банальный рассказ о старухе, отомстившей пруссакам, но ведь все на свете банально. Я пишу банальности, потому что ничего не слышу вокруг себя, кроме банальностей. Все мысли, все суждения, все споры, все верования – все банально.

И разве это не самая настоящая мальчишеская банальность – переписка с незнакомкой?»

Что особенно раздражает его, так это то, что незнакомка неплохо сведуща о нем, персонаже, достаточно известном широкой публике; он же не знает о ней ровно ничего. Мезальянс очевиден. «Меня вы более или менее знаете, – продолжает он. – … Но в каком положении я?

Вы, правда, можете оказаться молодой и очаровательной женщиной, и в один прекрасный день я буду счастлив расцеловать ваши ручки.

А что, если вы старая консьержка, начитавшаяся романов Эжена Сю?

Или образованная и перезрелая девица-компаньонка, тощая, как метла?

В самом деле, не худая ли вы? Не слишком, не правда ли? Я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось иметь дело с тощей корреспонденткой. Незнакомкам ни в чем не доверяешь.

…Светская ли вы женщина? Сентиментальны ли вы? Или просто романтичны? Или, может быть, вы всего-навсего скучающая особа и желаете развлечься?»

И внезапно с юмором переходит на откровенность, как будто хочет обескуражить свою корреспондентку: «Видите ли, я ни в коем случае не принадлежу к числу тех людей, которых вы ищете. Во мне нет ни на грош поэзии. Я отношусь ко всему с одинаковым безразличием…

Вот вам и мои признания. Что вы о них скажете, сударыня?

Вы, должно быть, сочтете меня очень бесцеремонным, – прошу прощения. Когда я пишу вам, мне кажется, что я иду по мрачному подземелью, боясь оступиться в какую-нибудь яму. И я наугад постукиваю палкой, чтобы прощупать почву.

Какие духи вы предпочитаете?

Вы гурманка?

Какой формы ваше ушко?

Каков цвет ваших глаз?

Не музыкантша ли вы?

Не спрашиваю вас, замужем ли вы. Если да, вы ответите мне нет. Если нет, ответите да.

Целую ваши ручки, сударыня».

Ответ, исполненный желчи, не заставил себя ждать:

«Итак, вот оно что: вы скучаете, ко всему относитесь безразлично и в вас нет ни на грош поэзии!.. Неужели вы думали меня этим испугать?

Вот каким я вас вижу: у вас, должно быть, довольно большой живот, коротенькая жилетка из материи неопределенного цвета и последняя пуговица непременно оторвана. *И все же вы меня интересуете.* Одного я только не понимаю: как вы можете скучать? Я бываю иногда грустна, подавлена или гневна, но скучать… никогда!

Вы не тот человек, которого я ищу? Какое несчастье! (Вот она, консьержка!) Не будете ли вы так любезны объяснить мне, каков он, этот человек?

Я никого не ищу, милостивый государь, я держусь того мнения, что мужчины должны служить не более как аксессуарами для сильных женщин (вот она – засушенная старая дева!).

Затем отвечу вам на ваши вопросы, причем с глубокой искренностью, ибо я не люблю потешаться наивностью гениального человека, который дремлет после обеда в своем кресле, с сигарой во рту.

Худа? О нет, но и не толста ничуть. Светская, сентиментальная, романтическая? Но как вы это понимаете? Мне кажется, все это отлично может ужиться рядом в одном и том же человеке: все зависит от момента, случая, обстоятельств. Я современна и подвержена новейшим поветриям: посему может случиться, что мне, как и вам, не хватает поэтичности.

Мой любимый аромат? Аромат добродетели. И никакой вульгарности. Да, я гурманка, или скорее прихотлива в еде.

У меня маленькие, немного неправильной формы, но красивые уши; глаза серые. Да, я музыкантша, но не такая отличная пианистка, как, вероятно, ваша младшая учительница. Если бы я не была замужем, как я могла бы читать ваши ужасные

книги?

Довольны ли вы моим послушанием? Если да, оторвите от жилетки еще одну пуговицу и думайте обо мне, когда сгущаются сумерки. Если нет… тем хуже! Я нахожу, что сказала вам достаточно в ответ на ваши фальшивые признания.

Осмелюсь спросить, кто ваши любимые композиторы и художники?

А что, если бы я оказалась мужчиной?»

К этому письму был приложен набросок, изображающий толстого мосье, дремлющего в кресле под пальмой на берегу моря. Перед ним – стол, пивная кружка, сигара. Так незнакомка поддразнивала своего любимого писателя. Ответ последнего грешит тяжеловесностью, достойной конюха:

> *«О! Теперь-то я вас знаю, прекрасная маска: вы преподаватель шестого класса лицея Людовика Великого. Признаюсь, я уже и раньше догадывался об этом, так как ваша бумага издает легкий запах нюхательного табака. Посему я перестаю быть галантным (да и был ли я таковым?) и начну обращаться с вами, как с ученым мужем, то есть как с врагом. Ах, старый плут, старый классный наставник, старый латинский буквоед, и вы намеревались сойти за хорошенькую женщину…»*

Рассыпавшись в подобных дифирамбах, Мопассан вновь берет себя в руки. Что более всего уязвило его, так это портрет в образе пузатенького и сонного человечка, тогда как он гордился своим плоским животом и выдающейся грудью. Он с наивным удовлетворением «отредактировал» его:

> *«Равно благодарю вас за мой портрет, набросанный вами. Даю вам слово, он похож. Укажу, однако, некоторые погрешности:*
>
> *1. Живот меньше.*
>
> *2. Я никогда не курю.*
>
> *3. Я не пью ни пива, ни вина, ни спиртных напитков. Ничего, кроме воды.*
>
> *Так что блаженное состояние перед кружкой не может быть моей излюбленной позой.*
>
> *Гораздо чаще сижу на диване по-турецки… Вы спрашиваете меня, кто мой любимый художник из современных? Милле.*
>
> *Мой любимый музыкант? Я не терплю музыки!*
>
> *По правде говоря, я предпочитаю всем искусствам красивую женщину. А хороший обед, настоящий обед,*

изысканный обед я ставлю почти на ту же ступень, что и красивую женщину.

Вот мое жизненное кредо, господин старый учитель.

Я считаю, что когда тобой владеет глубокая страсть, всеобъемлющая страсть, то ей нужно отдаться целиком, пожертвовав для нее всеми другими: я это и делаю.

Мною владели две страсти. Нужно было пожертвовать одной – и я пожертвовал чревоугодием. Я стал воздержан в пище, как верблюд, но так разборчив, что теперь и не знаю, чем же мне питаться.

Хотите еще одну подробность? Я выигрываю крупные состязания в качестве гребца, пловца и ходока.

Теперь, после всех этих признаний, господин классный наставник, расскажите мне о себе, о вашей жене – несомненно, вы женаты, – о ваших детях. Нет ли у вас дочки? Если да, прошу вас, подумайте обо мне.

Молю божественного Гомера, да испросит он для вас все земные радости у Бога, которому вы поклоняетесь.

Ги де Мопассан.

Через несколько дней я вернусь в Париж, на ул. Дюлон, 83».

Так кем же в действительности оказалась «сударыня», она же «господин классный наставник»? А была это молодая русская девушка 24 лет, больная чахоткой в последней стадии и одаренная истинным талантом художницы. Она вела дневник, в надежде, что ее конфиденциальные записи помогут ей остаться в памяти будущих поколений. Она была избалованной и мужественной, капризной, жеманной и трагичной. Звали ее Мария Башкирцева (Муся для самых близких). По мнению врачей, ей оставалось жить всего несколько месяцев. Готовясь умирать, она посвятила свои последние дни кокетливой переписке, которая возбуждала и забавляла Мопассана. Получив третье письмо от своего любимого писателя, она сделала запись в своем дневнике 15 апреля 1884 года: «Остаюсь дома, чтобы ответить незнакомцу (Ги де Мопассану). То есть это я для него незнакомка. Он мне отвечал уже трижды. Это не какой-нибудь Бальзак, которого обожают всецело. Теперь я сожалею о том, что обратилась не к Золя, а к его поручику, который обладает талантом, и большим. Вот что мне понравилось среди молодых. В одно прекрасное утро я проснусь с желанием, чтобы знаток оценил те прекрасные вещи, которые я умею высказывать. Я

искала – и выбрала его».

Сочиняя четвертое письмо Мопассану, она приняла правила игры и, дрожа от радости, облачилась в одеяния мудреца по имени Жозеф Савантен.[61]

«Я воспользовался, милостивый государь, досугом святой недели, чтобы вновь перечитать полное собрание ваших сочинений… Вы, конечно, большой весельчак. Я никогда не читал вас целиком и подряд, впечатление поэтому, можно сказать, свежее, и оно таково, *что вы чересчур злоупотребляете описанием этих… этого… этого акта, благодаря которому существует мир. Не знаю, какому богу я поклоняюсь, но вы, безусловно, поклоняетесь тому… тому странному символу, который чтили в Древнем Египте.*

Черт возьми! Есть от чего потерять покой моим лицеистам и возмутиться всем монастырям христианского мира.

Что касается меня, а я вовсе не отличаюсь стыдливостью и *читал самые предосудительные сочинения,* меня смущает, да, сударь, смущает ваше тяготение к этому *грубому акту,* которое г. Александр Дюма-сын называет любовью. Это может перерасти в мономанию, что будет прискорбно, ибо вы богато одарены и ваши рассказы о деревенской жизни хор(ошо) написаны…

Мне известно также, что вы написали „ЖИЗНЬ“ и что эта книга несет на себе печать глубокого чувства отвращения, грусти и уныния. Это чувство, которое уравновешивает *мощь ваших мускулов*, время от времени всплывает наружу в ваших сочинениях и внушает мысль, что вы – высшее существо, страдающее от жизни. Вот что поразило мое сердце. Но это, я думаю, лишь подражание Флоберу.

В итоге мы – порядочные простофили, а вы – замечательный шутник (видите, как хорошо быть незнакомым друг с другом) и морочите нам голову своим одиночеством и длинноволосыми существами…»

Этот намек на влияние Флобера свидетельствовал о проницательности незнакомки и задел Мопассана, как если бы кто-то проник в заповедный уголок его сада. Продолжение письма откровенно иронично:

> «…вы ненавидите музыку – возможно ли?
>
> Вас бы следовало угостить ученой музыкой! Ваше счастье, что вы еще не написали книгу – книгу, в которой будет фигурировать женщина, да.
>
> …Чревоугодие, женщины! Но, мой юный друг, берегитесь! Вы переходите на вольности, а мое звание классного наставника запрещает мне следовать за вами

по этому опасному пути.

…Вы серьезно утверждаете, что предпочитаете красивых женщин всем искусствам? Вы смеетесь надо мной.

Простите за бессвязность этого послания и не оставляйте меня долго без ответа.

Засим, великий пожиратель женщин, желаю вам *развивать мышцы, о которых не принято писать, и верблюжью подушку,* а я остаюсь со священным трепетом вашим преданным слугой.

Савантен Жозеф».

Послание одновременно развеселило Мопассана и вывело из себя. Для ответа он выбирает грубоватый тон развеселых лодочников – завсегдатаев «Лягушатни»:

«Мой дорогой Жозеф, мораль вашего письма, очевидно, та, что, раз мы совсем не знаем друг друга, не будем стесняться и поговорим откровенно, как два брата.

И я готов первым подать пример полной откровенности. Мы дошли до такой точки, что можем говорить друг другу „ты“, не правда ли? Итак, я говорю тебе „ты“ и наплевать, если ты недоволен…

…Знаешь ли, для школьного учителя, которому доверено воспитание невинных душ, ты говоришь мне не особенно скромные вещи! Как? Ты ни чуточки не стыдлив? Ни в выборе книг для чтения, ни в своих сочинениях, ни в своих словах, ни в своих поступках, да? Я это предчувствовал.

…И ты полагаешь, что это меня забавляет? И что я смеюсь над публикой? Мой бедный Жозеф, под солнцем нет человека, который скучал бы более меня. Нет ничего, что стоило бы затраты сил или минутного утомления. Я скучаю без передышки, без отдыха и без надежды, потому что ничего не хочу и ничего не жду; что же касается того, чтобы оплакивать обстоятельства, которые я не могу изменить, – с этим я подожду, пока не выживу из ума. Так как мы откровенны друг с другом, то предупреждаю тебя, что это – мое последнее письмо, потому что переписка мне уже начинает надоедать.

К чему продолжать ее? Меня она не забавляет и не обещает ничего приятного в будущем.

Итак?

У меня нет никакого желания познакомиться с тобой. Я уверен, что ты безобразен, и вдобавок нахожу, что послал тебе уже достаточно автографов вроде этого. Известно ли тебе, что они стоят от десяти до двадцати су за штуку, в зависимости от

содержания? У тебя есть по крайней мере два по двадцать су. Счастливчик!

Кроме того, я намереваюсь снова покинуть Париж, так как скучаю в нем гораздо сильнее, чем где-либо. Я поеду в Этрета, чтобы переменить обстановку, а также потому, что в данный момент смогу побыть там в одиночестве.

Больше всего люблю быть в одиночестве. Так я, по крайней мере, скучаю молча.

Ты спрашиваешь меня, каков мой точный возраст. Так как я родился 5 августа 1850 года, то мне еще нет 34. Это тебя удовлетворяет? Не собираешься ли ты попросить у меня фотографию? Предупреждаю, что не пришлю.

Да, я люблю красивых женщин, но бывают дни, когда они мне страшно противны.

Прощай, старина Жозеф, наше знакомство было очень неполным, очень коротким. Но что делать? Может быть, и к лучшему, что я не видел твоей физии, а ты моей».

Это письмо Мария восприняла как ушат грязной воды, выплеснутый прямо в лицо. Задыхаясь от гнева, она делает запись в своем дневнике 18 апреля 1884 года: «Как я и предвидела, между моим писателем и мною все кончено. Его четвертое письмо грубо и глупо». Но не думайте, что она воздержится от ответа тому невеже, который в ответ на ее булавочные уколы осыпает ее выражениями в стиле ломового извозчика:

«Ваше письмо слишком сильно благоухает. Вовсе не было надобности тратить столько духов, чтобы заставить меня задохнуться. Так вот что вы нашли ответить женщине, виноватой лишь в том, что она проявила неосторожность? Красиво, ничего не скажешь.

Без сомнения, Жозеф во всех отношениях не прав, именно поэтому он и чувствует себя задетым. Но он находился под властью легкомыслия, почерпнутого из ваших книг, как если бы это был напев, от которого никак не можешь избавиться.

Тем не менее я его строго порицаю, ибо нужно быть уверенным в любезности противника, прежде чем рискуешь шутить таким образом.

Притом, мне кажется, вы могли бы унизить его с большим остроумием.

А теперь скажу вам одну невероятную вещь, которой вы, без сомнения, никогда не поверите, и так как узнаете о ней слишком поздно, то она имеет только исторический интерес.

Скажу вам, что и с меня довольно нашей переписки. После вашего четвертого письма я охладела… Пресыщение?

Впрочем, я обыкновенно дорожу лишь тем, что от меня

ускользает. Я, значит, должна была бы теперь дорожить вами? Но это не совсем так.

Почему я вам писала? В одно прекрасное утро просыпаешься и открываешь, что ты редкое существо, окруженное глупцами. Горько становится при мысли, что рассыпаешь столько жемчуга перед столькими свиньями.

Что, если написать человеку знаменитому, человеку, достойному того, чтобы понять меня? Это было бы прелестно, романтично, и – кто знает? – быть может, после нескольких писем он стал бы другом, завоеванным при довольно оригинальных обстоятельствах. И вот я задалась вопросом: кому же писать? И выбор падает на вас.

Такого рода переписка возможна только при двух условиях. Первое условие, это – поклонение, не знающее границ, со стороны лица, которое остается неизвестным. Это безграничное поклонение порождает симпатию, побуждающую вас говорить такие вещи, которые неминуемо должны волновать и интересовать человека знаменитого.

Ни одного из этих условий нет налицо. Я вас избрала в надежде впоследствии поклоняться вам без границ! Ибо, как я думала, вы очень молоды. Относительно.

И вот я вам написала, силясь охладить свой пыл, а кончила тем, что наговорила вам „непристойностей“ и даже неучтивостей, полагая, что вы удостоите заметить это. Мы дошли до той точки – употребляю ваше выражение, – когда я готова признаться, что ваше гнусное письмо заставило меня провести очень скверный день.

Я так смята, точно мне нанесли физическое оскорбление. Это абсурдно.

Прощайте, говорю это с удовольствием.

Если у вас еще сохранились мои автографы, пришлите их мне. Что касается ваших, то я уже продала их в Америку за сумасшедшую цену».

Иной на месте Ги обрадовался бы, что наконец-то отвязался от этой безумицы, скрывающей свое имя и лицо, которая то дразнит его своим кокетством, то осыпает оскорблениями. Но в тот момент, когда он уже собирался сунуть эту корреспонденцию в ящик стола, на него внезапно нахлынули угрызения совести. Мало-помалу он приохотился к этой литературной шалости. Вот что писал он из своего этретатского убежища:

«Неужели я задел вас за живое, сударыня? Не отрицайте этого. Я в восторге. И униженно прошу за это прощения.

Я спрашивал себя: кто же это? Вначале она пишет мне сентиментальное, мечтательное, экзальтированное письмо. Это

присуще молодым девушкам; значит, она девушка? Большинство незнакомок – девушки.

Тогда, сударыня, я ответил в скептическом тоне. Вы пошли дальше меня, и ваше предпоследнее письмо содержало ряд странных мыслей. Я уже не знал более, к какой породе женщин вас отнести. Я все думал: кто это? женщина, прячущаяся под маской, чтобы позабавиться, или просто бесстыдница?

Знаете ли вы испытанное средство, позволяющее на балах в Опере узнавать светских женщин? Их щекочут. Проститутки привыкли к этому и просто заявляют: „Ну, хватит!“ Но прочие сердятся.

Я ущипнул вас, и весьма неподобающим образом, признаюсь в этом, и вы рассердились. Теперь я прошу у вас прощения тем более, что одна фраза вашего письма очень меня огорчила. Вы пишете, что мой „гнусный“ ответ заставил вас провести скверный день.

Нет, не слово „гнусный“ меня задело. Поймите, сударыня, мне было больно по другим, более тонким причинам, а также при мысли, что незнакомая женщина пережила из-за меня скверный день.

Поверьте, сударыня, я не так груб, не так скептичен и не так непристоен, каким предстал перед вами.

Но помимо воли я питаю большое недоверие ко всякой таинственности, ко всему незнакомому и к незнакомкам.

Как вы можете требовать, чтобы я искренне говорил с некой Х., которая пишет мне анонимно и может оказаться врагом (у меня таковые имеются) или просто любительницей шуток? Я и сам надеваю маску, когда имею дело с замаскированными людьми. На войне это допускается. А благодаря хитрости я заглянул в один из уголков вашей души.

Еще раз простите.

Целую незнакомую ручку, которая пишет мне.

Ваши письма, сударыня, в вашем распоряжении, но я передам их лишь в ваши руки. Ах, для этого я был бы готов предпринять путешествие в Париж».

И тут же Мария Башкирцева растаяла в нежности, но и напыжилась тщеславием. «Розали принесла мне с почты письмо от Ги де Мопассана, адресованное „до востребования“, – заносит она в свой дневник 23 апреля. – Пятое письмо – самое лучшее. Мы более не злимся друг на друга. И к тому же он опубликовал в „Голуа“ очаровательную хронику. Я чувствую, что смягчилась. Забавно! Этот мужчина, которого я не знаю, занимает все мои мысли. Думает ли он обо мне? Для чего он мне пишет?» Решительно настроенная более не подавать признаков жизни, она

тем не менее снова поддается искушению: «Хочется прощать… потому что я больна, и я, как это со мною никогда не случалось, смягчилась по отношению к себе, ко всему свету, к вам, который сыскал средство быть мне столь глубоко неприятным. Как докажете вы, что я не шут и не враг? Тем более невозможно поклясться вам, что мы созданы для того, чтобы понять друг друга. Вы не стоите меня. Сожалею о том. Ничто не будет для меня приятнее, чем признать за вами все превосходства – за вами или за кем-нибудь другим… Что ж, я позабуду, что между нами было все кончено».

Мопассан шлет ей еще одно письмо, исполненное ироничной галантности и декадентского пессимизма. «Все в жизни мне более или менее безразлично: мужчины, женщины и события…Все в мире – скука, шутовство и ничтожество…Целую Ваши ручки, сударыня».

Ответа не последовало. Гордая Мария Башкирцева решила прекратить игру. Она не сомневалась, что Мопассан раскрыл (каким маневром?) ее имя и что, когда он принял решение более не поддерживать с нею переписку, у него гора с плеч свалилась. Семью годами позже он напишет письмо другой русской девушке – мадемуазель Богдановой, жительнице Ниццы, заваливавшей его пламенными письмами: «Я ответил мадемуазель Башкирцевой, это правда, но так и не захотел с ней встретиться…После этого она умерла, и, таким образом, я с нею не познакомился. У ее матери имеется десяток писем, адресованных мне, но не посланных. Я не захотел прочесть их, несмотря на самые настойчивые просьбы». Письмо датировано 10 ноября 1891 года; Мария Башкирцева ушла из жизни в 1884-м.

Встречался Мопассан с Марией Башкирцевой, нет ли, а только лестна ему была страсть молодой девушки к его творчеству и его персоне. В Этрета он распределяет свое время между занятиями спортом, писательским трудом и легкодоступными любовными похождениями. Встав в восемь утра, он без завтрака садится за письменный стол и трудится до полудня. После чего ныряет в лохань с ледяной водой, что наполняет его мысли апломбом, и плотно заправляется. Во второй половине дня упражняется в стрельбе из пистолета, выпуская по 40–50 пуль зараз на глазах у верного камердинера Франсуа Тассара, который восторгается его меткостью. Потом отправляется к морю. Плавает подчас до изнеможения. Но каждое утро ему приходится промывать исстрадавшиеся глаза. К тому же его, как и прежде, мучают жуткие мигрени; вот слова, которые запомнились Франсуа Тассару: «Я сделаю себе втирание вазелина и, если в 11 часов не полегчает, немного подышу эфиром».

Несмотря на все свои хворости, он привечает у себя многочисленных юных прелестниц, входящих в ворота «Ла Гийетт» непрерывною чередою, точно манекенщицы на дефиле. Поговаривают, что он устраивает в окрестной местности разнузданные вечеринки. Как в провинции, так и в Париже о нем ходят слухи как о самце, не ведающем утоления; и все-таки в перерывах между плотскими утехами без любви он берется за перо. В несколько месяцев он публикует том новелл «Мисс Гарриет» у Авара, а другой – «Сестры Рондоли» – у Оллендорфа. Кроме того, он переиздает сборник новелл «Лунный свет» и публикует большую новеллу «Иветта». По поводу этого последнего сочинения он пишет издателю Авару: «Я пошлю Вам „Иветту“ через три-четыре дня, но не хочу издавать эту новеллу так, чтобы она одна заняла весь том. Подумают еще, что я придаю ей большее значение, чем она того заслуживает. Я хотел – и мне это удалось – воспроизвести, в качестве литературного подражания, элегантную манеру Feuillet et Cie. Это – изящная безделка, а не психологический этюд. Это ловко, но не сильно» (письмо от 2 октября 1884 г.).

Тем не менее эта новелла, которой он не придавал особого значения, принадлежит к числу самых завершенных его произведений. Особенно привлекателен тонкий, сдержанный и волнительный портрет молодой девушки по имени Иветта. Дочь куртизанки, наивная и чистая девушка, нежный цветок, цветущий в этой распутной атмосфере. Силою простого физического импульса в нее влюбляется модный франт по имени Жан де Сервиньи, который, как и Мопассан, был охоч до гимнастики, фехтования, парной бани и душа. «Его желания, утомленные жизнью, которую он вел, всеми теми женщинами, которых он покорил, всеми познанными им любовными связями, проснулись перед этим редкостным созданьем – таким свежим, возбуждающим и необъяснимым». Но Жан де Сервиньи уже знает, что Иветте, чью чистоту и честность он так ценит, не избежать закона своей среды и что молодая девушка станет всего-навсего дорогой девкой, и больше никем. А что же Иветта? Когда после непродолжительной иллюзии она застает свою мать в объятиях любовника, ей открывается во всей доподлинной натуре бесславное положение содержанки. От отчаяния она предпринимает попытку покончить с собою, отравившись хлороформом. Но в самом ли деле она хочет умереть? Не питает ли она втайне надежду выжить, испытав необходимый шок? Инстинкт самосохранения оказывается сильнее, чем отчаяние и стыд. Придя в себя, Иветта капитулирует и соглашается войти в этот мир «позолоченной проституции», который хоть и разрушает

человеческое достоинство, зато обеспечивает существование. Эту историю, в которой горечь смешивается со сладостью, автор расцвечивает колоритными воспоминаниями о своих прогулках на лодке по Сене и наблюдениями за нравами полу и просто света. Кстати, одновременно с правкой «Иветты» он трудится над большим романом «Милый друг», в котором развертывает темы, эскизно набросанные в новелле. 24 октября 1884 года он выскакивает из своего кабинета в «Ла-Гийетт», направляется к Франсуа Тассару, который в этот момент кормил петуха, и радостно восклицает: «Я закончил „Милого друга“! Надеюсь, он будет в удовлетворение тем, кто требует от меня какой-нибудь длинной вещи… Что касается журналистов, то они на него накинутся, это так на них похоже! Я их жду!»

Этот намек на возможную реакцию со стороны журналистов был тем более оправданным, что действие романа развертывается в среде пишущей братии, которую Мопассан знал как облупленную. Герой романа Жорж Дюруа – молодой и жизнерадостный искатель приключений без гроша в кармане. Усатый и франтоватый, истый нормандец, истый безбожник, успешный охотник за придаными и наследствами и презирающий любовь, он представляется карикатурою на автора. Последний охотно называет его «милым другом» и даже будет высмеивать это прозвище в многочисленных посвятительных надписях на своей книге. Но в противоположность автору это – пройдоха без малейших угрызений совести, который заставляет свою любовницу писать за него статьи. Впоследствии Дюруа будет цинично пользоваться благосклонностью женщин, переходя от одной к другой с холодной решимостью обеспечить себе карьеру. Это ему удается в течение как минимум трех лет, в течение которых он накапливает состояния и почести, не забывая о прибылях. По ходу действия романа Мопассан бичует с безжалостным пылом колониальные аферы эпохи, маневры финансовых воротил-акул, мелочные склоки и страстишки пишущей братии, капитальную роль женщин в обществе, которое хотело бы видеть в них лишь объект опеки. Это одновременно точная картина парижской жизни и психологический этюд торжествующего карьеризма. Деньги и секс – вот главное. Плотская любовь на службе коррупции, шантажа и властвования. В этом мире едят, пьют, совокупляются, прогуливаются в экипажах, бегут подышать пряностями Фоли-Бержер, сражаются на шпагах, отправляются проветриться за город, и вся эта повседневная мышиная возня преследует только одну цель: достичь успеха, сокрушая других.

Вокруг Дюруа суетятся несколько женщин, возбужденных

сексуальной мощью этого быка-производителя. Это – высокоинтеллектуальная и увлеченная политикой мадам Форестье, которая выступает в качестве литературного «негра» при его дебютах; брюнетка мадам де Марель, которая, содержа его, терпит измены, но прощает все – ведь ей так сладко это сомнительное удовольствие якшаться с ним; плаксивая мадам Вальтер, «старая озлобленная любовница», готовая на все, чтобы удержать своего молодого любовника; девушка из Фоли-Бержер по имени Рашель и даже крошка Лорин, неприрученное и чистое дитя, впадающее в экстаз при виде роскошного самца, которого ее мамаша принимает у себя в гостиной. «Милый друг» властвует над своими жертвами при помощи науки соблазнения, которая действует почти как магия. Что более всего прельщает в нем дам, так это его усы, прикосновение которых, разом шелковое и щекочущее, доставляет столько наслаждения. «Закрученные усы, словно пенящиеся на губе» – так характеризует их Мопассан, вне всякого сомнения, думая о своих собственных усах, которые так ценились его многочисленными партнершами. Бурный мир, встающий со страниц «Милого друга», отдает весьма специфическим смешением запахов: гнилости и альковного парфюма. О чем бы ни писал он – о женщинах, журналистах, о банкирской или политической жизни, – он сознает, что не преувеличивает. Но, как он сам посетовал Франсуа Тассару, опасается реакции публики и критики. И притом еще в большей степени, чем после выхода в свет романа «Жизнь».

Ожидая «испытания правдой», он наконец-то решился переехать в свою новую квартиру на первом этаже дома № 10 по улице Моншанен (ныне улица носит имя Жака Бенгена). Убранство нового жилища стоило ему многих забот и средств. Ему хотелось обрамить себя пооригинальнее и попышнее. В буфете – неизменные фаянсы из Руана, на полу – медвежья шкура, чтобы сидеть на ней; повсюду – золоченые будды и святые из полихромного дерева. Пианино, накрытое церковной ризой. Кровать в стиле Генриха II, буфет ренессанс. На туалетном столике выстроились в ряд коробочки с рисовой пудрой и флаконы духов, предназначенных юным посетительницам. В теплице пышно разрослись роскошные растения; унизанные жемчугами бамбуковые занавески, отделявшие комнату от комнаты, бренчали всякий раз, когда кто-то проходил сквозь них. Жорж де Порто-Риш находил сие жилище «загроможденным безделушками дурного вкуса, слишком натопленным, слишком тесным, слишком напарфюмированным».

Что до Эдмона де Гонкура, то, когда он нанес визит своему утопавшему в роскоши собрату по перу, то пришел в ужас – всю

эту невероятную и странную обстановку он счел достойным разве что проститутского жилища («Cré matin, le bon mobilier de putain»). «А говорю я об обстановке, окружающей Ги де Мопассана. Нет, право, никогда еще не видел такого! Представьте-ка у мужчины небесно-голубую с коричневыми полосами обшивку стен, каминное зеркало, наполовину затянутое плюшевой занавеской, сине-бирюзовый фарфоровый гарнитур из Севра – это тот обрамленный медью Севр, который обыкновенно встречается в магазинах, где предметы обстановки приобретаются по случаю, и эти верхние части дверей, состоящие из головок ангелов из размалеванного дерева, взятых из старинной этретатской церкви, крылатые головки, улетающие на волнах алжирских тканей! Право, так ли справедливо со стороны бога дать талант человеку со столь отвратительным вкусом!» (Дневник, запись от 1884 г.)

Создавая впечатление, что, окружив себя этим громоздким и напарфюмированным обрамлением, дышащим проститутской чувственностью (sensualité de cocotte), Мопассан конкретизировал этим свой успех. Впрочем, он особенно не засиживался в этом антураже, сбегая то в Этрета, то в Канны, чтобы навестить свою еще хворую и хнычущую мать. В начале 1885 года он даже предпринимает более дальнее путешествие, отправившись в Рим в компании с живописцем Жерве и журналистом Жоржем Леграном. Романист и драматург Анри Амик предполагал воссоединиться с компанией в Неаполе.

Ги считал заграничную поездку идеальным лекарством после напряженного труда. В Италии он был готов решительно любоваться всем. Но Венеция внушила ему отвращение, а Рима он терпеть не мог. «Я нахожу Рим ужасным, – писал он матери 15 апреля 1885 года. – „Страшный суд“ Микеланджело имеет вид ярмарочного занавеса, написанного каким-нибудь невеждой-угольщиком для балагана, где состязаются борцы. Это – мнение Жерве и воспитанников Римской школы, с которыми я вчера обедал. Они не понимают ореола восхищения, который окутывает эту мазню. Лоджии Рафаэля красивы, но мало волнуют. Собор Св. Петра – решительно величайший памятник дурного вкуса, который когда-либо был построен. В музеях – ничего (достойного), кроме восхитительного Веласкеса».

Из Рима Ги направляется в Неаполь, где мигом влюбляется в эти извилистые улочки, нечесаных христарадников,[62] проституток с глазами, точно раскаленное уголье, барочные храмы, где пахнет ладаном и нечистотой, пиццерии, откуда исходят аромат печеного теста и острый запах чеснока. Он посещает Геркуланум, поднимается на Везувий на фуникулере,

плавает на катере на Капри и на Искью. 15 мая 1885 года он пишет из Рагузы Эрмине Леконт де Нуи: «Встаю в четыре или пять часов утра, качу в коляске или выступаю в пеший поход. Я вижу памятники, горы, города, руины, удивительные греческие храмы среди диковинных пейзажей, а затем вулканы – маленькие вулканы, выплевывающие грязь, и большие вулканы, извергающие пламя. Через час отправляюсь в путь, чтобы предпринять восхождение на Этну…Желудок мой ни к черту, а глаза – тем более. Что до сердца, то оно работает как часы, и я лажу по горам, не чувствуя его ни на секунду».

Среди всех этих шатаний и открытий он находит время читать – точнее говоря, заставляет себя читать,[63] поскольку глаза у него, по его собственному признанию, ни к черту, – «Жерминаль» Золя и поздравил автора с его последним романом: «Вы привели в движение огромную массу трогательного и бестиального человеческого материала, явили на свет Божий столько внушающей жалость нищеты и глупости, всколыхнули такую страшную и прискорбную толпу, вписав все это в такой изумительный декор, что, конечно, ни одна книга не была еще так насыщена жизнью и движением, такой массой народу» (Палермо, пятница вечером, май или июнь 1885 г.). Сам же он рвался в Париж, чтобы присутствовать при «запуске» в обращение «Милого друга». Он проезжает через Рим, где вместе с Полем Бурже гостит у графа Примоли. По просьбе Мопассана граф отвел двух собратьев по перу в солдатский бордель. Поль Бурже остался сидеть в гостиной, но Ги, которому – доброму вору все впору! – годилась любая женская плоть, поднялся на второй этаж в сопровождении девицы с основательно обветшалыми формами. Утоливши потребности грубой своей натуры, он, весь исполненный гордости, спустился вниз по лестнице и уселся напротив Поля Бурже, который встретил его чопорной миной и с иронией заявил: «Теперь, мон шер, я понимаю вашу психологию!» Несколько дней спустя, посетив Палермо, он попросил показать ему квартиру, в которой Рихард Вагнер поверил нотной бумаге последние такты «Парсифаля». Там он всласть надышался запасом розовой эссенции и удивлялся рафинированности немецкого композитора, который наполнил таким благоуханием свое жилище, что казалось, будто он вот-вот сюда вернется.[64]

Но что более всего поразило его воображение, так это великолепная бронзовая фигурка овна из сиракузских раскопок, выставленная в городском музее. Он был так очарован первобытным животным началом, воплощенным в этом звере, что почувствовал свое с ним братство: «Во мне трепещет нечто от всех животных, от всех их инстинктов, от всех смутных желаний

низших тварей».

Жуировать и сочинять – вот смысл жизни! Все остальное – побоку!

Тем не менее, услышав о подземелье, полном мумий, которое туристы посещают, дрожа от ужаса, он решает туда направиться. Старик монах в глубоком капюшоне, надвинутом по самые глаза, повел его по зловещим галереям катакомб. Зрелище ужасало и забавляло одновременно. Ги проходил мимо сотен мумифицированных трупов, чья одежда рассыпалась в прах. Казалось, обтянутые кожей черепа с глубокими глазницами и выступающими зубами потешаются над толпами любопытствующих. На скелетах женщин еще сохранялись кружевные чепчики, струящиеся платья с кокетливыми ленточками, чулки, облегающие кости ног. При виде всего этого Мопассан с еще большей остротою почувствовал, как это важно – брать от жизни все, не упускать наслаждений, посылаемых моментом! Жизнь так коротка – так хватай ее за хвост, уступай любым аппетитам своей бренной плоти! «Все там будем»… Но прежде – выпьем до дна кубок наслаждений! Он выскочил из катакомб, опьяненный бодростью и нетерпением. Позже, созерцая в Сиракузах античную статую Венеры, он впал в экстаз при виде жеста мраморной богини, деликатно прикрывшей рукою свое самое интимное – «она прячет и показывает, скрывает и обнажает, привлекает и утаивает», и, как кажется Мопассану, это в полной мере определяет манеру поведения женщины на земле.

Сказать по правде, все, что он увидел в Италии, укрепило в нем ироничное и сумрачное представление о человеческом состоянии. Он не так уж много прочел в своей жизни, да и вообще не считал необходимым целенаправленно заниматься самообразованием – ему хотелось, чтобы его пером водил инстинкт, а не размышления, а что касается философии, то с него достаточно мрачных теорий Шопенгауэра. Мопассан недвусмысленно заявлял, что видит в этом знаменитом немце своего учителя мышления и что сам Вольтер рядом с этим гением – не более чем карлик, способный только на мальчишечьи сарказмы. «Шопенгауэр, – говорил Ги, – заклеймил человечество печатью своего презрения и разочарования». Кроме того, он испытывал также глубокое восхищение Гербертом Спенсером, проповедовавшим убеждение, что любое знание имеет свои пределы и что наука – не более чем обман и надувательство. Это двойное интеллектуальное воздействие ощущается в большей части творений Мопассана. Но вот еще один момент, покоривший его в мышлении Шопенгауэра, а именно – мнение философа с берегов Рейна о женщине как о существе низменном, вздорным,

коварном, скрытном, пользующемся своею слабостью и своими прелестями для порабощения мужчин. Для Мопассана, как и для Шопенгауэра, женщина – неизбежный враг, которого ни объехать, ни обойти. А раз так, то надо использовать ее и властвовать над нею. И ни в коем случае не поддаваться на ее ласки, что непременно приведет к преданности ей, а то и рабству. Всякому мужчине в своих отношениях с любовницей или законною супругою надлежит выбрать между хамским отношением, каковое спасет его, или пониманием, которое его погубит. Таково мнение «Милого друга» во всей красе.

По мере приближения даты выхода книги в свет Ги чувствовал все возрастающее беспокойство по поводу того, какой прием ожидает его малосимпатичного героя. Когда роман поступил в продажу, его автор еще находился в Риме; там он и узнал о первых откликах. Все журналисты как один ополчились на выхваченную из их собственной среды картину, написанную при помощи едкого купороса… Сознавая, что самым жестоким образом увеличил число своих недругов, Ги тут же пишет в свое оправдание письмо главному редактору «Жиль Бласа», где первоначально, в журнальном варианте, был опубликован «Милый друг»: «Создается впечатление, что мне хотелось, посредством выдуманной мною газеты „Французская жизнь“, подвергнуть критике, а то и устроить процесс надо всею парижской прессой. Если бы я подверг атаке настоящую большую газету, то те, кто сейчас дуются, имели бы все основания ополчиться на меня. Я же, напротив, предусмотрительно вцепился в один из тех листков сомнительного свойства, некий печатный рупор банды политических спекулянтов и любителей биржевых афер, ибо такие листки, к сожалению, существуют… Желая обрисовать мерзавца, я развивал его образ в среде, достойной его, чтобы придать этому персонажу большую рельефность… Но как можно было предположить хоть на секунду, что я помышлял об обобщении всех парижских газет в лице одной?» И, чтобы наилучшим образом разоружить своих хулителей, добавляет: «Став журналистом силою вещей, Милый друг пользуется прессой так же, как вор пользуется лестницей… Создается впечатление, что мне хотелось устроить судебный процесс надо всей парижской прессой… Это до того смешно, что я и впрямь не возьму в толк, какая муха укусила моих собратьев».

Несмотря на эти полные наивности протесты, опубликованные в журнале «Жиль Блас» 7 июня 1885 года, читатели принялись искать ключи к роману. Иные сходства казались лежавшими на поверхности. Так, директор газеты «Французская жизнь», в которой трудился Милый друг,

представлялся вылитой копией директора «Голуа» Артура Мейера. И журналисты, которые окружают его, скопированы с реальной действительности. Сотрудников «Жиль Бласа», «Шаривари» и «Грело» Мопассан сто раз встречал в конторах редакций и в кафе. Конечно, были среди них и настоящие писатели, но все-таки больше пройдох, готовых уцепиться за любую сплетню – на что только не пойдешь ради хлеба с маслом! Ярмарка хапуг, где доминируют профессиональная ревность и культ денег. Но горе тому, кто хотел бы вывести на чистую воду этих рьяных служителей текущего момента! Пора, думал Мопассан, вернуться в Париж и понаблюдать за тем, как расходится книга.

К счастью, отзывы критиков в общем и целом оказались хорошими. Хвалили жестокую правду повествования, рельефно вылепленные характеры героев, законченный тип отпетого канальства на службе холодного карьеризма. Правда, иные аристархи продолжали утверждать, что автор понапрасну окарикатурил мир прессы. Но эти толки более не волновали Мопассана. Он метил не в бровь, а в глаз – и угодил в самое яблочко! Одно только омрачило ему торжество: скончался Виктор Гюго, и эта смерть погрузила страну в ступор. Похороны национального масштаба, отдание последних почестей великому почившему отвлекли публику от других литературных событий. В гостиных и на улицах только и говорили, что об усопшем, который хотел, чтобы его отвезли на кладбище на бедном катафалке. «Насчет „Милого друга“ ничего нового, – писал Ги матери 7 июля 1885 года. – …Я из кожи лезу вон, чтобы активизировать продажу, но без особого успеха. Смерть Виктора Гюго нанесла ей страшный удар. Мы на 27-м издании, 13 тысяч экземпляров продано. Как я и говорил тебе, мы дойдем до 20 или 22 тысяч. Это весьма почетно, но и только».

Все же продажа книг мало-помалу набрала обороты, и на лицо Мопассана вновь вернулась улыбка. Удовлетворение его могло бы быть полным, если бы не острые приступы боли в правом глазу и в голове. Ко всему прочему, он все чаще бывал подвержен странному раздвоению – он как бы «выходил из себя», но не в переносном, а скорее в *буквальном* смысле слова. «Случалось видеть, как он внезапно останавливался на середине фразы, устремив глаза в пустоту, наморщив лоб, как если бы слушал какой-то таинственный шум, – писал Франсуа Тассар. – Это состояние длилось лишь по нескольку мгновений, но, вновь беря слово, он говорил более слабым голосом и тщательно растягивал слова». Случаясь и такое, что, разглядывая себя в зеркало, Мопассан внезапно терял понятие о том, кто он такой

есть, и в изумлении задавал себе вопрос, кто этот чужак, который с таким недоброжелательством устремил на него взгляд в упор. Обеспокоенный обострением своих несчастий, он захотел пройди курс лечения в Шарль-Гийоне. Но… до отдыха ли было ему? Едва заняв номер в гостинице, он задумывает новый роман – «Монт-Ориоль», действие которого происходит как раз на курорте.

Наблюдая за жизнью курортников, делая заметки, прогуливаясь по окрестностям, Мопассан в то же время серьезно размышляет о своем искусстве и своей карьере. Своему корреспонденту Морису Вокеру, интересовавшемуся концепцией романа, автор отвечает с ученой уверенностью: «Мне кажется, для того, чтобы *творить*, не надо слишком много рассуждать. А нужно много наблюдать и размышлять об увиденном. *Видеть*: этим все сказано. И видеть правильно. Под выражением „видеть правильно“ я понимаю: видеть собственными глазами, а не глазами учителей. Оригинальность художника является сначала в малом, а не в большом. Шедевры строятся на незначительных мелочах, на обыкновенных (vulgaires) предметах. Нужно отыскивать в вещах такое значение, которое доселе не было открыто, и попытаться выразить его по-своему. Тот, кто удивит меня, говоря о булыжнике, стволе дерева, крысе, старом стуле, находится, конечно, на пути к искусству и будет способен, позднее, к работе над большими сюжетами…И затем, я думаю, надо избегать туманных вдохновений. Искусство суть математика, великие эффекты достигаются простыми и хорошо скомбинированными средствами…Я думаю, что талант есть не что иное, как длительное размышление, так как дарован он людям, которые обладают умом… Но прежде всего, прежде всего – не подражайте, не вспоминайте ничего из ранее прочитанного; забудьте все, и (я сейчас выскажу вам чудовищную мысль, которую нахожу абсолютно верной) – чтобы стать вполне личностным, не восхищайтесь никем!»[65]

…Отправив это письмо, Ги подумал с тоскою о своих собственных литературных дебютах. Настал ли его черед самоутвердиться в глазах молодых? Какой путь пройден с тех пор, когда, не имея уверенности в своем будущем, он жадно внимал советам дорогого великого Флобера!

Глава 12
Воздух салонов и воздух просторов

Вознесенный успехом, Мопассан расширяет круг своих светских знакомств. Среди всех женщин высшего общества, которые выражали ему свое восхищение, наиболее близкой к себе он почитал Эрмину Леконт де Нуи. Супруга французского архитектора, делавшего блистательную карьеру в Румынии, Эрмина отказывалась жить со своим супругом в Бухаресте и пребывала в любовном томлении, усугубленном разлукой. В этом браке у нее был маленький сын Пьер (впоследствии ставший видным биологом), которого она окружила заботой, но который один не мог скрасить ей одиночество. Она была соседкой Мопассана по Этрета – здесь у нее была вилла, называемая «Ля Бикок». Эрмине льстила почтительная привязанность, которую он ей выказывал. По его словам, ей был присущ гений дружбы. Нигде не чувствовал он к себе такого доверия, как подле нее. Но, помимо гениальной способности к дружбе, эта очаровательная легкомысленная блондинка обладала характером, дерзостью и отличалась вкусом к словесности. Она читала своему Ги вслух, когда тот особенно страдал глазами. Растянувшись на диване, в полумраке, он с наслаждением слушал из уст Эрмины строки переписки Дидро с мадам Войян, мадам Лепинасс и мадам д'Эпинэ. «Как-то раз, – вспоминала Эрмина, – Мопассан позабавился тем, что сочинил, взяв за модель песенку мадам дю Деффан, девять неплохих куплетцев, наполненных изысканным комизмом». Правда, время от времени она бывала шокирована скабрезными шутками Ги и все-таки относилась без презрения к посягательствам своего друга на ее стыдливость. Поначалу привязанность, которую она выказывала этому знаменитому писателю с рыцарственными манерами, носила чисто платонический характер. Она была слишком влюблена в своего находившегося в почтительном отдалении мужа, чтобы открыть себя еще какому-то соблазну. Но мало-помалу отношения между нею и Ги становились все теснее. Она принимала его все с большим кокетством и со все возрастающей признательностью. Он занял в ее существовании такое место, что много позже она поведает об их отношениях в анонимно опубликованном романе «Любовная дружба» и в книге воспоминаний «Глядя, как проходит жизнь».[66] Поначалу она, находясь с глазу на глаз с Мопассаном, колебалась между соблазном уступить ему и удовольствием посопротивляться. Неисправимый юбочник и волокита принял

правила игры, упоенный тщеславным чувством, что наконец-то отмечен женщиной, стяжавшей репутацию недоступной. «Протяните мне Ваши руки. Я облобызаю Вам также и ножки», – писал он ей. Осмеливался ли он зайти дальше? Ничто не позволяет утверждать это. Представляется даже, что эта идиллия, столь важная в жизни Эрмины, была для него некоей передышкой между двумя более банальными и более существенными приключениями.

Чем еще занимается он в Этрета, помимо флирта с соседкой? Охотой. Он прямо-таки балдеет от этих охотничьих походов на заре, в холоде и тумане, с согбенной спиной, руками в карманах и ружьецом под мышкой. «Мы… шагали совершенно бесшумно – наша обувь была обмотана шерстяными тряпками, чтобы не скользить на речном льду. Взглядывая на собак, я всякий раз видел белый пар их дыхания» – это строки из новеллы «Любовь». В этой же новелле он с тонкостью анализирует свою охотничью страсть, сопоставимую разве что со сладострастьем плотским: «Я унаследовал все инстинкты и страсти первобытного человека, охлажденные здравым смыслом и чувствами человека цивилизованного. До безумия люблю охоту, и, когда вижу окровавленную дичь, когда вижу кровь на ее перьях и кровь на своих руках, сердце у меня начинает так бешено колотиться, что темнеет в глазах». О да, ему была присуща исконная жестокость, берущая свое начало в глубинах годов; жестокость как по отношению к покоряемой им женщине, так и к убиваемой им дичи. Эта доходящая до степени садизма жестокость является в очень многих его новеллах – будь то сюжет о трагической смерти девочки («Маленькая Рок»), или о гибели осла от рук двух идиотов («Осел»), или о мученической смерти женщины, заживо сожженной ревнивым мужем («Вечер»). Эти описания проникнуты неким варварским лиризмом, торжествующей пунктуальностью, от которой берет оторопь. Речь идет не просто о позиции рассказчика, который прибегает к подобным эффектам, чтобы встряхнуть апатичную публику. В жизни, как и в словесности, он способен быть то жалостливым, то яростным, то деликатным, то грубым. Он подтверждает это в своих письмах с очевидною искренностью. «Мне больше всего нравится стрелять в пролетающую птицу, – признается он в письме к г-же Стро (Straus),[67] – хотя, видя, как она умирает, я сожалею, что убил ее. Иду дальше, преследуемый угрызениями совести, а перед глазами стоит бьющаяся в агонии птица. И вновь стреляю. Так я всегда веду себя вдали от людей и событий. Мне кажется, что здесь я чувствую жизнь сильнее и грубее, чем в городах, где общение с себе подобными уводит, отдаляет человека от жестокой близости

природы…Надо чувствовать себя с такой силой, чтобы каждое ощущение потрясало тебя до основания, как потрясает землю вулканический толчок». Кстати сказать, Мопассан одинаково счастлив в этом слиянии с природой как за городом, так и на морских просторах. Он питает самый настоящий культ возделанной земли, деревьев, диких тварей, движущейся воды. «Мои глаза, открытые, словно голодный рот, пожирают землю и небо, – пишет он в „Жизни пейзажиста“. – Да, я искренне и глубоко чувствую, что поглощаю своим взглядом мир и перевариваю цвета, как переваривают мясо и фрукты».

Все же после стольких недель одиночества и шатаний, требовавших значительных физических усилий, Мопассан не прочь возвратиться в Париж. Там он все с тем же сладостным отвращением (écoeurement délectable) бросается с головой в роскошные салоны, театральные вечера и литературные обеды. Вскоре он открывает для себя царствующее над Парижем еврейское интеллектуальное общество и находит его привлекательным. 25 ноября 1885 года Эдмон де Гонкур заносит в свой дневник: «Еврейские женщины высшего общества сейчас большие любительницы чтения, и они одни читают – и осмеливаются в том признаться – молодых талантливых авторов, которых позорит Академия». И впрямь, несколько богатых семей племени Израилева, нажившихся в период Второй империи, принимали в своих пышных жилищах артистов, писателей, журналистов, знаменитых адвокатов и антикваров – словом, всю публику такого рода, что была в городе. Проявив внимание к этому феномену, Ги вдохновился им, чтобы живописать в романе, над которым он в то время работал, коварные махинации финансиста-еврея по имени Вильям Андерматт. «Еврейская раса, – пишет Ги, – пришла к часу мщения. Раса угнетенная, как французский народ до Революции, теперь готова подвергнуть угнетению других силою золота» («Монт-Ориоль»). Как и большинство современников, он испытывает бессознательное отвращение к этим делягам-воротилам, которые после того, как были длительное время отстранены от власти, утвердили свой успех в финансовой, политической и культурной областях. Вместе с тем в противоположность глобальному антисемитизму Дрюмонта, возгласившего с полос «Еврейской Франции»: «Все исходит от еврея и все возвращается к еврею», антисемитизм Ги куда более тонкий, робкий, избирательный. Его презрение направлено по преимуществу на тех, кто ворочают огромными капиталами и проводят спекулятивные операции то в одной, то в другой стране, – всех этих Ротшильдов, Перейров, Фульдов… Но при том что он осуждает их за страсть к златому тельцу и жажду

гегемонии, он ослеплен их женщинами. Коренной нормандец, он втихую смакует тайну еврейских красавиц, которые кажутся ему явившимися с иной планеты, из иной цивилизации. Находясь рядом с ними, он чувствовал, будто отправился в дальние края, хотя никуда не уезжал из Франции. Не кровь ли ведьм течет в их жилах? Так что они вполне заслуженно ходят королевами сей Третьей республики с самого ее младенчества и устраивают сговоры с целью назначения министра или избрания академика.

Самой пленительной из этих дочерей Сиона показалась ему Мария Канн, происхождения малороссийского.[68] Она была сестрой мадам Каэн д'Анвер и жила в элегантном особняке маршала Вийяра по адресу: рю де Гренель, 118. Там, в этих роскошных гостиных, встречались такие важные особы, как Поль Бурже, профессор Видаль, Эдмон де Гонкур, живописец Боннар, аббат Мюнье и Эдмон Ростан. Очаровательная брюнетка с ослепительно белой кожей, Мария Канн была преисполнена мечтательной апатии, перед которой Ги решительно не мог устоять. Да только ли он! Возвратившись с одного из обедов у Марии Канн, Эдмон де Гонкур записал 7 декабря 1885 года в свой дневник: «Троица слуг, выстроившаяся на лестнице, высота сих двойных дверей, огромные размеры комнат, анфилада гостиных, обитых шелком, говорят вам о том, что вы – в жилище израэлитского банкира… На диване небрежно расселась мадам Канн с кругами под огромными глазами, полными сумеречного томленья; кожа оттенка чайной розы, черная родинка на скуле, насмешливо загнутые кверху уголки губ, обширное декольте, обнажающее белизну лимфатической груди, ленивые ломаные жесты, которые порою словно охватывает лихорадка. Эта женщина обладает совершенно неповторимым шармом – умирающим и ироничным одновременно (charme à la fois mourant et ironique tout à fait singulier), к которому примешивается свойственная русским прельстительность, интеллектуальная порочность в глазах и простодушное щебетанье… А впрочем, если бы я был по-прежнему молод и по-прежнему искал любовных похождений, я желал бы от нее одного лишь кокетства: мне казалось, что, если бы она мне отдалась, я испил бы с ее губ, с ее уст толику смерти. Порою она так стискивает себя руками, что у меня возникает мысль о теле, лежащем спеленутым в гробу». В этот вечер разговор и впрямь носил погребальный характер. Зашла речь об утопленниках, выставленных в морге. И тут же Мопассан пустился в полные реализма рассказы о мертвецах, которых он выловил в Сене. Чтобы заставить содрогнуться дам, он рассказывал об этом во всех ужасающих подробностях. Эдмон де Гонкур, который с недоброжелательством наблюдал за ним,

догадался, какую он ведет игру, и записал: «Он (Мопассан) растекается мыслью по *ка́ше* (bouillie), *папье-маше*, смакует омерзение, вызываемое этими мертвецами, с преднамерением – и это очень чувствуется – воздействовать на мозг присутствующих здесь молодых женщин и навязать им свою персону рассказчика, наводящего страх и загоняющего в угол кошмаром». Сидя на стуле, «улыбчивая и напуганная, и восхитительно умирающая» (adorablement crevarde) Мария Канн не сводила глаз с этого гостя с могучими плечами, который самым откровенным образом говорит о самых деликатных вещах и о котором ходит слух, что в деле удовлетворения женщин ему равных нет. У нее был легкий флирт с изящным Полем Бурже; так, может, стоит отдать предпочтение бодрому бычку из Этрета? Поставив этот вопрос, она все же предоставила времени решить его. Что касается Ги, то он, с одной стороны, очарован меланхоличной и болезненной Марией Канн, с другой – проявляет интерес (в большей степени интеллектуальный) к другой женщине из высшего еврейского общества, Женевьеве Стро (Straus).

Дочь композитора Фроменталя Алеви, автора оперы «Еврейка», она была замужем за Жоржем Бизе; овдовев в 1875 году, она вышла замуж вторым браком за адвоката Эмиля Стро. Вряд ли можно было назвать ее красавицей с точки зрения классических канонов, но ее прямой взгляд, искрометный ум и широта культуры заставляли забыть о неправильности ее черт. По мнению Эдмона де Гонкура, у нее «темперамент мужчины» и она не потерпит, чтобы кто-то пытался «смирить» ее. У этой лесной нимфы Мопассан встречался с многочисленными молодыми людьми, посвятившими себя перу, – среди них были Даниэль Алеви, Фернан Грег, Робер де Флерс, Луи де ля Саль и робкий лицеист по имени Марсель Пруст. Этот последний еще вспомнит Женевьеву Стро и ее благоверного, живописуя графа и графиню да Германт в романе «В поисках утраченного времени».

Поначалу Мопассану хотелось только не ударить в грязь лицом в этом, таком парижском, салоне, хозяйка которого имела такое поразительное влияние на критиков. Чтобы увереннее покорить ее, он просит ее о великой милости – свидании тет-а-тет. «Я буду крайне неосторожен и крайне эгоистичен, – пишет он госпоже Стро. – Не будет ли возможным хоть иногда видеться с Вами у Вас дома – только не в те часы, когда у вас светское светопреставление! Если Вы находите меня назойливым, так и скажите. Я не обижусь. По большому счету, эта просьба более чем скромная – единственное, в чем ее недостаток, так это в том, что она заявлена не в стихах. Так прямо скажем, разве не естественно, чтобы я просил тех женщин, чьему соблазну поддался, о

возможности видеться с ними почаще и наедине, чтобы лучше наслаждаться ими, чтобы лучше вкушать их шарм и грацию? Я люблю приходить, когда чувствую, что меня ждут, когда глядят на меня одного, когда слушают меня одного и когда я в одиночку любуюсь Вами, прекрасной и очаровательной, и обещаю Вам, что надолго не засижусь… Вы, конечно, подумаете, что еще не вполне хорошо меня знаете и что я вскорости буду умолять о привилегиях интимной близости! Что мне за прибыль в том, если я буду дольше ждать? Да и с чего бы? Мне теперь ведомы Ваши чары, я знаю, как я люблю, как мне нравится и как мне и далее ежедневно будет нравиться природа Вашей мысли». И в завершение сей неисправимый женоненавистник снисходит до более уважительного заявления в отношении слабого пола: «Я считаю, что женщина суть *владычица*, имеющая право делать исключительно то, что она захочет, выполнять все свои прихоти, предлагать к исполнению все свои фантазии и не терпеть ничего, что было бы для нее причиною беспокойства или скуки».

* * *

Позже он даже пригласит Женевьеву Стро на дружеский ужин к себе на рю Моншанен. «Знаю, что отнюдь не принято, чтобы женщина приходила на обед к парню, – писал он, – но я что-то не вполне понимаю, с чего это должно шокировать, если женщина встретит там других знакомых женщин? Ну, а если я вручу вам список всех персон, которые приходят ко мне обедать и ужинать – хоть в Каннах, хоть в Этрета, хоть здесь (в Париже. – *Прим. пер.*), Вы найдете его достаточно длинным и **полным достойных имен.** (Выделено в тексте. – *Прим. пер.*) Право, мадам, Вы меня очень осчастливите, приняв мое приглашение, я обещаю Вам не посылать в „Жиль Блас“ репортажа об этом обеде» (письмо 1887 г.). Эта ссылка на множество «достойных имен» и ироничное обещание не впутывать в это дело журналистов из «Жиль Бласа» говорят о рассчитанном снобизме Мопассана: он методично завоевывает столицу при посредстве нескольких светских женщин. Эрмина Леконт де Нуи, Эммануэла Потоцкая, Мария Канн, Женевьева Стро – какой очаровательный квартет за его спиной! Все они были в большей или меньшей степени влюблены в него, служили его реноме, но не останавливались перед тем, чтобы иной раз сыграть с ним дурную шутку. «Праздные дамы и мужчины, – писал Леон Доде, – с удовольствием открыли для себя эту новую голову нормандского турка – такого страстного, что вскипает кровь, помешанного на катании на лодках и

демонстрации мускулов; все забавлялись тем, что рады были посадить его в самую дырявую калошу».[69]

Так, однажды мадам Каэн д'Анвер, пригласив Ги на обед, передала ему через друзей, чтобы он явился одетым в красное. И что же? Переступив порог гостиной, он увидел, что все прочие сотрапезники одеты в черное… Все вокруг принялись прыскать со смеху. Надо ли говорить, как для него испорчен был вечер!

Между тем Женевьева Стро становилась все более чувствительною к ухаживаниям, которыми щедро одаривал ее этот неотесанный мужлан и гениальный писатель в одном лице. Эдмон де Гонкур даже был убежден в том, что молодая женщина готова была бы все бросить ради Мопассана, если бы он высказал свое желание с большей настойчивостью. И дает в своем дневнике несколько возвышенный портрет этой загадочной и энергичной молодой особы: «Одетая в мягкий и пышный халат из светлого шелка, отделанный сверху донизу большими петельками с помпончиками, она лениво забилась в глубокое кресло; ее ласковые глаза черного бархата были подвижны, словно в лихорадке, а вялые позы исполнены кокетства. На коленях у нее была черная собачонка Виветта, у которой на лапках были коготки, как у пташки». В этот день она вела преисполненный меланхолии разговор о любви – по ее словам, после обладания друг другом редко случается, чтобы двое влюбленных любили друг друга равною любовью. Месье слушали ее с возбужденным интересом. И Мопассан, надо полагать, не с меньшим, чем все другие. Эдмон де Гонкур ненавидел его и за успех у женщин, и за многотиражный писательский успех. «Ну почему это в глазах некоторых людей Эдмон де Гонкур – всего лишь джентльмен, дилетант, аристократ, для которого литература – только игрушка, а какой-нибудь Ги де Мопассан – истинный homme de lettres? – с яростью писал он. – Почему так, скажите мне по совести?» (Запись от 27 марта 1887 г.) Скажем прямо, озлобление Гонкура было столь велико, что он всю жизнь станет бичевать вульгарность, безумную гордыню и раздутый талант своего соперника. Он будет утверждать, что «Мопассан – это Поль де Кок сегодня» (le Paul de Kock de temps présents), что его проза – не более чем расхожая копия, принадлежащая всему свету, что он постыдно пресмыкается перед шикарным светом, что, принимая посетительниц, он выставляет напоказ свое мужское достоинство, на коем тщательно выписал язвочки, чтобы сильнее напугать, – и наконец, что слава Мопассана оркестрована его еврейскими подружками. «Успех Мопассана *у шлюх* (femmes putes) из высшего общества подтверждает их канальский вкус, – писал он, чтобы окончательно раздавить того, кого считал завзятым

карьеристом. – Никогда не видел у светского человека такого румянца, таких простецких манер, такого плебейского сложения (une architecture de l'être plus peuple) – и при этом он рядится в одежды, словно явившиеся из „Прекрасной садовницы", а шляпы непременно надвигает на самые уши. Светские женщины решительно любят красавцев, обладающих *грубой* красотою» (запись от 3 июля 1893 г.). И еще: «Еврейское общество оказалось пагубным для Мопассана и Бурже. Оно сделало из этих двух умных существ **негодяев от пера** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*), наделив их всею ничтожностью, присущей этой расе».

Однако Мопассан ничуть не чувствует себя скомпрометированным тем, что вращается в свете. Более того, он даже видит в этом одну из причин того, что его карьера идет по нарастающей. По мнению Жака-Эмиля Бланша, автора «Жизни» заваливали пудами приглашений. «Когда кто-то из друзей приглашал его отобедать, Ги де Мопассан доставал важно, как доктор, маленький блокнот с золочеными уголками и записывал приглашение на достаточно отдаленное число», – писал он.

С какой же легкостью отдалился Ги от своего семейного окружения! С его точки зрения, отцу и брату, прозябающим в серости и в посредственности, следовало бы завидовать его успеху. Он любит их, но не чувствует нужды ни ставить их в известность о своей жизни, ни сколько-нибудь регулярно самому узнавать новости о них. Время от времени мать сообщала ему о праздной и бесцветной жизни Эрве, и этих редких вестей ему было достаточно. В порыве тщеславия Лора высказала ему всю свою нежность, все свое восхищение исключительным писателем, который силою чудес явился на свет из ея чрева, – и, по ее собственному признанию, это высшая награда в жизни женщины. Между тем здоровье Ги оставляло желать много лучшего, и мать беспокоилась, не от нее ли унаследовал он свои нервные нарушения. Поэт Танкред Мартель, встречавшийся с Мопассаном на парижских Больших бульварах, отмечал, что он разговаривал как-то странно, словно что-то снедало его изнутри. «Его смуглый оттенок кожи, куцые усы, медленный ленивый шаг придавали ему вид солдата колониальных войск, уставшего от долгого пребывания на солнце или злоупотребляющего наркотическими зельями. Его взгляды пронзали презрением к окружающим». А романист Морис Тальмейр даже утрирует: «В его глазах всегда была все та же тоска, от которой они казались остекленевшими, и тоска эта становилась все более сумрачной, все более безутешной, все более стекленящей, и он говорил мне, отведя в сторону: „Вот, милый мой друг, где я нахожусь… Я кончен!"»

Пытаясь бороться с такой хандрой, которую приписывал

бесцветному городскому существованию, Ги вдруг решил удрать из Парижа и вдохнуть полной грудью воздух просторов. И вот он уже в Антибе, где нанимает виллу «Ле Боске» – милый провансальский дом с зелеными ставнями, принадлежавший морскому офицеру Морису Мютерсу. Мать писателя жила с сыном вместе. Недужная женщина существовала от мигрени к мигрени, но не сдавалась: ее мысль была такою же живой, а поведение делалось все более авторитарным. Она любила прогуливаться с сыном в саду, при бледных лучах скупого осеннего солнца, и слушать его рассказы о литературных проектах, трудах и похождениях. Успехи Ги у женщин льстили ей и забавляли ее. О чем бы ни спросил ее сын, она всегда с уверенностью высказывала свое мнение. И, слушая ее, он говорил себе, что после ухода из жизни Флобера она оставалась единственной точкой опоры, единственной, к кому он мог обратиться за поддержкой в своей такой беспутной жизни.

Каждое утро Ги усаживался за стол и пускался в работу над своим новым романом – «Монт-Ориоль». Ко всему прочему у него с некоторых пор появилось превосходное средство развлечения, к которому он охотно прибегал посреди своих литературных занятий: красивая 11-метровая яхта водоизмещением 9 тонн. Писатель приобрел ее у своего собрата по перу Поля Соньера и, как и следовало ожидать, окрестил ее «Милый друг». На этой яхте с изящным корпусом и впечатляющим парусным вооружением имелось четыре спальных места для пассажиров, а всего судно могло взять на борт восьмерых. Экипаж состоял из двух морских волков – Бернара и Раймона. «Капитан Бернар был тощ, гибок, удивительно чистоплотен, заботлив и осторожен, – так охарактеризует его Мопассан в одной из новелл. – У него была борода по самые глаза, сиявшие добрым взглядом, и добрый голос… Но в море все беспокоило его – и внезапно возникшее волнение, которое вызывал летящий над открытым морем бриз, и распростершаяся над Эстерелем туча, свидетельствующая о мистрале на западе, и даже растущие показания барометра, которые могли свидетельствовать об урагане с востока». Что же касается Раймона, то «это был сильный, смуглый и усатый парень, неутомимый и смелый, столь же преданный и честный, как и другой, но не такой подвижный и нервный, более спокойный, более покорный сюрпризам и коварствам моря».

Всякий раз, поднимаясь на борт своей яхты, Мопассан испытывал прилив гордости. Он любовался палубой, обитой панелями из тика, надежным такелажем, массивным штурвалом из красной меди и наслаждался размышлениями о том, что все это он оплатил своим писательским трудом. Вся эта прелестная

игрушка – от киля до верхушки мачты – явилась символом его успеха. Еще не забрезжил рассвет, а Бернар уже спешит к вилле Мопассана и бросает в окно горсть песку, чтобы разбудить хозяина. И тут же Ги, совершив свой утренний туалет, стремился в порт. Занималась заря. Бледнели звезды. Вдалеке выходили из тени Альпы, окрашиваясь в розовый цвет. Маяк Вильфранша еще бросал на поверхность моря свои пучки света, затем угасал. Находясь между небом и водой, Мопассан упивался одиночеством, свободой и союзом с ветром и волной. Это безмолвное скольжение приносило ему такой глубокий, такой стихийный душевный покой, что ему даже не хотелось открывать новые берега. Его круизы ограничивались портами побережья, как-то: Вильфранш, Ницца, Канны, Сен-Тропе, Марсель, иногда – Портофино… Когда же он возвращался в Антиб, то бывал преисполнен впечатления, что свежая морская вода очистила ему мозг.

В декабре он покидает виллу «Ле Боске» и переселяется в «Шале дез Альп» по дороге на Бадин. Оттуда, с вершины, писатель мог наслаждаться распростершейся вдали цепью гор, а поближе – Антибом и вобанскими укреплениями. Когда дул добрый бриз, Бернар поднимал над виллой флаг владельца и устраивал выход в море. Когда же погода оставляла желать лучшего, Мопассан утешался тем, что упражнялся в стрельбе. И как-то раз он даже нанес визит жившему по соседству брату Эрве, который кое-как остепенился и создал в Антибе при помощи субсидий брата сельскохозяйственное предприятие.

19 января 1886 года Эрве решился и взял в законные супруги юную девицу из окрестности Грасса по имени Мария-Тереза Фантон д’Андон. Этот союз озадачил Мопассана. Не пристало ли и ему вот так же взять и решиться? Он так и поведал обо всем без утайки своему камердинеру. Но это было не более чем идеей, витавшей в воздухе. Идеальное существо суть выдумка импотента, говорил он сам себе. Никакая женщина не заслуживает того, чтобы связывать с нею свою судьбу на всю жизнь. Неспособный остановиться на какой-то одной, он искал утешения в том, что меняет партнерш как перчатки.

Если он находит некое удовольствие в светских галантностях, так только с тем условием, чтобы тут же, как бросаются в омут, пуститься в шашни с самыми отъявленными потаскухами. Его поклонение Приапу беспокоило Поля Бурже. Как-то раз Мопассан пригласил его позаниматься любовью с одной из своих метресс, которую замаскировал по такому случаю. Как он сам утверждал, это супруга одного из преподавателей университета, которая не хочет, чтобы ее узнали. И вот она является с черною полумаской

на лице и раздевается одним движением руки. При виде этого в одно мгновенье ока обнажившегося тела оцепеневший Поль Бурже также скидывает с себя все… На это женщина зычно кричит… Кому бы вы думали? Мопассану! «Ко мне, мой фавн!» – и бросается на своего возлюбленного, касаясь его алчными устами… Бедному Бурже ничего не оставалось, как забиться в угол и в смущении наблюдать за сценою дикого плотского разгула. Вскоре после этого к Мопассану заявился Катулл Мендес со своей подругой для четверного «поединка». «И тогда, – рассказывал Поль Бурже Эдмону де Гонкуру, – все четверо пустились в жуткую оргию, под занавес каковой жена университетского профессора, впав в истерический кризис, бросилась в соседнюю комнату за принадлежащим Мопассану револьвером и пульнула в обоих кавалеров; пытаясь разоружить ее, Мопассан был ранен в руку. Именно эту рану Мопассан, которого я как-то вечером встретил на железной дороге, выдал мне за ранение, нанесенное супругом, которого он как раз бесчестил». (*Гонкур.* Дневник. Запись от 1 ноября 1892 г.)

Означенные всплески сексуального разгула обыкновенно практиковались в периоды пребывания Мопассана в Париже или Этрета. Зато в Антибе он ведет почти что монашеское существование. «Что сказать вам о здешней жизни? – пишет Мопассан Эрмине Леконт де Нуи. – Плаваю на яхте и, главное дело, работаю. Я пишу историю страсти (Монт-Ориоль. – *Прим. авт.*), очень экзальтированную, очень бодрую и очень поэтичную. Это и меняет меня, и приводит в замешательство. Главы, посвященные чувствам, правились куда больше остальных. Но, как-никак, дело идет. Стараешься со всем прилежанием» (письмо от 2 марта 1886 г.). Несколько месяцев спустя он пишет все той же адресатке: «Я живу в абсолютном одиночестве. Работаю и плаваю на яхте – вот вся моя жизнь. Я никого, никогошеньки не вижу ни днем, ни ночью. Я погружен в ванну отдыха, тишины, в ванну прощания. И вовсе не знаю, когда вернусь в Париж» (ноябрь 1886 г.).

Бывало, он по нескольку дней кряду не выходил из своей комнаты, затворив ставни, чтобы дать отдых глазам. Потом усаживался за письменный стол и снова рьяно брался за работу. За истекший год он опубликовал десятка три новелл и хроник, а также предисловие к «Манон Леско». 16 января 1886 года поступает на прилавки книжных магазинов сборник новелл под заглавием «Туан». Так как в привычке Мопассана было менять издателей, чтобы разделять риски и с большим авторитетом царствовать в своей профессии, то на сей раз он обратился к Марпону и Фламмариону. Месяц спустя еще один сборник новелл

– «Мосье Паран» – увидел свет у Оллендорфа. В конце мая отличился Авар, пустив в продажу сборник «Маленькая Рок». Экземпляр этого сборника Ги послал графине Потоцкой, снабдив такой вот двусмысленной надписью: «Посвящение от незнакомца».

Несмотря на то что книгами Мопассана были завалены полки всех книжных магазинов, спрос не снижался – успех был налицо! Критика воздавала хвалу бурной эмоциональности и бодрому и сдержанному стилю автора. Публика с изысканной дрожью бросалась в гущу населявшей страницы этих книг разномастной фауны, где сметались в кучу пейзане и проститутки, светские львицы и психически неуравновешенные типы. По общему мнению, мало кто из писателей обладал подобным даром проникновения в гущу природы и хитросплетений человеческой души. Все представлялось правдивым в этих страницах, которые, казалось, были написаны на одном полете пера. Сознавая тот невероятный ажиотаж, который он вызвал среди читателей, Мопассан лелеет свою публичность, направляет отклики в прессу, ведет строгий счет продажам и тормошит издателей, тянувших с оформлением его авторских прав. Страстно охочий до денег, решительный в делах, он постоянно страшится, что его обжулит кто-то, кто похитрее. Когда же его охватывали сомнения по поводу правильности контракта, он консультировался у адвокатов, в частности у мосье Эмиля Стро – супруга соблазнительной Женевьевы.

Кстати сказать, Мопассан прекрасно осознавал, что своею литературною известностью и успехом у женщин он стяжал себе многочисленных врагов среди собратьев по перу. Приходя на встречи к Гонкурам на чердаке особняка «Отей», посещая писательские обеды, он повсюду угадывал за приветливыми лицами ревность, а порою и ненависть. В мае 1886 года, едва вышел в свет сборник новелл «Маленькая Рок», молодой хроникер и романист Жан Лоррен пустил в свет роман под названием «Très Russe» («Русская из русских»)… Означенный Жан Лоррен, чье настоящее имя было Поль Дюваль, был в детстве товарищем Эрве по играм в Этрета, и не раз Ги, который был старше и того и другого, пугал их, закутываясь в простыни и изображая привидение. На сей раз Жан Лоррен устроил фарс Мопассану. Неисправимый гомосексуалист, страстный ходок как по салонам, так и по кабаре низкого пошиба, робкий приятель Эрве сделался несносным рассадником сплетен. Читая его книжицу, Мопассан задыхался от гнева. В гротескном образе писателя Бофрилана он узнавал самого себя. Герой романа по имени Мориа завидует этому фату. «Я ревную, – говорит он, – к его бицепсам, которые он

по три часа в день упражняет гантелями, чтобы эпатировать женщин, ревную к его атласным шляпам… Истинный труженик пера, который сам себя заклеймил и в Париже, и в провинции, и за границей». Развивая свою карикатуру, Лоррен ехидничает: «Его прошлое было полно истерическими старухами, альковными грешками с синими чулками, любовными страстями горячего самца – как он хвалится, что он таков! Это – образцовый жеребец, литературный и пластичный, из той же великой упряжки, что и Флобер, Золя и Сю, победитель всех состязаний Цитеры и прославленный до самого Лесбоса, одержавший верх как в схватках, так и вне таковых». Тупой и хвастливый, Бофрилан – сиречь Мопассан – терпит насмешки от женщины, в которую влюблен Мориа, русской авантюристки мадам Литвинофф. Думая, что он улегся с нею, незадачливый ловелас в действительности проводит ночь с ее служанкой, тогда как Мориа в объятьях своей метрессы смеется над тем, как жестоко подшутил над собратом. Убежденный в том, что в этом тупице весь Париж узнает не кого другого, а его, Мопассан решил вызвать этого наглеца Жана Лоррена на дуэль. В качестве оружия он выбрал, разумеется, пистолет, во владении которым был непревзойденным мастером. Неважно, что при этом он презрел некоторые условности «поединков чести», ибо, по его собственному убеждению, «рамки дозволенной глупости» (выражение взято из предисловия к книге барона де Во «Стрелки из пистолета») в сей ситуации превзойдены вне всякой меры. У него теперь было только одно на уме – продырявить шкуру этого негодяя, который осмелился оцарапать его самолюбие! Та и другая стороны определились с выбором свидетелей. Но в тот же день струхнувший «бледный негодяй» ретировался и публично объявил, что образ Бофрилана – собирательный и «списан со многих индивидов; не так ли поступал и обиженный Мопассан, создавая своего „Милого друга“?» Скрепя сердце Мопассан принял извинения у этого педераста, который оказался к тому ж еще и трусом. «Он предпочел общаться со мною письменно», – сказал Ги презрительным тоном Эдмону де Гонкуру на обеде у принцессы Матильды. Но не останется ли какого-либо следа от этой перепалки в умах читателей и в особенности читательниц? Неважно, внезапно заявил Мопассан. Ему хотелось по-прежнему эпатировать мир, и для этого требовалось казаться все более циничным, разительным, провоцирующим. «Это был физический тип Второй империи, – писал Абель Эрман, – с квадратными плечами, незаметно переходящими в шею, жестами, как у борца (спортсмена. – *Прим. пер.*) или чернорабочего, и манерой держать голову, выражая решительность и инициативу». Порою, принимая

у себя на рю Моншанен очередное скопище светских дам, Ги устраивал им демонстрацию силы, хватая стул из массивного дерева – самый тяжелый, какой только был у него в заставленном тяжелою мебелью жилище, – поднимая его одною рукою, да еще одними пальцами. Кое-кого из дамочек сие приводило в экстаз… Мопассан пыжился вовсю, демонстрируя свой торс. Он чувствовал себя смешным и одновременно неотразимым. В нем смешались бестиальность и чувство сострадания, наивность и лукавство, комичность и искренность, мощный инстинкт и непробиваемая тупость. Как бы там ни было, дамам Мопассан нравился таким, как есть. И как бы он их ни презирал, тем не менее испытывал к ним головокружительное тяготение. В глубине души он желал бы не слишком поддаваться их чарам. Как он сам признается Эрмине Леконт де Нуи: «Я их не люблю; но они забавляют меня. Я нахожу с их стороны большим фарсом, когда они пытаются убедить меня, что я нахожусь во власти их шарма… А к каким только уловкам не прибегают они, чтобы удержать меня в этом убеждении! Одна из них дошла даже до того, что в моем присутствии не ела ничего, кроме лепестков роз…»

И даже в путешествии он ищет приключений – желательно мимолетных. Получив приглашение в Англию от барона Фердинанда де Ротшильда и явившись туда в августе 1886 года, Мопассан провел несколько дней у гостеприимного хозяина в его замке Уодсден в Хэмпшире, а оттуда направился в Оксфорд. Только вот погода оставляла желать лучшего. Свистел ветер, хлестал дождь, пассажиры дилижанса стучали зубами с холодрыги и подыхали с голодухи. Пьяный кучер осыпал пассажиров ругательствами. Когда же Мопассан ступил на мостовую этого старинного университетского города, исчезнувшего за потоками воды с небес, ему хотелось только одного – поскорее покинуть эту негостеприимную землю. Возвратившись в Лондон, он утешился тем, что посетил выставку восковых фигур в музее Тюссо и побывал на вечере в театре «Савой». Что более всего разочаровало его, так это то, что в ходе своих скитаний ему так и не удалось вкусить любви в объятьях истинной подданной Ея Королевского Величества. За неимением таковой он принужден был довольствоваться фламандкой из города Гента – красоткой с аппетитной грудью. Но в любом случае он был сыт по горло Англией, с ее климатом, ее музеями, ее суровыми нравами, и торопился возвратиться во Францию, оставив своему попутчику такую вот лаконичную записку: «Мне слишком холодно, этот город слишком холоден. Я покидаю его, чтобы возвратиться в Париж; до свидания, тысячу благодарностей».

В сентябре он уже снова был в Этрета, принимал друзей у себя в «Ла-Гийетт» и разделял с ними охотничьи радости. Но вот налетели осенние туманы, и он решил отправиться на юг. Там завзятому охотнику предстояло преображение в заправского морехода: его ждал заново выкрашенный «Милый друг» со своею верной командой из двух человек. Погода была столь чудесной, что Мопассан предпринял ряд многодневных прогулок по морю. Он даже нанес визит Марии Канн, находившейся в Сен-Рафаэле. Но вскоре ему пришлось вернуться в Париж, чтобы наблюдать за выходом в свет своего нового романа «Монт-Ориоль», над которым он трудился (с перерывами) полтора года.

Получив рукопись, издатель Авар воспрянул от восторга. «Я прочел ее в минувшую ночь на одном дыхании, залпом, и до сих пор пребываю ошеломленным, точно пораженный громом – так эта книга потрясла меня и перетряхнула мне душу, – писал издатель автору. – Заявляю вам, что эта книга – возвышенный и неувядаемый шедевр. Это – творение Мопассана во всем развитии и полноте его гения и полной зрелости его чудесного таланта» (письмо от 10 декабря 1886 г.).

Чтобы поведать эту историю, замешенную на деньгах, интриге и страсти, Мопассан задействовал все то, что мог наблюдать, находясь на курорте в Шательгийоне. С точностью и иронией, бьющими не в бровь, а в глаз, писатель живописует взлет термального курорта Анваль, патроном которого выступает банкир-ловкач еврейского происхождения Вильям Андерматт. Как характеризует его сам Мопассан, этот деляга походил на какую-то странную машину в человеческом облике, построенную исключительно затем, чтобы калькулировать, ловчить и направлять свой ум на манипулирование деньгами. Символ торжествующего капитализма, Андерматт преследует свою цель с безжалостным упорством, не отступая ни перед какой деструкцией, ни перед какой экспроприацией. Дела на курорте идут в гору, его воды привлекают все больше пациентов; на фоне этого, согласно трагической фатальности, деградирует любовь прекрасной блондинки Кристианы Андерматт и дамского угодника Поля Бретиньи. Узнав, что Кристиана беременна, Бретиньи, в рефлексе отвращения, отстраняется от нее. Таким образом, эхом финансовому успеху отзывается провал сентиментального приключения. И происходит вся эта мышиная возня, в коей участвуют и предприниматели, алчущие до наживы, и парочки, жаждущие любовных приключений, в атмосфере города на водах с характерными для такого места соперничеством среди врачей, толпами курортников и отупляющим образом жизни. От гостиниц к ванным заведениям,

от ванных заведений назад в гостиницы – вот и весь ритм жизни праздной курортной толпы. Охваченный неутолимой яростью, Мопассан злобно высмеивает всех этих существ, одни из которых заняты своим здоровьишком, другие – банковским счетом. Он бичует, поднимает на смех, мстит этим толстосумам из племени Израилева, этим буржуа с животами, как пивные бочки, этим аристократам, плывущим по течению. В этом бичующем смехе как раз и заключается лучшее, что есть в «Монт-Ориоле», – если психологическое исследование и сентиментальные перипетии в романе представляются несколько тяжеловесными, то сопровождающий их юмористический репортаж придает всему ансамблю жизнь и блеск.

Критика не дала маху – с самого начала грянул сплошной концерт похвал. «С легкостью, а главное, с удивительной ясностью Мопассан быстрым движением устремляет нас к развязке, при всей той многочисленности персонажей и разнообразии эпизодов» пишет Брюнетьер на страницах «Ревю Де Монд». «Ни один из наших видных молодых романистов не дал мне двойного ощущения человеческих комедии и трагедии – во всяком случае, в той степени, как это сделал Мопассан, – утрирует Альбер Вольф на страницах „Фигаро“. – Он обладает таким редкостным у писателя двойным даром умилять читателя и забавлять его, развлекать и побуждать к размышлению».

Подстегиваемая прессой, публика расхватывала новое сочинение неутомимого Мопассана «на доверии». Даже молоденькие подружки сочинителя – прелестницы из племени Израилева, – которых книга могла бы возмутить, и те не были строги с ним за то, что он окарикатурил их соплеменницу в лице госпожи Андерматт. Только Ротшильды встретили его холодно, так что он после этого несколько недель подряд не осмеливался появляться в их гостиных. Впрочем, они быстро простили его выходку балованного дитяти. Тома продолжали разлетаться с магазинных полок, как пух и перья на ветру. Двадцать пять изданий, выпущенных для Парижа, и тридцать восемь – для провинции были распроданы за два месяца. Но Авар, против всякой очевидности, жалуется на медленный ход продаж; по этому поводу Мопассан теребил его – заметим, не без юмора: «Я еще не получил мой счет, каковой, согласно нашей договоренности, должен быть у меня в первых числах месяца. Вы снова ставите меня в затруднительное положение» (письмо от 29 апреля 1887 года). Впрочем, говоря о своем «затруднительном положении», Мопассан, мягко говоря, лукавил. Что-что, а на кусок хлеба с маслом ему хватало. Авторские права приносили ему до 60 000 франков в год. По свидетельству отца писателя,

цитируемому А. Люмброзо, деньги Мопассан держал в одной парижской меняльной конторе и черпал оттуда по мере надобности.

Однако на гребне литературного и финансового триумфа Мопассана охватило вот какое беспокойство. Эдмон де Гонкур только что опубликовал первые три тома своего «Дневника». Читая сей опус, Мопассан пылал гневом – Гонкур предавал огласке самое доверительное, а также салонные сплестни, каковые и составляли соль публикуемого сочинения. Как и покойный Флобер, Мопассан держался мнения, что жизнь писателя должна пребывать под завесой тайны. К счастью, опубликованный текст охватывал только период с 1851 по 1870 год, когда Мопассан еще не имел сношений с автором. Ну, а как выйдут из печати следующие тома – не будут ли преданы огласке подробности их встреч, пикантные анекдоты и неуважительные суждения? Невзирая на такое предчувствие, Ги все же направил Гонкуру письмо, в котором поздравил с выходом книги, которую охарактеризовал как «полную литературного материала, новых, неожиданных идей, глубоких и любопытных наблюдений».

Эдмон де Гонкур был президентом комитета по сооружению памятника Флоберу в его родном городе. Однако за пять лет по подписке удалось собрать всего только 9 тысяч франков, тогда как скульптор требовал 12. Удивленный таким охлаждением чувств, хроникер из «Жиль Бласа» за подписью «Сантиллан» с иронией прокомментировал скупость друзей Флобера и упрекнул Эдмона де Гонкура в том, что тот не пожертвовал на столь благое дело ежегодную ренту в 6000 франков, полагающуюся ежегодно каждому члену будущей Академии.[70] Охваченный порывом щедрости, Мопассан написал в «Жиль Блас», что согласен с мнением Сантиллана, а что касается его самого лично, то он добавляет еще тысячу франков к тем суммам, которые уже пожертвовал. Однако сей жест не понравился Эдмону де Гонкуру, каковой расценил его как оскорбление в свой адрес. Он тут же, не сходя с места, объявил Мопассану, что подает в отставку с поста президента и что он только счастлив избавиться от хлопотного дела, в котором ему слишком часто приходилось быть «только орудием выполнения чужих пожеланий, которые не всегда совпадали с его собственными». Перед лицом таких серьезных событий отдыхавший в Антибе Мопассан вскочил в поезд, следовавший на Париж, и предстал пред очами разгневанного Эдмона, который принял его с холодком. Наконец после долгих объяснений, дружеских протестов и извинений со стороны виновного «президент» взял назад свое заявление об отставке. Тем не менее он пометил в своем дневнике, что если и

капитулировал, так только из-за собственной бесхарактерности, трусости и нежелания докучать этим делом публике. В тот же вечер, увидев Мопассана у принцессы Матильды, он в гневе завершил: «Вот характерное определение индивида, которое я искал так долго: это – образ и тип молодого нормандского барышника» (Дневник, 2 февраля 1887 г.).

Не сознавая презрения, которое испытывал к нему собрат по перу, Мопассан сиял. Он был столь утешен тем, что благодаря его вмешательству удалось добиться сплочения Флоберовского комитета, что готов был признать талант и сердце за каждым из тех, кто входит в состав этой благородной ассоциации. Друзья Старца – и его друзья, а как может быть иначе? Он заявил об этом вслух и несколько дней спустя решил принять участие еще в одном коллективном демарше, нацеленном на сей раз не на возведение памятника Флоберу, а на протест против возведения Эйфелевой башни. Эта странная металлическая конструкция, предназначенная для того, чтобы венчать собою Всемирную выставку 1889 года, находилась еще на этапе строительства первого этажа. И уже тогда большая часть парижан стала на дыбы против имплантации в небеса их родного города столь чудовищной конструкции. Многочисленные представители артистического мира составили манифест, который Мопассан подписал в порыве настроения. Его имя фигурировало бок о бок с такими звучными именами, как Мейсонье, Гуно, Сарду, Пайерон, Коппе, Сюлли Прюдом, Леконт де Лиль, в открытом письме, опубликованном в газете «Тан» 14 февраля 1887 года: «В течение двадцати лет мы будем вынуждены смотреть, как, подобно чернильному пятну, будет расползаться отвратительная тень от отвратительной железной колонны, закрученной болтами… Париж Жана Гужона, Жермена Пилона, Пюже сделался Парижем мосье Эйфеля…»

Но строительство башни шло своим чередом. Так что тщетным было проклятие, посланное Мопассаном этой «долговязой и тощей пирамиде из железных лестниц», которая напоминала ему «неуклюжий гигантский скелет». Мопассан считал означенное сооружение символом цивилизации индустрии и профита, из которой мечты, фантазия, да и сама свобода окажутся решительно исключены. Пылая негодованием от засилья всего этого капитала, который привносит такие скорые изменения в жизнь, от этого утопающего в роскоши общества, в котором все только ищут повода скомпрометировать друг друга, Мопассан возвращается в Антиб, к морю, к голубым просторам, к своей легкокрылой яхте, и пытается, бороздя морские дали, вытравить из сознания воспоминание об этой безобразной и

гордой железной конструкции. Никогда прежде он как француз не был так разочарован своими соотечественниками, и никогда прежде не случалось ему вот так, в одно мгновение, стяжать их одобрение.

Глава 13
«Орля»

В противоположность иным писателям, которые открыто заявляют, что не в состоянии работать над двумя произведениями одновременно, Мопассан с легким сердцем откладывал одну рукопись, чтобы окунуться с головой в другую и затем вернуться к первой, согласно капризам своего вдохновения. Так, в конце 1886 года, шлифуя роман «Монт-Ориоль», он между делом сочинял большую новеллу с названием «Орля». В этом своем сочинении он анализирует, как в человека просачивается безумие и он чувствует, что мало-помалу утрачивает свое «я», между тем как под его кожу проникает не поддающееся идентификации существо, которое начинает управлять его мыслями. В эту пору свет был повально увлечен курсами доктора Шарко в больнице Сальпетриер, посвященными неврозам и истерии. Мопассан хорошо знал этого выдающегося психиатра, с которым он делил трапезу у Эдмона де Гонкура и который обследовал его мать. По-видимому, во время этих встреч писатель задавал врачу вопросы об особенностях поведения его больных. Со своей стороны, Жорж де Порто-Риш рассказывает, что идея «Орля» зародилась из его разговора с Мопассаном о значении *экстрамедицинского* начала в некоторых патологических состояниях. Тургенев также часто рассказывал своему молодому другу о проявлениях таинственных сил, которые разрушают и терроризируют человека. Возможно, Тургенев и указал Мопассану на «Записки сумасшедшего» Гоголя, пылающие отрицанием реального мира. В действительности Мопассана уже давно обуревала идея фантастического в обыденности. Говоря, в частности, о Тургеневе, он хвалит в его творчестве «это обостренное ощущение необъяснимого страха, которое приходит, как неведомое дыхание из иного мира». Да и сам он нередко касался в своих сочинениях темы страха, галлюцинаций, раздвоения личности. Что в новелле «Он?», что в «Сумасшедшем», что в «Страхе» или «Шевелюре» – везде неизменно выступает ослепляющая, пугающая мысль, что все мы – игрушки каких-то могучих неведомых сил, которые бросают нас то вправо, то влево, а то и вовсе замещают собою нас. У каждого индивида существует некое внешнее «я» («hors-soi»), которое внезапно может занять его место. Да и самого Мопассана сколько раз охватывало чувство, что он изгнан из самого себя. Он даже лицезрел это, сидя в своем писательском кресле. Потом мираж исчезает, и мир вокруг писателя снова становится рациональным,

логичным. Бесспорно, этот личный опыт послужил ему для написания «Орля». Но мастерство, с каким он оркестровал и развивал этот материал, служит доказательством твердости его ума. У этой новеллы имелся и первый, совсем краткий вариант в форме рассказа умалишенного; и еще одна, куда более продолжительная и более насыщенная, определенно в форме дневника. Этот последний вариант позволяет проследить шаг за шагом, как прогрессирует болезнь в мозгу рассказчика, со всеми ее ремиссиями, отклонениями и патологическими проявлениями. Некий монах из монастыря Мон-Сен-Мишель сказал ему: «Неужели мы видим всего лишь стотысячную часть того, что есть на самом деле?» И вот он задает вопрос: «Новое существо? Почему же нет? Оно должно явиться беспременно! Отчего бы нам быть последними?» Это новое существо и есть *Орля*, возникшее неведомо откуда и уполномоченное неясно какой, но разрушительной миссией: «Я-то кто такой? Это он, Орля, неотступно преследует меня, занимая мои мысли подобными безумствами! Он пребывает во мне, он становится моей душою; я убью его!» Чтобы избавиться от этого непрошеного гостя, рассказчик поджигает собственный дом. Но Орля – неосязаемому, неуязвимому – удается ускользнуть, а побежденный человек во плоти и крови пишет вот эти последние слова: «Он не умер… И тогда… Надо будет, чтобы это я, я покончил с собою!»

Этой своею новеллой – одною из самых глубоких, самых волнующих в подборке – Мопассан утверждает свой нигилизм лицом к лицу с непостижимой вселенной. «Сегодня я послал в Париж рукопись „Орля“, – сказал он Франсуа Тассару. – Вот увидите, не пройдет и восьми дней, как все газеты напишут, что я сумасшедший. Что касается меня, то, к их радости, я нахожусь в здравом уме, и, сочиняя эту новеллу, я прекрасно знал, что делал. Это – труд воображения, который поразит читателя и вызовет у него мороз по коже, ибо произведение это – необычное». Когда же друг писателя Робер Пеншон, прочтя «Орля», сказал автору, что эта повесть «вполне революционизирует мозги», тот разразился вполне откровенным смехом и заявил – мол, что касается его, то у него мозг отнюдь не «взбаламучен» (troublée). Тем не менее, хоть и бесспорно, что «Орля» был написан во вполне здравом уме, правда и то, что герой этой повести подвержен страхам, предчувствиям, тенденциям к саморазрушению, свойственным автору. Как и его персонаж, Мопассан, глядя в зеркало, порою обнаруживал там пустоту вместо собственного отражения. Как и его герою, Мопассану, когда он просыпается по утрам, порою кажется, что кто-то ночью выпил воду из его графина. Как и герой, автор чувствует рядом с собою присутствие некоего

невидимого существа, «которое, обладая… природой материальной, хоть и непроницаемой для наших чувств, способно вмешиваться в ход вещей, завладевать ими и менять местами». И, как и персонаж, автор видит в самоубийстве единственный возможный исход деградации личности. И именно потому, что он сознает это странное родство между сумасшедшим из новеллы и человеком в здравом уме, написавшим таковую, он открещивается, с помощью всплесков смеха, от своей принадлежности к миру, выведенному в «Орля». Как рассказывал камердинер Мопассана, иногда вечернею порою писатель убавлял огонь в лампе и в полумраке, достав тончайшую расческу, которую привез из Италии, принимался расчесывать свою кошечку против шерсти. Животное съеживалось, извивалось, мяукало от раздражения и наслаждения одновременно. А Мопассан наслаждался, глядя на отблески фосфоресцирующего свечения, возникавшие при этой процедуре. В эти моменты ему казалось, что он входит в контакт с обратной стороною мира, что он сам – представитель кошачьего племени.

Выйдя в свет 17 мая 1887 года в одноименном сборнике новелл, «Орля» был квалифицирован прессой как высококачественное произведение, в котором доминируют оккультные влияния. Если читатели подпали под чары этой тлетворной исповеди, то Мопассан был уверен, что, поверив ее бумаге, временно освободился от своих идей-фикс. Возвратившись к своей повседневной бурной и радостной жизни, он взялся за работы по своей усадьбе в Этрета. В ней появились душевая и бильярдная. Между делом он принимает своих друзей у себя в «Ла-Гийетт», читает Эрмине Леконт де Нуи начало своего нового романа (да, так! Едва опубликовав «Орля», он взялся за «Пьера и Жана»!) и молвит слово перед службами Министерства народного просвещения, чтобы Золя, который мечтал об ордене Почетного легиона, получил-таки наконец вожделенную красную ленточку. Но, добиваясь этого официального признания для друга, он упорно отказывался от него сам – ему был памятен урок Флобера, враждебного всякому официальному признанию. «Что касается меня, – пишет он Золя, – я сжег свои корабли, чтобы пресечь любую возможность возвращения. В минувшем году я отказался, в формальных и определенных терминах, от креста, который хотел мне вручить мосье Шпюллер. Такой же отказ я адресую и мосье Локруа. К этому решению меня привели не рассуждения и не принципы, так как я не вижу, за что следовало бы презреть орден Почетного легиона, но глубокое, глупое и непобедимое отвращение. Зная себя, я признаю, что мне будет весьма неприятно оказаться награжденным и что я буду сожалеть

всю жизнь, если приму награду. И так же сожалеть будет Академия, и от этого, как мне кажется, принять награду было бы еще большей глупостью с моей стороны».

(Письмо это датируется 1887 годом; орден Почетного легиона будет вручен Золя только год спустя.)

Тем не менее сие гордое презрение к побрякушкам славы ничуть не мешало Мопассану все более и более жаждать восхищения. Не удовлетворяясь шумом, производимым его книгами, он ни с того ни с сего еще решил удивить публику, поднявшись на воздушном шаре. Некий капитан Жовис, которого Мопассан встретил в Ницце, взялся за постройку аэростата. Ну, а как назовем это средство преодоления земного тяготения? Никаких сомнений: воздушный шар будет окрещен «ОРЛЯ» и никак иначе. Это еще подогреет шумиху вокруг книги. И вот 8 июля 1887 года огромная сферическая оболочка объемом в 1600 кубических метров наполняется газом на Ла-Вийетском газовом заводе. На эту церемонию созвано ни много ни мало триста персон. Отобедав в заводской столовой, пилот Морис Майе приглашает Мопассана и еще нескольких пассажиров сесть в гондолу. Веревки перерублены – и воздушный шар мощным порывом устремился ввысь. Лишившись от волненья голоса, Ги видит, как быстро удаляется земля. Не навсегда ли? Внизу расстилался Париж – огромный муравейник, ощетинившийся башнями, колокольнями, куполами, рассеченный надвое мерцающим безмолвием Сены. Вот показался Сен-Гратьен, где живет принцесса Матильда; проплывали деревни – сельские домики казались похожими на разбросанные детские кубики, а между деревнями тянулась монотонная гладь возделанных полей. Подвешенный в воздухе, Мопассан испытывал легкое головокружение, как во время своих первых прогулок на яхте. Освободившись от окружения толпы двуногих тварей, он мог наконец поразмышлять о вечности… Впрочем, вокруг него уже началось волнение. Изголодавшиеся и перевозбужденные пассажиры принялись за холодных цыплят, запивая шампанским. Ги присоединился к остальным. Пилот сбросил балласт, и шар вновь набрал высоту. Солнце село. В серо-синем небе загорались робкие звезды. «Несший нас воздух сделал из нас немых, веселых и сумасшедших существ», – скажет Мопассан. Внизу проплывали города, точно кто-то горстями рассыпал по земле огни; зазвонил колокол, стала заниматься заря. «Орля» миновал Лилль, Брюгге; вот показалось море, по которому проносились пенящиеся гребешки волн, потом – снова поля и луга. Настало время спускаться. Открыли клапан, и газ с шипеньем вырвался наружу. Земля приближалась с ужасающей быстротой. Но вот пилот

сбрасывает якорь, и гондола жестко садится на землю. Тут же отовсюду сбежались пейзане поглазеть на нежданных гостей, свалившихся с неба. «Орля» доставил своих пассажиров до местечка Гейст-сюр-Мер в Бельгии, в устье Шельды. Безмерно очарованный своими воздушными скитаниями, Мопассан рассылает депеши друзьям и в редакции газет. К примеру, телеграмма, адресованная Эрмине Леконт де Нуи, выглядела так: «Великолепная посадка в устье Шельды. Восхитительное путешествие!»

Вышеописанному литературно-спортивному событию уделили внимание все газеты; иные комментарии были окрашены оттенком иронии. Стремясь выжать из этого вызванного любопытством успеха максимум возможного, Ги послал хронику своего подвига в «Фигаро». Вся мелкая сошка из числа пишущей братии похлопывала себя по бедрам – в их глазах Мопассан сам был надутым пустомелей.[71] Поднимаясь в гондолу воздушного шара, он прежде всего хотел подчеркнуть, что возносится над толпою современников. Ну, а если и изволил снизойти на грешную землю, так только затем, чтобы ринуться в бой за добрый куш. «Я же говорил вам, какой он летун в облаках!» – воскликнул язвительный Жан Лоррен. Мопассан быстро понял, что, пожалуй, перехлестнул: ожидал оваций, а на деле только потерял в общественном мнении. Обеспокоенный, Мопассан пишет своему издателю Оллендорфу: «Дождь откликов, который высыпал на страницы газет по поводу моего путешествия на воздушном шаре, стяжал мне множество насмешек и изрядное количество неприятностей. Умоляю Вас прекратить этот поток. Не я подал идею назвать воздушный шар заглавием моей книги, у меня создалось впечатление, что все вокруг лупят палочками по моему шару, как по барабану» (письмо от 15 июля 1887 г.).

Как рассказывает Франсуа Тассар, Мопассан повторил свой подвиг год спустя, но остерегся известить об этом газеты. Укрывшись в своем убежище в Этрета, Ги вновь окунулся с головой в свой новый роман – «Пьер и Жан». Ему хотелось позабыть о всей той шумихе, вызванной его достижениями в области аэронавтики. 29 июля 1887 года, в то время, как Ги наслаждался покоем в «Ла-Гийетт», молодая женщина по имени Жозефина Литцельман, проживавшая в Венсенне, в доме № 25 по рю дю Миди, родила дочку по имени Маргарита. У нее уже было двое детей – мальчик Люсьен, явившийся на свет в 1883 году, и доченька Люсьенна, 1884 года рождения. Отец всех троих детей оставался неизвестным. Во всяком случае – официально. Но в окружении матери троих малышей шушукались, что это – внебрачные дети писателя Мопассана. Он соблазнил красавицу в

бытность ее подавальщицей воды у источника Маргариты в Шательгийоне. Всего-навсего одно приключение среди сотен подобных. И то сказать, на этих водах такая скука смертная!

Не Жозефину ли имел в виду Ги, выводя на страницах «Монт-Ориоля» одну из тех безымянных молодых женщин, которые, смиренно сидя в своем киоске, безмолвно протягивали стакан чистой, прозрачной воды какой-нибудь курортнице, спешившей продолжить свой променад. О Жозефине Мопассан вспоминал и в последующие годы. Кто она была ему? Так, метрессой – одной из многих среди его бесчисленных связей. Но эти отношения он старался не афишировать, и намерения признать означенных детей своими у него не было никогда.[72] Тем более – связать себя узами законного брака с их матерью: эту мысль он в ужасе гнал от себя прочь. Закоренелая вражда писателя к браку, физическое отвращение к отцовству, наконец, уверенность в том, что подобный мезальянс привел бы в негодование Лору, – ну как со всем этим приглашать женщину под венец? И то сказать – как могла бы Лора, желавшая, чтобы ее дети рождались в замках, принять в семью подобную простолюдинку?! Одержимая аристократическим тщеславием и снедаемая материнскою ревностью, Лора побуждала Ги пребывать в эгоистическом холостячестве. Она не хотела, чтобы он променял весь свой донжуанский список на какую-то одну женщину, не желала ему иных детей, кроме книг. Это себя имел он в виду, когда характеризовал персонажа из «Монт-Ориоля» Бретиньи как принадлежащего «к породе любовников, но не к породе отцов». Бретиньи, по примеру своего создателя, испытывает жгучее отвращение при виде беременной женщины, ибо таковая больше не является «исключительным обожаемым созданием, о котором мечтают», а стала попросту «животным, воспроизводящим породу». Тем не менее есть основания предполагать, что Мопассан втайне оказывал материальное вспомоществование Жозефине Литцельман. Эта потаенная поддержка троих внебрачных детей позволяла ему сохранять совесть спокойной. Рассказывали, что он время от времени даже виделся с ними издалека. Но – и только.[73] Настоящая жизнь его протекала в других местах – в мире салонов и гостиных и в среде своих собратьев по перу.

Как раз в эти августовские дни 1887 года литературные круги бурлили. Газета «Фигаро» только что опубликовала «Манифест пяти» – яростный наскок, подписанный Полем Боннетеном, Ж. -А. Росни, Люсьеном Декавом, Полем Маргериттом и Гюставом Гишем и направленный против романа Золя «Земля», который был объявлен ими непотребным. «Мы отвергаем этих голубчиков,

порожденных золяисткой риторикой, эти огромные, сверхчеловеческие и рогатые силуэты, лишенные сложностей, грубо набросанные тяжелыми массами в среду, случайно намеченную рамками портьер». Такое осуждение натурализма несколькими молодыми авторами чрезвычайно обрадовало Эдмона де Гонкура и Альфонса Доде. Оба лагеря вели словесную перепалку со страниц противостоящих друг другу журналов. Однако Мопассан воздержался от участия в перепалке. Он утверждал, что не принадлежит ни к какой школе. И направил Золя поздравление с тем, что тот живописал с такою силою в своем последнем романе бестиальное начало, воплощенное в крестьянском мире: «Я очень доволен, мой милый друг, написать вам, сколь прекрасным и возвышенным я нахожу это новое сочинение большого мастера, которому я сердечно пожимаю руки» (письмо, датированное январем 1888 г.). Сам же Ги продолжал трудиться над «Пьером и Жаном», рукопись которого он таскал с собою повсюду, куда бы ни направлял путь. Так, он отправляется на Лазурный берег, чтобы принять участие в судьбе своего младшего брата Эрве, который, как писал Мопассан, «перенес опасную лихорадку с опасными следствиями для мозговой оболочки» (письмо, написанное летом 1887 г.). Пригласив к брату многих медицинских светил, он отправляется, наполовину утешенный, в Этрета, где открывает охотничий сезон. И что же? Оказывается, все окрестные землевладельцы получили анонимные письма, в которых разоблачались его дурные нравы! Не махинации ли какой-нибудь ревнивой женщины? Тайна сия великая есть… Пожав плечами, он снова пакует чемоданы. На этот раз место назначения – Марсель. Прибыв туда 3 октября 1887 года со своим камердинером, он останавливается в отеле «Ноай», посещает предназначенное к продаже судно «Зингара», фланирует по разгоряченным многоголосым улицам и на следующий день отплывает в Алжир.

В Алжире Ги очарован «уникальным привкусом» этой страны и вместе с тем разочарован отсутствием комфорта в жилищах, которые ему предлагались. «Мы переходили из гостиницы в гостиницу, сетуя на номера и на кормежку, – пишет он матери. – Шум алжирского порта у меня под окнами напомнил мне авеню Виктора Гюго – но чудовищную авеню Виктора Гюго, с гудками паровозов, сиренами трансатлантических пароходов, паровыми кранами и арабами-докерами, нагружающими и разгружающими пакетботы» (октябрь 1887 г.). Немного времени спустя он снимает двухкомнатную квартиру на рю Ледрю-Роллен, совершает ряд прогулок под стать туристу, любуется кедровым лесом, но более всего интересуется мусульманскими женщинами, чьи горящие из-

под покрывала глаза чаруют его. Возвратившись к себе в жилище, он сражается с комарами, которые не дают ему сомкнуть глаз. Но еще хуже мигрени, становящиеся все жесточе в продолжение ночи. У него больные глаза, и тем не менее он порывается видеть солнце, безмятежную ослепляющую красоту пустыни. «Только что отшагал на собственных ногах прекрасную экскурсию по дикой стране, похожей на ковер из львиных шкур, – пишет он врачу Анри Казалису, прославившемуся как поэт-символист под псевдонимом Жан Лаор. – Я повидал неизведанный уголок Алжира, где наткнулся на чудесные овраги в сказочных девственных лесах». Писатель посещает Константин, Бискру, а достигнув горячих вод Хаммам-Рира, восхищается еще больше, о чем с таким лиризмом поведал Женевьеве Стро: «Я упиваюсь воздухом, приходящим из пустыни, и поглощаю одиночество. Это и хорошо, и грустно. Иногда по вечерам я захожу в африканские постоялые дворы – одна-единственная комната, выбеленная известью, – где я ощущаю на сердце тяжесть расстояний, отделяющих меня от всех, кого я знаю и кого люблю, ибо я люблю их. На другой день я так же отдыхал до полуночи у дверей обветшалого караван-сарая, где вкушал яства, которым не мог дать определения, и пил воду, о которой мне более и вспоминать не хочется. Издали, с бесконечных расстояний, доносился лай собак, тявканье шакалов, вой гиен. И эти звуки, под небом с пламенеющими звездами, этими огромными, чудесными, бесчисленными звездами Африки, были столь заунывными и так навевали ощущение одиночества и невозможности возвращения, что я почувствовал холод в спине» (письмо начала 1888 г.).

Более умеренными будут слова, которые он скажет матери: «Я и впрямь начинаю чувствовать благородное влияние жары после небольших проблем с акклиматизацией. Но пробыть здесь мне предстоит долго». Впрочем, от этой последней мысли он вскоре отказался и переехал поездом в Тунис. Там он дает себе отдых от накопившейся усталости, принимает сеансы массажа у здоровенного негра атлетического сложения, нанимает коляску для прогулок по окрестностям, и ему даже чудится, что он отыскал тень Флобера в руинах Карфагена.[74] Ну и, конечно, Ги радуется, навестив местную знаменитость – «толстуху туниску» в 120 кило весу, с тремя дочерьми: «Три девицы, три сестры… проделывали свои непристойные кривляния под благосклонным оком матери…»

Впрочем, вся эта восточная экзотика не чрезмерно позабавила Мопассана, и он уже с чувством ностальгии подумывал о женщинах, которых оставил во Франции. Чары одной из них оказывали на Мопассана особое воздействие – на таком далеком

расстоянии! Имя чаровницы до нас не дошло, но чувство, которое он к ней испытывал, было таковым, что он – враг всякой продолжительной связи – какое-то мгновение подумывает о том, чтобы сделать ее постоянной спутницей жизни. «Со вчерашнего вечера я самозабвенно думаю о Вас, – пишет он ей из Туниса. – В мое сердце внезапно ворвалось безрассудное желание вновь увидеть Вас, и немедленно, здесь, перед собою. И я готов переплыть через моря, преодолеть горы, оставить за своей спиной города – и все ради того, чтобы положить руку на Ваше плечо, вдохнуть запах Ваших волос. Ну, а сами-то Вы разве не ощущаете, как это исходящее от меня желание бродит вокруг Вас, ищет Вас, умоляет Вас в ночной тиши? Мне более всего хочется увидеть Ваши глаза. Ваши ласковые глаза. Ну почему это наша первая мысль – всегда о глазах женщины, которую мы любим? Как неотступно преследуют они нас, как они делают нас счастливыми или несчастливыми, эти маленькие ясные, непроницаемые и глубокие загадки, эти маленькие синие, черные или зеленые пятнышки, которые, не меняясь ни в форме, ни в цвете, попеременно выражают то любовь, то безразличие, то ненависть; в них читается то утешающая ласка, то леденящий ужас – и все это куда красноречивее, чем самые обильные слова и самые выразительные жесты. Через несколько недель я покину Африку. Я снова увижу Вас. Вы обрадуетесь мне, не так ли, моя обожаемая?» Получил ли Мопассан ответ на это пламенное письмо? При любых обстоятельствах, «обожаемая» предусмотрительно предпочла остаться в тени. Она присоединилась к когорте всех этих неведомых женщин, которыми Мопассан желал обладать, а может быть, и обладал фактически, но которые так и не оставили следа в истории.

Однако в действительности не столько таинственная незнакомка явилась причиной, побудившей Ги возвратиться в Париж, сколько предстоявшая публикация «Пьера и Жана» и африканских впечатлений. «Я путешествую и делаю заметки, – пишет он из Туниса своей кузине Люси ле Пуатевен. – Я заканчиваю мой роман, сочиняю повествование о путешествии; а когда наступает вечер, я совершенно не способен чем-либо заняться» (письмо от 3 января 1888 г.). Несколько недель спустя он со всею откровенностью поведает матери все, что думает о своем новом сочинении: «У „Пьера и Жана“ будет литературный успех, но не будет успеха продаж. Я уверен, что книга хорошая… но она жестока, что помешает ее продажам» (конец сентября 1887 г.). Разумеется, он уже выбрал издателя. В намерения автора входило покарать Авара, который постоянно задерживал выплату гонорара и не очень-то эффективно занимался распределением

тиража. «Не хочу создавать впечатление, будто играю с вами в кошки-мышки, – объявил Мопассан Авару без обиняков, – поэтому лучше сам скажу вам, что хочу передать Оллендорфу небольшой роман, который давно был ему обещан» (письмо от 19 сентября 1887 г.). А месяц спустя он загоняет гвоздь еще глубже: «Вы только что снова поставили меня в высшей степени затруднительное положение, и на сей раз я нахожу, что это слишком… Мне придется требовать у Оллендорфа, чтобы тот выслал мне 2000 франков телеграфом. Мало того, что вы скверно продаете книги, но еще и не отличаетесь точностью счетов; а для меня это весьма существенно, о чем я вам говорил не раз. Вот только что я получил от Марпона извещение о том, что „Туан“ и „Сказки дня и ночи“ разошлись – первый десятой тысячей, второй – одиннадцатой. И это при том, что это две мои самые скверные книги, выпущенные в продажу по пяти франков, без всякой рекламы. Ну, а „Паран“ находится теперь на 11-й тысяче, „Орля“ – на 13-й. Когда я сравниваю это с моими лучшими книгами, а именно: „Заведение Телье“, „Мадемуазель Фифи“, „Иветта“, „Маленькая Рок“ – я вынужден констатировать, что ваши продажи не выдерживают никакой критики».

В январе 1888 года Мопассан шлет новые протесты Авару, ибо, как ему кажется, полки книжных магазинов Ниццы могли бы принять еще товару: «Я не могу согласиться с тем, чтобы издатель, коему поручено защищать мои интересы, проморгал „Заведение Телье“ в момент выхода в свет другой книги. Примите к сведению мои настроения» (письмо от 6 января 1888 г.). Вот так – чем более преуспевал Мопассан, тем большую проявлял деловую хватку. А что, размышлял он, почему бы хорошему писателю не быть еще и хватким коммерсантом?

К счастью, Оллендорф обладал большей житейской сметкой, нежели Авар. Посчитав, что «Пьер и Жан» несколько коротковат, он посоветовал автору увеличить объем книги за счет вступления, которое явилось бы с его стороны истинным Символом веры. Идея так соблазнила Мопассана, что он засел за предисловие незамедлительно. Изложив с пылом и жаром свое мнение о литературном творчестве, он послал рукопись в «Фигаро». В этом тексте он предает осуждению запутанные романные интриги, неправдоподобные проявления мелодраматизма, отдавая предпочтение сдержанному, искреннему, вдумчивому реализму, и утверждает, что писатель должен «раствориться» за спинами своих персонажей, оставив за ними право действовать по своему усмотрению; и, всячески отделяя себя от модных школ, выступает за естественность и простоту стиля:

«Нет никакой необходимости в причудливом, изощренном, многословном лексиконе, отдающем китайщиной, который нам сегодня навязывают под именем артистического стиля, чтобы зафиксировать все нюансы мысли, – заявляет он. – Приложим-ка усилия к тому, чтобы быть скорее превосходными стилистами, нежели коллекционерами редких терминов… Кстати сказать, французский язык суть чистая вода, которую манерные писатели никогда не смогли и не смогут замутить… Природа этого языка – светлого, логического и энергичного (nerveux), – она не позволит ни ослабить, ни затемнить, ни извратить себя. Те, кто ныне занимаются созданием образов, не остерегаясь абстрактных терминов, те, кто обрушивают на чистоту (выделено в тексте – Прим. пер.) стекол град или дождь, равным образом могут обрушить град камней и на простоту своих собратьев! Они, пожалуй что, ушибут своих собратьев, имеющих тело, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна.

Ла-Гийетт, Этрета, сентябрь 1887 г.»

Со всею очевидностью он вкладывал в свое «Предисловие» скрытую критику клонившегося к закату натурализма Золя и обрушивался в яростной атаке на выкрутасы и ухищрения Эдмона де Гонкура и символистов. Мопассан сознавал все это, садясь 6 января 1888 года на пароход, отправляющийся во Францию. И был готов принять на себя удары грома. Повсюду на страницах «Предисловия» Мопассан ссылается на пример и авторитет Флобера – эта ссылка, как он предполагал, должна была заткнуть глотки недоброжелателям. Во время перехода море было неспокойным, и Франсуа Тассар заболел морскою болезнью.

Едва сойдя на берег в Марселе, Мопассан набросился на литературное приложение «Фигаро», датированное 7 января 1888 года, и прочел в нем свой этюд. Но секретарь редакции переиначил текст. Разгневанный Ги решил затеять процесс против газеты, которая, по его мнению, исказила его мысль. Отстаивать свою позицию он поручил хорошему другу Эмилю Стро; последний тут же предпринял необходимые шаги. Сгорая от нетерпения, Мопассан, обосновавшись в Каннах, бомбардирует своего адвоката грозными письмами, требуя примерного наказания виновных. «Фигаро» печатает на своих страницах ответ: «Коль скоро автор не требовал рецензии на свои опыты, мы сами отобрали важные фрагменты его труда и оставили побоку некоторые пассажи, которые не сочли абсолютно необходимыми.

Это часто практикуется в журналистике, когда к этому вынуждают условия верстки. С момента, когда обсуждение вопроса ведется на гербовой бумаге, разговор более не является привлекательным для нас, и нам кажется предпочтительным предоставить слово адвокатам». Между тем дело разрешилось полюбовно, и в итоге «Фигаро» помещает на своих страницах вполне деликатное заключение: «По получении объяснений по поводу купюр, каковые были сделаны без его разрешения в этюде, опубликованном в нашей газете, и каковые породили судебные действия против „Фигаро“, мосье Ги де Мопассан только что отозвал свои заявления. Мы счастливы, что дело так любезно разрешилось, и это позволит нам возобновить прежние отношения с нашим собратом».

Этот литературный манифест, сгоряча оформленный как предисловие к роману, упал точно булыжник в болото, где квакали мастера пера. Почувствовав себя жестоко уязвленным аллюзиями Мопассана относительно «языковых выкрутасов», Эдмон де Гонкур делает в своем дневнике следующую запись: «В предисловии к своему новому роману Мопассан, ополчившись против артистического стиля, метит в меня, хоть и не называет по имени…Атака настигла меня в то же самое время, как и присланное им по почте письмо, в котором он выражал мне свое восхищение и свою привязанность. Таким образом, этот нормандец сам принуждает меня думать, что нормандской хитрости ему не занимать. Впрочем, Золя и ранее говорил мне, что это – король брехунов. Да, он, пожалуй что, весьма ловкий нормандский *нувеллист* (выделено в тексте. – *Прим. пер.*) в духе Монье; но он – вовсе не писатель, вот и напускается на **артистический стиль** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*). Писатель, со времен Лябрюйера, Боссюэ, Сен-Симона, минуя Шатобриана и заканчивая Флобером, преподносит фразу – такую, чтобы грамотные люди узнавали ее без подписи, и только при этом условии становятся великими писателями; ну, а у Мопассана любая страница без его подписи – не что иное, как добротный расхожий список, который может принадлежать кому угодно в целом свете. В прошлое воскресенье Ги дал наилучшую критику сему второразрядному таланту: он заявил, что его книги читаются, но не перечитываются».

Гнев Эдмона де Гонкура, который разделило немало рафинированных умов, служит иллюстрацией вечного противостояния писателей, в основе творчества коих лежит изыскание, и тех, в основе творчества которых лежит инстинкт. Первые из кожи лезут вон, чтобы поразить публику неожиданными находками в области стилистики, вторые –

человеческою глубиною своих заявлений. Первые желают, чтобы их узнавали во всякой фразе их книг, у вторых нет иных амбиций, кроме создания оригинальных и живых персонажей. Первые стремятся к тому, чтобы читатели за чтением постоянно думали о них, вторые – чтобы о них забыли. И Мопассан гордится своею принадлежностью к этой последней разновидности писательского племени. Он считает, что творит своими потрохами, а не своим мозгом.

«Пьер и Жан» в точности отвечает этому определению романа. Интрига в нем из самых простых. Речь идет о распаде буржуазной семьи вследствие появления неожиданного наследства после кончины старого друга дома. Не является ли Жан, на которого свалилось такое богатство, кровным сыном покойного? Иначе говоря – бастардом, не подозревающим о своем происхождении? Мысль об этом мучит и брата Жана – Пьера, и подозрение быстро перерастает в уверенность. Добавим к сему, что еще с самого детства оба брата (одному из которых было теперь 30, а другому 25 лет от роду) противостояли друг другу в бессознательном и глухом соперничестве. Экзальтированный, непредсказуемый Пьер постоянно ревнует к младшенькому Жану – милому, умному, уравновешенному существу, любимчику родителей. Нет, Пьер не в силах дольше вынести, чтобы Жан мельтешил перед его глазами! Больше даже, он сделался мучеником мысли, что его мать, которой он всецело доверял, к которой была обращена вся его нежность, оказалась попросту изменщицей, одной из тех, которые разыгрывают комедию верности перед мужьями и детьми. «Как же сможет он выносить это – жить день за днем с нею рядом и верить, глядя на нее, что она зачала его брата, ласкаясь с чужим? – пишет Мопассан о своем герое. – Его мать поступила как все другие, вот и все!.. О! Как бы хотел он простить ее теперь! Но он не мог, будучи не в силах забыть. Если бы он мог хотя бы не заставлять ее страдать! Но он и этого не мог, потому что постоянно страдал сам… Тайное бесчестье, о котором знали только двое, оборачивалось острием против нее. Это был тот яд, который он теперь носил в своих жилах и который возбуждал в нем желание кусаться на манер бешеного пса».

В итоге Пьер предпочтет уйти из семьи, оставив при матери своего единоутробного брата– бастарда и своего законного папеньку, обманутого мужа и весьма посредственного персонажа, чья никчемность и спокойное благодушие еще сильнее оттеняют нравственные муки других действующих лиц. Вершиною этого сочинения является сцена, в которой мать – мадам Ролан – признается сыну Жану, что он не сын ее законного супруга, но что

она нисколько не сожалеет о грешке, так как эта внебрачная связь озарила ей жизнь. «Мой маленький Жан, – говорила она, – надо, чтобы ты понял, что если я и была любовницей твоего отца, то в гораздо большей степени я была его женой, его настоящей женой, что в глубине души я не стыжусь этого, что я ни о чем не жалею и все еще люблю его, хоть он и умер, и всегда буду любить его… Клянусь тебе, что у меня в жизни не было бы ничего, ничего отрадного, если бы я его не встретила, ничего – ни ласки, ни нежности, ни одной из тех минут, которые заставляют так жалеть об уходящей молодости. Я всем обязана ему!»

По словам самого Мопассана, источником «Пьера и Жана» послужила прочитанная им заметка в газете. Когда один молодой писатель по имени Эдуард Эстонье сообщил ему, что работает над во всем схожим произведением, Ги ответил: «Не могло ли случиться так, что Вы прочли о том же самом факте в тот же день, что и я? Сколько раз бывало, что какое-либо событие, которое повсюду отзывалось эхом, вызывало обсуждения и комментарии, порождало одно и то же волнение в двух одинаковых по натуре умах. И если случается, что, по какой-либо причине, один из двоих раньше выпускает произведение, которое произросло из того же семени, второй неизбежно будет обречен на обвинение в плагиате. Мосье и дорогой собрат, я могу лишь посочувствовать Вам в охватившей Вас досаде» (письмо от 2 февраля 1888 г.). Версию о случайной газетной заметке как источнике, вдохновившем Мопассана на создание «Пьера и Жана», подтверждает и Эрмина Леконт де Нуи, которой автор читал первые страницы «Пьера и Жана». «Идею написать эту книгу подал ему реальный факт, – заметила она. – Один из его друзей получил наследство в 8 миллионов, каковое было ему оставлено близким другом семьи, часто обедавшим с нею за одним столом. Создается впечатление, что отец молодого человека был стар, а мать молода и красива. Ги пытался объяснить себе, чем вызвана такая благосклонность фортуны. Он выдвинул предположение, которое стало для него навязчивой идеей».

Можно себе представить, как поражен был Мопассан этой правдивой историей; но ведь тема рождения вне законного брака преследовала его издавна. Во многих его новеллах – от «Папаши Симона» до «Господина Парана», от «Истории батрачки» до «Завещания» – звучит тема судьбы внебрачного ребенка, покинутого или, наоборот, усыновленного; неотвязная тема незаконного деторождения, поиска правды, бессильных бунтов, ревности мужа, не являющегося кровным отцом, драма согрешившей супруги… Он, чье детство было омрачено удалением родителей друг от друга, сблизился с матерью и

попытался понять ее, представить себе ее женскую жизнь, а может быть, и открыть, не было ли у нее когда-нибудь какого-нибудь любовного приключения. Нет, конечно, Ги не поверил ни на мгновение, что он – кровный сын Флобера, как думали иные; но ему казалось – ошибочно, или это на самом деле было так, – что его появление на свет окутано тайной. Женщины – существа такие легкомысленные, такие непостоянные, такие склонные уступать зову своих чувств! Откровения, сделанные мадам Ролан своему сыну Жану, рожденному не от законного супруга, полюбились Ги, как если бы таковые были сделаны ему самому родною матерью, чтобы разрешить его сомнения. Он чувствовал себя одновременно «бастардом» Жаном и «законным» Пьером. Эту внутреннюю борьбу Ги проецирует на страницы своего повествования при посредстве вымышленных персонажей. Таким образом, «Пьер и Жан» выступает как самое личностное из произведений Мопассана, ибо в нем автор бессознательно сбрасывает с себя маску. Добавим к тому, что роман был написан в каких-нибудь три месяца, на едином порыве энтузиазма и, можно сказать, без отрыва пера от листа бумаги; поправки в рукописи были минимальными. Этот роман, более краткий и более сжатый, чем другие романы Мопассана, этот шедевр особенно ценен экономией средств, концентрацией драматизма и пламенностью характеров, раскаленных добела.

Эмиль Золя объявил автора «Пьера и Жана» гением. А вот что утверждал Альфонс Доде на страницах газеты «Тан»: «Ни в силе, ни в гибкости, ни в чувстве меры – ни в чем теперь нет недостатка у этого неутомимого и внушительного рассказчика». А вот в чем уверяет с полос «Нувель Ревю» Адольф Баден: «Понадобился превосходный талант Ги де Мопассана, чтобы вести речь о столь опасной ситуации, не вызывая при этом читательского отвращения или возмущения его чувствительности». Хроникер газеты «Иллюстрасьон» воздает похвалу автору за то, что он никогда не впадает в абстракцию и создает впечатление о жизни «равным образом своим стилем, как и своими персонажами». Однако же критик из «Журналь де Деба» сожалеет о грубости и пессимизме повествования: «Для нас, а может быть, и для многих читателей произведенный чтением „Пьера и Жана“ эффект заключается не просто в ощущении неловкости и печали, но и в некотором роде чувстве моральной депрессии… Значительная часть человечества пожелала бы, чтобы о его страданиях, о его болестях и даже о его пороках говорили иным тоном, с иным акцентом».

Мопассан смеется над отдельными напыщенными журналистами, над немногими читателями, которые делают

хорошую мину перед лицом правды, которую он развертывает у них на глазах. Большинство публики – на его стороне, это подтверждают цифры продаж. А сколько еще проектов у него в голове! Но, право, нельзя же, чтобы письменные занятия, которые его кормят, в то же время препятствовали его стремлению наслаждаться жизнью! А хочется ему по-прежнему все того же: одерживать победы как на творческом фронте, так и на фронте развлечений. В конце января 1888 года он снова в Марселе; цель приезда – покупка яхты «Зингара». Верные морские волки Бертран и Раймон, заранее предупрежденные по телеграфу, помогли с экспертизой судна. Добрая гоночная яхта общей длиной 14 метров 60 сантиметров, водоизмещением 20 тонн, с главной мачтой и фок-мачтой. Внутри – кают-компания на десять персон и комфортабельная каюта для хозяина. У этой яхты, выстроенной из шотландского белого дуба на лаймингтонских судоверфях в Англии, был величавый корпус из добротной меди. В общем, если сравнить со скромным «Милым другом», это был самый настоящий плавучий дворец. Нет, никаких колебаний Мопассан не испытывал – сменить худосочного 9-тонного «Милого друга» означало засвидетельствовать головокружительный прогресс своего успеха. Цена: 7000 франков. На стадии, когда привалила подобная удача, он мог позволить себе и не такое сумасбродство. Сделка с владельцами – двумя марсельскими коммерсантами – была заключена быстро. И вот, едва были улажены все формальности в конторе Морской приписки, Ги приказывает своим верным морским волкам начертать на корпусе яхты ее новое имя. «Зингара» превратилась в «Милого друга-II».

Прохладной зарею «Милый друг-II» покинул порт. У штурвала сам Мопассан. Он предполагал достичь Канн за два-три дня, с кратким заходом в Поркероль. Волна поднималась. Мертвенно-бледный Франсуа Тассар боролся с дурнотою. Обеспокоенный, как всегда, Бернар всматривался в туманный горизонт. Только Ги радовался жизни, чувствуя себя уверенно. Больше даже – он, мятежный, просил доброй бури! У него руки чесались вступить в борьбу со стихиями после того, как поцапался с людьми. И вдруг откуда ни возьмись его озарила идея, о чем он с радостью поспешил поведать своему камердинеру: «Я нашел сюжет для хроники. Право, такие мысли приходят только ко мне!» Ныне еще в большей степени, чем в юные годы, сплав действия и мысли, спорта и сочинительства знаменовал для него собою вершину счастья.

Глава 14
Эрве удаляется

И вот «Милый друг-II» пришвартован у набережной в порту Канн, у подножья Сюке. Мопассан, который поселился невдалеке отсюда со своею матерью в «Вилла Континенталь», не мог нарадоваться на свое приобретение – каждый день приходил, любовался яхтой, поднимался на борт, вдыхал с наслаждением запах лака и отдавал приказ поднять якорь. Но его морские прогулки кратки и безбурны. Яхта для него – прежде всего место встреч со светскими особами, проводящими зиму на Лазурном берегу. Так, он принимает на борту «Милого друга-II» герцога Шартрского, принцессу де Саган, маркизу де Галифе и, естественно, графиню Эммануэлу Потоцкую и Женевьеву Стро. Пред очами сих прекрасных дам разыгрывал заправского морского волка и порою, нырнув с борта головою вниз, показывал, как ловко он умеет плавать, а затем, поднявшись вновь на борт, лихо облизывал усы. Красавицы аплодировали отважному литератору-амфибии, он же насвистывал по их просьбе какую-нибудь легкую песенку из репертуара буживальских лодочников.

Бравого Франсуа Тассара потрясали такие гламурные отношения своего хозяина. Но кто более всего изумил его, так это, конечно же, прихотливая, кокетливая и волнующая графиня Потоцкая. Обожающая роскошь хозяйка «Маккавеевых обедов» ходила вокруг Мопассана точно лисица, распаляла его своим поведением и, как только чувствовала себя воспламененною, сбрасывала с себя одежды, изображая холодную улыбку. Что и говорить, Мопассан принимал эту игру в чувственные «кошки-мышки»; вот что пишет он блистательной партнерше: «Право, меня охватило неодолимое желание отправиться в путешествие, и я проклинаю все те социальные условности, которые препятствуют тому, чтобы я просил Вас сопровождать меня. Это, должно быть, доподлинный сон – путешествовать с Вами вместе. Я не говорю об очаровании Вашей персоны, которое я могу вкушать, и об удовольствии глядеть на Вас… но я не знаю иной такой женщины, которая, как Вы, могла бы навеять мысль об идеальной путешественнице. Добавлю к сему, что если Вы скажете мне „да“ назавтра же, то я, пожалуй, отвечу Вам „нет“, ибо иначе я брошусь навстречу столь явной опасности, что чувство осторожности посоветовало бы мне избежать ее. И я говорю все это вовсе не из жеманства!» (1888 год).

То в одиночку, то в галантной компании совершает он небольшие каботажные плавания между Каннами, Антибом, Вильфраншем, Монте-Карло… Эти безбурные походы вдохновили его на прекрасные страницы новеллы «На воде», исполненные света – и одновременно отчаяния. Ибо, испытывая всею своею кожей наслаждение брызгами соленой воды и порывами морского бриза, Мопассан в то же время ощущал ужас перед человеческим состоянием. Все что ни есть прекрасного – женщина ли, пейзаж ли – навевало ему мысли о смерти. Но стоило ему почувствовать себя охваченным тяготением к небытию, как в нем в одно мгновение вспыхивало животное стремление к слиянию с природой. «Я чувствую, как трепещет во мне нечто присущее всем видам животных, всем инстинктам, всем смутным желаниям низших существ, – пишет он. – Я люблю землю. Когда стоит хорошая погода, как сегодня, то по жилам моим струится кровь древних фавнов – бродяг и сладострастников, и я более не брат людям, но брат всем существам и всем вещам».

Характеризуя себя как «древнего фавна – бродягу и сладострастника», Мопассан лелеет легенду о себе как о неисправимом ловеласе; в кругу его друзей – собратьев по перу только и разговоров было, что о склонности автора «Пьера и Жана» к садизму и его подвигах в постели. Восхищенный и раздраженный одновременно, Эдмон де Гонкур запишет на страницах своего дневника в весьма грубых терминах то, что он услышал от Леона Энника о необычайной способности автора «Милого друга» к эрекции: «Он перевязывал себе мужское достоинство и тут же заключал пари, что вновь воздымет его ввысь – и выигрывал». Тот же Леон Энник утверждает, что «Мопассан был способен, шестикратно вдохнув в женщину пламенный запал, отправиться в другую опочивальню, где возлежала на ложе другая партнерша, и троекратно облагодетельствовать и ее». Надо ли говорить, что Ги пуще огня боялся опровержения окутывавшего его лестного слушка, который возвышал его в дамских глазах. Даже те, которые и не мечтали разделить с ним ложе, приходили в сладостное возбуждение, когда он только беседовал с ними по душам. Только лаская его глазами, они уже чувствовали, что согрешили. Вот так, невзирая на все свои головокружения, мигрени и проблемы со зрением, он коллекционировал, с одной стороны, самые низменные сексуальные приключения, с другой – самые элегантные идиллии с неприступными красавицами.

Мать Мопассана считала столь бурную жизнь сына своего рода компенсацией за свои собственные неудачи в любовной сфере. Сын явился для нее средством отмщения за

посредственность и монотонность своей судьбы оставленной женщины. Сын держал ее в курсе своих побед и своих трудов. Она даже обсуждала с ним перипетии романа, который сейчас лежал на его письменном столе и назывался «Сильна как смерть». Но что более всего тревожило обоих в тот момент, так это здоровье Эрве, у которого явно пошатнулся разум. Хотя у Ги давно не было эмоциональных отношений со своим отцом, он все же счел своим долгом известить его 8 февраля 1888 года о разворачивающейся драме: «Эрве пишет письма безумные, отчаянные и бессвязные, от которых мать моя теряет голову. Я вглядываюсь в гущу жутких горестных сцен».

Тревожный семейный климат не мешал ему, однако же, продолжать работу над романом «Сильна как смерть», править гранки нового сборника новелл «Избранник мадам Гюссон», который выходил в свет у Кантена, и наблюдать за публикацией сборника «На воде» у Марпона и Фламмариона. Между делом он предпринимает демарш перед Министерством иностранных дел, чтобы орден Почетного легиона был вручен Андре Леконту де Нуи, благоверному возлюбленной его Эрмины. Когда же пронесся слух, что и сам он, в свой черед, загорелся получить вышеназванный знак отличия, Ги встал на дыбы и мигом настрочил письмо журналисту, повинному в распространении сей сплетни: «Я просил, чтобы этого креста мне более не предлагали и чтобы министра попросили обо мне забыть. Я всегда говорил, и друзья мои могут это подтвердить, что я желал бы остаться вне всяческих почестей и всяческих наград… Я и в письмах-то не признаю официальную иерархию. Мы есть такие, как есть, и не надо, чтобы нас классифицировали. Когда решено ни у кого ничего не выпрашивать, то лучше жить без почетных титулов… Тем не менее, прочтя вашу статью, я хочу вам сказать, что я питаю большое уважение к ордену Почетного легиона и не хотел бы, чтобы подумали обратное» (июль 1888 г.). Словом, всячески отказываясь от ордена Почетного легиона, Ги прилагал все усилия к тому, чтобы не обидеть своих собратьев, имевших слабость придавать значение подобным побрякушкам. Страстный борец с буржуазными условностями, он тем не менее считал вежливость (если не сказать больше) оплотом порядка. Подобную двойственную позицию ему уже случалось демонстрировать, в частности, по отношению к представителям высшего света: с одной стороны, он оттачивал о них свое желчное перо, с другой – не отказывался посещать их. Мопассан все более и более представал перед современниками как бунтовщик, но – бунтовщик осторожный, как ниспровергатель, но – алчущий барышей. «Мопассан, – писал про него заклятый враг Эдмон де

Гонкур, – это даже не нормандский виллан. Он просто плут» (Дневник, 24 июня 1888 г.).

В это время «плут» отчаянно боролся с головными болями, которые считал наследственными, ибо и матушка его издавна жаловалась на мигрени и проблемы со зрением. После краткого пребывания в Этрета, где дождь и ветер так расшатали его здоровье, что ему пришлось фунтами глотать антипирин, он отправился на лечение в Экс-ле-Бен, и хотя не почувствовал ни малейшего облегчения, тем не менее уделил время Эрве, у которого здоровье слабело на глазах, проконсультировался с врачами – и 20 октября 1888 года, валясь с ног от усталости и забот, все же снова отправился в Африку гулять.

21 ноября он пишет из Алжира Женевьеве Стро: «Я выгуливаю свои невралгии под солнцем, ибо тут у нас истинное, горячее, первозданное африканское солнце. Я шатаюсь по арабским улицам до одиннадцати часов вечера без пальто, не испытывая при этом озноба; это доказывает, что ночи здесь столь же горячи, что и дни, но влияние Сахары очень раздражает и нервирует. Не спишь, вздрагиваешь – ну, словом, нервы не в порядке. Ловлю блох в мечетях, кои посещаю, как добрый мусульманин. Я буду размышлять о своем романе в этих смиренных пристанищах для молитв, куда никогда не проникнет никакой шум и где я нахожусь часами подле сидящих или простертых арабов, не вызывая ни малейшего любопытства и ни малейшей вражды со стороны этих изумительных и бесстрастных существ. Особенно восхитительный воздух ласкает, обволакивает, воодушевляет… Когда я выхожу в арабский город, в этот феерический лабиринт домов из „Тысячи и одной ночи“, запахи, к примеру, не столь сладостны, и больше пахнет человеком, нежели полем, – но если нос немного страдает, глаз до безумства упивается зрелищем этих белых или красных форм, этими мужчинами с голыми ногами и этими запеленутыми в белый муслин женщинами, переходящими из одной двери в другую без шума, точно ожившие сказочные герои».

Семью неделями ранее он признавался все той же госпоже Стро, что он против мезальянса в любви. «Согласие, которое достигается между мужчиной и женщиной, которые завязывают любовную связь, основывается отнюдь не на созвучных состояниях ума, но на равных интеллектуальном и социальном уровнях, – утверждал он. – Я начинаю сомневаться, что существо высшего порядка, тонкой породы и рафинированного изящества могло бы влюбиться в весьма рудиментарное существо» (письмо от 15 сентября 1888 г.). Такой вот презрительной сентенцией Мопассан изгоняет в тень женщин скромного положения, которых

любил, – в том числе и Жозефину Литцельман, которая родила ему троих детей. Эти несчастные женщины, рассуждал он, годны лишь на то, чтобы удовлетворять физические потребности мужчины с положением. Между тем в Алжире он, по своему обыкновению, волочится за девицами, и наверняка не кто иная, как одна из них, вдохновила его на написание «Аллумы». Героиня этой новеллы выведена красивой, таинственной, бестиальной, с «нечистым взглядом», который околдовывает и возбуждает. «То была краткая, яростная битва без слов – одними зрачками, вечная битва между двумя брутальными человеческими существами – мужчиной и женщиной, в коей мужчина всегда оказывается побежденным. Ее руки обвивали мою шею и влекли медленным, неодолимым, точно механическая сила, движением к ее красным губам, раскрытым в звериной улыбке, и вдруг наши губы слились, и я обнял это почти нагое тело, увешанное кольцами, которые звенели от моих объятий, с головы до ног».

Вот каков он, Ги де Мопассан, вдали от очаровательной и одухотворенной Женевьевы Стро. И, знаете, ничуть не сомневается в том, что она проявит интерес к этим путевым очеркам, в которых couleur locale смешивается с откровенной чувственностью. Погружаясь с головою в туземную жизнь, он испытывает наслаждение, переписываясь со своими томными подругами, оставшимися во Франции. Он также проявляет беспокойство по поводу работ, проводимых на «Милом друге-II». Подряд на обустройство фронта работ по обновлению медного убранства яхты давно просрочен. Каков скандал! Из Туниса Ги шлет письмо за письмом своему другу, капитану Морису Мютерсу, требуя от него попристальней наблюдать за рабочими и контролировать расходы.

В начале 1889 года он возвращается во Францию, ведет переговоры с различными издателями и различными журналами по поводу переиздания своих ранних новелл, обсуждает условия продажи ряда своих книг на иностранных языках, публикует у Оллендорфа сборник новелл «Левая рука» и, узнав о бедственном положении Вилье де л’Иль-Адана, пожертвовал в его пользу гонорар за хронику в размене 200 франков. После встречи с Мопассаном Эдмон де Гонкур заносит в свой дневник 6 марта 1889 года: «Вернувшийся из африканской экскурсии Мопассан, который обедает у принцессы (Матильды. – *Прим. авт.*), заявил, что он в превосходном состоянии здоровья. Он и в самом деле оживлен, весел, красноречив, и скажу прямо – существенно осунувшись в лице и приобретя смуглый оттенок кожи во время путешествия, он внешне менее похож на себя, нежели обычно. Он вовсе не жалуется ни на глаза, ни на зрение и говорит, что любит

только солнечные страны, что ему никогда не бывает слишком жарко, что, когда ему в другой раз случилось путешествовать по Сахаре в августе месяце при температуре 53° в тени, то и тогда он не страдал от жары».

В этот вечер один из сотрапезников наблюдал за Мопассаном с особенной настойчивостью. Он вперил свой взгляд прямо в лоб писателю, точно хотел проникнуть в его самые сокровенные мысли. Это был знаменитый специалист по душевным болезням доктор Бланш, содержавший клинику в Пасси на рю Бертон, 17. После трапезы Мопассан отозвал его в сторону, чтобы поговорить о своем брате Эрве, душевное состояние которого ухудшалось на глазах, день ото дня. Доктор Бланш выслушал его с вниманием. Но кто в действительности интересовал его более? Эрве или Ги?

Через несколько дней после этой встречи на страницах «Ревю иллюстре» увидела свет «Сильна как смерть» под временным заглавием «Старые молодые», в конце мая 1889 года книга – на этот раз под окончательным заглавием – поступила в продажу во все книжные магазины. Оллендорф раструбил о ней во все иерихонские трубы, и за 6 месяцев разлетелось 35 тысяч экземпляров. В минувшем году Мопассан писал матери о своем еще не законченном романе: «Я… нахожу его очень трудным, потому что в нем должно быть много нюансов, подразумеваемого и невысказанного. Он не будет длинным, и, кстати, нужно, чтобы он прошел перед глазами как видение жизни ужасной, нежной и полной отчаяния». И добавляет: «Мы в полном кризисе продажи книг. Книг больше не покупают. Я убежден, что перепечатки дешевых изданий, бесчисленные 40-сантимовые серии, выбрасываемые в публику, убивают роман. Книготорговцы выставляют в витринах и продают только эти книженции по дешевой цене» (май 1888 г.).

Несмотря на очевидный успех своего романа у читателей «Ревю иллюстре», Мопассан считает себя ущемленным и пишет главе газеты: «Как я и заметил вам, строчка вашего издания, пропорционально „Фигаро“ или „Жиль Бласу“, не обладает той длиной, которую вы мне назвали. Вот цифры, которые были мне названы и которые я, кстати, проверял лично. Строчка в „Ревю иллюстре“ состоит из 75 знаков. Строчка в „Фигаро“ – из 32 знаков плюс небольшой интервал. В „Жиль Бласе“ – из 33 знаков плюс интервал. В среднем на каждую из этих двух газет получается 33. Умножим на два – выйдет 66 знаков, т. е. на 9 знаков менее, чем ваша строка. Стало быть, коли по 1 франку за 33 знака, то 0.50 ф. за 16 и 0.25 за 8. Стало быть – за 9 знаков, на которые ваша строка длиннее, чем две строки в газете, приходится 25 сантимов плюс интервал. Округлим до 0,25 ф.

Итого, согласно условиям нашего же с вами договора, вы мне должны за строчку в журнале 2,25 ф., а не 2. Я велел сосчитать строчки по корректурам, а не по журналу, чтобы избежать трудностей, вызываемых помещенными в тексте гравюрами. Итак, с одной стороны, мы имеем – складывая лист пополам – 6150 полустрок в первой половине листов и 4708 – во второй половине. Итого в целом у меня 10 858 полустрок, т. е. 5429 строк по 2,25 франка, что дает в сумме 12 315 ф. Из них я получил 5500 ф. – вы мне остались должны еще 6815 ф. Примите, дорогой мосье, уверение в сердечной преданности моих чувств» (письмо из коллекции Мориса Дрюона).

Вот так Мопассан, столь щедрый к своим оказавшимся в беде близким и друзьям, внезапно выказал по отношению к своим собратьям по литературному цеху – издателям, редакторам газет и журналов – крайнюю степень недоверия и раздражительности, доходящую до мании преследования. Чем больше денег он зарабатывал, тем более считал себя одураченным. Он ведет свои подсчеты с крохоборской скрупулезностью, шагая по жизни подобно донжуану с бухгалтерскими счетами в руках.

Тем не менее роман «Сильна как смерть» был создан отнюдь не с одними только коммерческими целями. Вовсе нет! Автор вложил в эти страницы саму душу. Конечно, живописец Оливье Бертен – фигура, ничем особенным не выделяющаяся; этому герою не присуща рельефность, как Клоду Лантье из «Творчества» Золя, тем паче Френхоферу из «Неведомого шедевра» Бальзака. Мопассан – кстати сказать, питавший вкус к живописи крупных импрессионистов – наделяет своего персонажа одним из тех академических и слащавых талантов, которые сводят с ума дамочек из высшего общества. Вспоминаешь такого мастера, как Бонна̀, и, пожалуй что, Жерве, которому Ги позировал в 1886 году и которым он по-прежнему восхищался.[75] Оливье Бертен, написавший портрет роскошной красавицы Ани де Гильруа, страстно влюбляется в нее и, как и положено, побеждает ее колебания благоверной супруги. Но их связь тем более преходяща, что оба чувствуют себя достигшими того возраста, когда все сентиментальные иллюзии угасают. Особливо когда рядом дочка мадам де Гильруа Аннетта, которая дерзновенною свежестью своей молодости напоминает о хрупкости их союза. Вместе с этим «Сильна как смерть» – это и взгляд на мучения художника, который боится, как бы его не превзошли и не затоптали молодые живописцы, ставшие предметом увлечения публики, и острый, безжалостный анализ воздействия старения на человека, привыкшего быть всеобщим любимчиком. Оливье Бертен, прочитавший в газете, что он вышел из моды, и

воспринявший это заявление как удар под дых, – в действительности не кто иной, как сам Мопассан, который болезненно воспринимал любое падение своей популярности и оказался внезапно во власти сомнений в своем будущем. «Он всегда был чувствителен к критике и к похвалам, – пишет Мопассан, – но в глубине сознания, несмотря на свое вполне законное тщеславие, он более страдал, когда его оспоривали, нежели радовался, когда хвалили… Ныне, перед непрерывным ростом поросли новых художников и новых поклонников искусства, поздравления становились все реже, а поношения язвительнее. Он чувствовал себя зачисленным в батальон старых талантливых художников, которых молодые ничуть не почитали мэтрами». Равным образом Оливье Бертен, мучимый во время представления «Фауста» в Комической опере мыслью о собственном упадке и считающий себя «деклассированным, выброшенным на отшиб жизни, точно старый чиновник, чья карьера закончена», – это все тот же Мопассан, пишущий Эрмине Леконт де Нуи: «Мне самому только тридцать восемь лет, и тем не менее я больше не молод! Скажу прямо, что если бы даже я был богат и гениален как личность, то даже это не могло бы вернуть мою первую молодость».

А вот что отвечает он неизвестной поклоннице, выразившей ему свои чувства по прочтении «Сильна как смерть»: «Я был очень растроган вашим письмом, по-настоящему растроган. Эту книгу я написал для нескольких женщин, а также – в меньшей степени – для нескольких мужчин. Литераторам она ничуть не понравится. Сентиментальные нотки, которых я добивался, покажутся им нехудожественными. Молодые люди вообще отнесутся с презрением. А все те, кому не случалось любить, сочтут ее недостаточно забавной и волнующей. Но я надеялся, что она заденет некоторые чувства как женщин, так и мужчин и что иные читатели, душа которых окажется схожей или, по крайней мере, в гармонии с душою моих персонажей, вполне поймут, что я хотел сказать. Когда я чувствую, что тронул иные сердца, я доволен. А в другой раз я попытаюсь растрогать другие» (лето 1889 г.).

Несмотря на столь сдержанную оценку своего романа, Мопассан вкусил обрадованным сердцем одержанный сим творением успех у публики и критики. Большая часть литературных хроникеров воздала автору похвалу за ту чувствительность, с которой он показал угасание страсти у зрелого человека, которого подстерег закат лет. Автор статьи, появившейся на страницах «Жиль Бласа», Поль Гинисти завершил свой материал так: «Когда сердце просыпается после долгой спячки, у него остается сила только для страдания». А вот что

утверждает с полос «Синего журнала» Жюль Леметр: «Главная мысль романа – безмерная боль оттого, что стареешь. В этой странной истории мы пальцем ощущаем правду – день за днем, час за часом». В контору Мопассана устремился поток женских писем; иные поклонницы штурмовали двери дома писателя, чтобы объявить ему, что они узнали себя в героине романа. Франсуа Тассар фанфаронился, как будто лично заслужил доставшийся ему отсвет этой славы.

Выход в свет романа «Сильна как смерть» совпал с открытием Всемирной выставки, в котором главным аттракционом была, конечно же, Эйфелева башня. Мопассан, который незадолго до того обрушивал на эту уродливую металлическую колонну потоки брани, решил оказать ей честь и, нанеся туда визит в сопровождении соблазнительной компании, изволил отобедать в ресторане на первом этаже. Все же он нашел тамошнюю кухню отвратительной, не преминув пожаловаться и на то, что каждого блюда «приходилось дожидаться по часу». Вскоре космополитичная толпа, заполонившая Париж, начала его утомлять. Презревши всю эту праздничную сутолоку, он снял в Триеле, близ Во, виллу «Штильдорф», чтобы провести там часть лета. Сена протекала у самого порога. Избавившись от всех светских условностей, Ги плескался в реке, катался на лодке, обдумывал и марал страницы своего будущего романа «Наше сердце». Он также обменивался с графиней Потоцкой письмами, столь же страстными, сколь и бесхитростными: «Никогда я не ощущал своей привязанности к вам столь живо и столь трепетно. Никогда я не чувствовал вас столь дружески настроенной… Соблаговолите написать мне три слова, сударыня, те три слова, которые вам удается иногда превратить в четыре страницы…» И чуть позже (после 14 июля 1889 г.): «…Сударыня, складываю к вашим ногам чувства почетного супруга и подлинного друга…» Отказывая ему, графиня Потоцкая в итоге подчинила его себе. Кстати сказать, сему ярому поборнику мужского доминирования ничуть не претило склонить колени перед женщиной. Исключительный характер подобного отношения забавлял и волновал его. Пожалуй, он даже видел в этой ни к чему не приводящей игре интеллектуальную компенсацию за недоступные в сем случае наслаждения примитивного соития.

Друзья и подруги потоком текли к нему в новое убежище. Он же, в иное время искавший их общества, теперь полагал, что, втягивая его в его веселый треп, они мешали ему продолжать свой труд. 20 июня Ги по-соседски приглашает к себе на завтрак Эмиля Золя. Тот прикатил на велосипеде. Как известно, отношения между двумя литераторами стали прохладнее после

памятного обеда у Траппа. Для Золя не было секретом, что Мопассан находился в почтительном отдалении от натурализма и что, как автор «Пьера и Жана» ни величал его «мой дорогой мэтр и друг», за этим стояло лишь чистое уважение, лишенное какого бы то ни было сочувствия. А раздражали Ги в литературном собрате не столько литературные теории, сколько его догматические позиции по всем проблемам, его претензии быть поборником социальной справедливости и, ко всему прочему, отсутствие у него юмора. И все же Ги, не колеблясь, оказывал ему услуги, как только представлялась возможность. Так, он направил рекомендательное письмо в Компанию западных железных дорог, добиваясь для Золя исключительного дозволения проехать от Парижа до Манта на паровозе – «ученому писателю» необходимо было непосредственно познакомиться с жизнью железнодорожников с целью написания нового романа. И Золя прокатился-таки на паровозе благодаря связям с Ги! Но, прекрасно зная, какую получил от Ги поддержку, Золя по-прежнему относился к нему с недоверием. Соперничая за фавор у публики, они не спускали глаз один с другого, хотя и слали друг другу поздравительные письма по случаю выхода каждой новой книги. Прислуживавший им за столом Франсуа Тассар не преминул констатировать, что их разговор отличался прискорбной простотою. «Подобно двум котам, шпионящим друг за другом, два великих романиста ежесекундно бросали друг на друга взгляды и быстро опускали глаза в тарелку, – вспоминал он. – Это было вовсе не в стиле поведения моего хозяина, всегда столь открытого и столь жизнерадостного». По окончании трапезы Золя сел на свой велосипед и умчался. А торопился он к своей любовнице Жанне, которая некогда заведовала бельем его супруги и была моложе его на 27 лет. «Ох уж этот Золя! – вздыхает Мопассан. – Я ценю его как великого писателя, как значительную литературную величину! Но, – добавляет он чуть ниже, – я лично не люблю его!» И то сказать – кого он любит, кроме нескольких светских женщин, которые водят его за нос?

…И вообще – в Триеле стало слишком сыро, слишком холодно, да еще и этот наплыв посетителей… Невыносимо! «Этот домик сделался местом встреч очаровательных людей, которых я очень люблю, но которые немножечко мешают мне работать, – пишет он доктору Анри Казалису. – В общем, я покидаю его и, поскольку сейчас макушка лета, отправляюсь в плавание, так как знаю, что для моего желудка нет ничего лучшего, чем волнение моря. Пошатаюсь немного по Корсике, потом прокачусь вдоль итальянского побережья из порта в порт до самого Неаполя. Сделаю остановки повсюду, где мне понравится местность, и

черкну там несколько страничек. Это – лучший для меня вид развлечения (débauche)».

Однако, прежде чем отправиться на свидание с полуденным солнцем, он заезжает в Этрета. Там он работает над романом, прогуливается по окрестностям, палит из пистолета, играет в теннис и наносит визит Эрмине Леконт де Нуи – все такой же белокурой, все такой же мудрой и по-прежнему такой же нежной, а по вечерам устраивает для избранных друзей у себя в «Ла-Гийетт» импровизированные спектакли и показ «китайских теней». Но это существование, в котором имелось место и труду, и развлечениям, удовлетворяло его лишь наполовину. Ги жалуется на мигрени, злится на дождь и ветер, утверждает, что его дом наводнен пауками… «В эту ночь я едва сомкнул глаза, – сказал он своему верному Франсуа Тассару. – Я перепробовал постели во всех комнатах, и во всех были пауки. О, какое отвращение испытываю я к этим бестиям! Не могу объяснить почему, но они приводят меня в ужас».

Означенные пауки были для него как бы материализацией куда более глубокого страха: *безумия*. Таковое нависло угрозой над его братом, находившимся в Антибе. Да и сам он подчас бывал не слишком уверенным в своем рассудке. Новости, которые он получал об Эрве, приводили его в такое отчаяние, что необходимость помещения брата в клинику вставала со всею очевидностью. В начале августа Ги пишет отцу: «Мы переживаем страшный кризис. Нужно немедленно запереть Эрве в Броне, близ Лиона… Все деньги, полученные за роман, тратятся и будут потрачены на лечение болезни Эрве и на мою мать… Я устроил Эрве пенсион, которого вполне хватит на оплату пребывания в приюте; я обеспечиваю мою мать… а ведь нужно еще не дать умереть с голоду молодой женщине и ребенку. (Мопассан имеет в виду жену Эрве и их дочь Симону. – *Прим. авт.*) Право, это очень тяжело – так работать, истощать себя, отказываться от всех удовольствий, наслаждаться которыми я имею все права, и видеть, как деньги, которые я мог бы предусмотрительно сберечь, расходятся таким образом».

Бесспорно, зарабатывая своими книгами много денег – около 120 тыс. франков[76]«чистыми» в год, – Ги несет и огромные расходы. Он не только обеспечивает Лору, семью Эрве и Жозефину Литцельмань с детьми, но и без конца арендует виллы там и тут, нанимает новую прислугу, устраивает путешествия, не говоря уже о содержании яхты и жалованье экипажу. Во что обойдется ему помещение Эрве в приют? Отвезя своего брата в лечебницу в Монпелье, он спохватывается и пишет отцу, прося разведать об условиях помещения Эрве в более комфортный

стационар – а именно в Виль-Эврар, департамент Сены-и-Уазы: «Когда ты получишь это письмо, мог бы ты нанять коляску и отправиться в Виль-Эврар? Покажешь директору этой лечебницы письмо доктора Бланша и скажешь ему, что я рассчитываю привезти моего брата в среду утром. Доктор Бланш сообщил мне, что содержание по второму разряду обойдется в 250 франков в месяц. Выясни, верны ли данные сведения, и сообщи директору, что я вынужден довольствоваться вторым разрядом, ибо мой брат, его жена и дочь находятся полностью на моем обеспечении. Телеграфируй мне завтра в течение дня следующее: „Поручение выполнено. Договоренность достигнута“. Прости за то, что не пишу больше. Буду в Париже в среду. Вчера отвез Эрве в приют в Монпелье, полный гнусных и жутких сумасшедших. Завтра я заберу его оттуда» (июль – август 1889 г.; коллекция Мориса Дрюона).

В итоге Ги избрал для своего брата лечебницу в Броне. Многие врачи уверяли его, что пансионеры там хорошо содержатся. Но как убедить больного покинуть семейный кокон? В данное время Эрве жил в Каннах, подле матери. Какие тут могли быть колебания? И Лора поручает Ги препроводить беднягу в психиатрическую клинику. Сделано это было так. Ги назначил своему брату встречу в Лионе под предлогом, что покажет ему комфортабельную виллу, где тот сможет отдохнуть. Эрве принял предложение и был даже счастлив совершить маленькое путешествие. Ги ждал его на вокзале. Затем сели вместе завтракать. За трапезой Эрве казался столь веселым, столь беззаботным, что Ги уже стал сожалеть о принятом решении. Тем не менее он отвел беднягу в приют, убеждая, что это и есть та самая вилла, о которой шла речь. В клинике к братьям отнеслись ласково и вежливо; Эрве не заподозрил ровным счетом ничего. Врач сказал ему: «Подойдите к окну. Взгляните, какой простор перед вами открывается!» Эрве покорно сделал три шага навстречу пейзажу, а врач за его спиной сделал знак Ги на цыпочках ретироваться к выходу. Тот повиновался скрепя сердце. Внезапно Эрве обернулся, увидел, как его брат уходит, обо всем догадался и тоже решил броситься наутек. Какое там! Как из-под земли выросли двое дюжих санитаров и скрутили беднягу. Но тот развязал путы, ринулся к двери и прорычал в адрес Ги, который только что в ужасе перескочил через порог: «Ах, подлый Ги! Ты заточил меня! Это ты сумасшедший, слышишь! Это ты – урод в семье!»

Этот отчаянный крик преследовал Ги как проклятье до самого гостиничного номера в Лионе. Он не мог отделаться от мысли, что предал брата, оставив его в логове врага. Когда он

запер за собою дверь, его желание излить душу было столь велико, что он тут же, не сходя с места, пишет письмо графине Потоцкой:

«Он до такой степени растерзал мне сердце – нет, никогда я раньше так не страдал! Когда мне нужно было уезжать, а ему не позволили проводить меня до вокзала, он принялся так жутко стенать, что я не смог сдержать слезы, глядя на этого обреченного на смерть, которого убивает сама Природа, который никогда не выйдет из этой темницы, не увидит более свою мать… Он чувствует, что с ним происходит что-то ужасное, непоправимое, но непонятно, что… Ах! Жалкое человечье тело, жалкий человечий разум! Какая грязь, какое жуткое творение! Если б я верил в бога ваших религий, какое безграничное омерзение (horreur) испытывал бы я по отношению к нему!.. Если мой брат умрет прежде моей матери, то я боюсь, что сам сойду с ума, думая о страданиях этого существа. О, бедная жена! Ведь она была безжалостно терзаема, подавляема и мучима со времени своего вступления в брак!»

После пережитого кошмара дружба с Потоцкой сделалась в его глазах драгоценней прежнего. Не успев еще оправиться от потрясения, вызванного разлукою с братом, он переходит от юдоли безумства к будуарным галантностям и объявляет Потоцкой **в этом же самом письме** (выделено автором. – *Прим. пер.*) о посылке ей старинного веера, на оборотной стороне которого начертаны нижеследующие два катрена:

Стихов хотите вы? О нет,
Не напишу на этой штуке,
Какую вы возьмете в руки,
Я ни новеллу, ни сонет.

Лишь имя «Ги» поставлю я,
Чтоб вы всегда его читали,
Под легким ветерком мечтали,
Дум сокровенных не тая.

(Перевод Д. Маркиша.)

Все же, плачется ли он о судьбе своего брата или слагает игривые стишки даме, на милость которой надеется, он ни в том, ни в другом случае не изменяет себе. Жизнь уживалась в его голове со Смертью. Испытывая жажду удовлетворения земных страстей и одновременно с этим преследуемый тайнами потустороннего мира, он продвигался, спотыкаясь, навстречу

грядущим дням, самая перспектива которых пугала его.

Затворив своего брата в психиатрической лечебнице – дело было 11 августа, – Ги возвращается в Этрета и **неделю спустя** (выделено автором), подавляя свое горе, устраивает в честь друзей *бурлескный* праздник. 18 августа 1889 года большая часть гостей прибывает на паровой яхте «Бульдог», остальные в экипажах – из Дьеппа, Фекана и окрестных замков. Прибыв на виллу «Ла-Гийетт», гости оказывались в атмосфере ярмарки в самом разгаре. Сад был убран разноцветными флажками, бумажными гирляндами и лампионами. Рассевшиеся на бочках музыканты в синих блузах нескончаемо наяривали мазурки, польки, вальсы и кадрили. Ги закружил Эрмину Леконт де Нуи в вихре неистового вальса. Она взирала на партнера с беспокойством; он же казался ненормально блаженным… Глаза счастливца сверкали, как если бы он хватил лишнего. Потом последовала фарандола.[77] Ги держал за руку одну даму справа, другую – слева. Он снова чувствовал себя на двадцать лет! Время от времени какая-нибудь из танцующих теряла туфлю и разражалась громким смехом. Потом устроили игру в «качалки» у кромки лужи, и самые неловкие попадали в воду. Некая парижанка, одетая марокканкой, гадает на картах. Другая приятельница виновника торжества стоит за буфетной стойкой. Над сонмищем танцующих витали ароматы резеды, пчелиного воска и косметики. Под крики радости мужчины и женщины пьют сухое вино. Разыгрывают лотерею – счастливцы получают живых кроликов и петухов. А потом – сюрприз, о котором громким голосом возвестил хозяин празднества. Это было представление на тему «Преступления на Монмартре». Две сотни приглашенных толпились на аллее перед большим полотном работы живописца Мариуса Мишеля. На холсте была изображена, в стиле trompe l'oeil,[78] подвешенная за ноги голая женщина. Из полумрака как из-под земли возник sergent de ville,[79] осматривает «покойницу», щупает, дергает за натуральные волосы, сплетенные в косы, а затем, подстегиваемый любопытством, со всего маху распарывает ей пузо ножом. Этот нож – не что иное, как стилет, который верно служит самому Мопассану. Этому последнему доставляет истинное наслаждение смотреть на перекошенные от ужаса лица дам. Из вспоротого пуза хлещет кровь. Кроличья. «Parfait! Parfait!»[80] – кричит Ги, в то время как многие зрительницы отворачиваются. В этот момент псевдожандармы набрасываются на «убийцу» и оттаскивают его в хижину, украшенную гордой надписью «ТЮРЬМА». Но узник поджигает свое узилище и удирает сквозь языки пламени. Это не кто иной, как Орля, убегающий из пылающих углей пожара, который был устроен,

чтобы спалить его живьем. Тут вступают в действие этретатские пожарные и заливают из брандспойтов пламя, убийцу и голую бабу; войдя во вкус, они направляют струи на приглашенных, которые обращаются в бегство, задыхаясь со смеху.

Источником вдохновения для этого фарса, который походил на спектакль «Лепесток розы», послужил Мопассану недавний случай: один городовой зарезал на Монмартре женщину. Почему бы не использовать его для забавы людей из доброй компании?

По окончании интермедии близкие друзья отправляются в «Ля Бикок» на ужин к Эрмине Леконт де Нуи. Среди приглашенных – композитор Массне.[81] По просьбе дам он садится за фортепиано. Из-под его пальцев, которые едва касаются клавиатуры, струится ностальгическая мелодия. Пораженный Ги внимает легкому каскаду нот. Какая чистота следом за таким потоком радостной вульгарщины! Но не является ли подобное чередование самим символом человеческого состояния? Как бы там ни было, он уже предвкушал удовольствие от празднества, которое даст для своих друзей в «Ла-Гийетт». В былое время, в компании товарищей по «Перевернутому листу» («La Feuille à l'envers») веселье было более открытым, более стихийным, более здоровым. Неужели он вышел из возраста такого рода забав и шуток? И тут на него нахлынуло отчаяние. Он снова думает о своем брате. Это дикое, опустошенное лицо, глаза, в которых блестит бессмысленный пламень! А этот полный ужаса и плача хрип, который исторг Эрве, поняв, как был обманут! Ги чувствовал, что долее не мог оставаться в «Ла-Гийетт». Избавления следовало искать в другом месте. Но где?

Уже на следующий день после празднества Ги начал подготовку к поездке на юг. Пока Франсуа Тассар и другие слуги приводили дом в порядок, снимали лампионы и подбирали в аллеях бумажный мусор, он паковал чемоданы и давал себе клятву начать новую жизнь. 21 августа он прибывает в Лион, где обедает в компании графини Потоцкой, которая почти тут же отправляется в Италию. На следующий день он идет в лечебницу повидаться с братом; при виде этого несчастного горемыки с помутившимся рассудком, этого зомби,[82] живущего за гранью реального мира, Ги приходит в ужас – охваченный дурными предзнаменованиями, он спешит на вокзал, на поезд до Канн.

Существует ли лучшее средство бегства от дурных чувств, нежели яхта? Там, на юге, его ждал «Милый друг-II» – роскошный, с наблистанным медным убранством и гордой матовой поверхностью. Подняли паруса – и судно грациозно отплывает по волнам к итальянским берегам. Генуя… Портофино… Санта-Маргерита… От порта к порту, от стоянки к стоянке Ги все более

силился позабыть Францию. Он бежал от своего безумного брата, от больной матери, от собственных галлюцинаций и собственного страха кончить жизнь в сумасшедшем доме. Но и жизнь на борту «Милого друга» быстро сделалась невыносимой. Он страдает клаустрофобией в своей тесной каютке. Храп Раймона, доносившийся из-за тонкой перегородки, не давал ему спать. В Санта-Маргерите Ги, признав свое поражение, нанимает меблированные комнаты, чтобы отдохнуть от морского дискомфорта. Оттуда он держит курс на Тунис.[83]

Едва пришвартовавшись, Ги устремляется в бордель. Получив все то, что хотел, он отправляется бродить по тихому кварталу и вдруг оказывается перед дверью дома умалишенных. Какою интуицией приведен он от порога дома греховных страстей до порога юдоли безумства? Влекомый тяготением, которому он был не в силах противостоять, Ги открывает дверь и смешивается с сонмищем помешанных. Увидев его, один пожилой туземец разразился зловещим смехом, подошел к нему вразвалочку, точно косолапый, и прорычал: «Безумцы, безумцы, все мы здесь безумцы! И я, и ты, и сторож, и бей![84] Все сумасшедшие!» Ошеломленный, Мопассан выскакивает за порог. Даже здесь, на этой залитой солнцем земле, Эрве преследует его! Зачем же далее оставаться в Африке? Нет, не здесь следует ему искать отдохновения!

Ги снова возвращается в Италию. Он посещает Пизу, отправляется поклониться месту, где Байрон предал огню тело Шелли – этот английский поэт, с творчеством которого Мопассана познакомил Малларме, был близок ему не только как романтик, но и как человек, влюбленный в море. Поведав Франсуа Тассару о своей встрече с другим английским поэтом – Суинберном, Ги отправляется во Флоренцию; вот как он пишет об этом городе: «Флоренция… притягивает меня почти чувственно; она вся – словно распростертая женщина… – в бесстыжей позе, обнаженная и томная, златокудрая, только что пробудившаяся ото сна…» И вдруг, несмотря на чувственную красу этого города и богатство его музеев, заявил, что не в состоянии продолжать путешествие. Он сетует на боли в горле и внутрикишечные кровотечения. Вновь начались жуткие мигрени. И как болят глаза! Он уже не в состоянии работать. Мудрее всего – не возвращаться на борт «Милого друга». Экипаж перегнал его в порт приписки, а Ги возвратился 31 октября в Канны поездом. Увидев сына, мать упала к нему в объятия и залилась слезами. Он показался ей таким усталым, таким отсутствующим – прямо сомнамбула! Не покинет ли и он ее, в свой черед, чтобы лечь в клинику? «Все шесть дней во Флоренции я страдал от страшных кровотечений

при температуре 39 градусов, – пишет Ги доктору Жоржу Даранберу. – Мне пришлось спешно вернуться в Канны. С этого времени, должно быть, у меня остались плохо зарубцевавшиеся язвы в брюшной полости, которая вздулась, как мешок с яблоками. Я не могу ходить, не испытывая боли…» (Канны, вилла «Континенталь», ноябрь 1889 г.).

Несмотря на собственное вконец расстроенное здоровье, он отправился повидать своего брата в лечебнице в Броне и застал того почти лишенным всякого сознания, уже отмеченным печатью нежеланья жить. Он возвращается в Канны с чувством, что эта встреча с братом – последняя. «Я застал Эрве совершенно безумным, без малейшего проблеска разума и не оставляющим нам ни малейшей надежды на выздоровление, о чем моя мать ничего не знает, – пишет он Люси ле Пуатевен. – Те два часа, что я провел с ним в лечебнице в Броне, были жутки – он меня прекрасно узнал, плакал, раз сто бросался целовать, хотел уехать – но при этом постоянно заговаривался. Мать моя, со своей стороны, более не может ни ходить, ни говорить; как видите, все у нас ни к черту!» (конец октября 1889 г.) Несколько дней спустя его сразила новость, которой он боялся как огня: 13 ноября 1889 года в лечебнице после душераздирающей агонии ушел из жизни Эрве. А было ему тридцать три года от роду. Жена и дочь его остались без средств к существованию. Ему, Ги, заботиться о них! Он не имеет права болеть! Столько людей в нем нуждаются! Ги поручает своему адвокату, мосье Жакобу, создать семейный совет для попечительства над маленькой, еще несовершеннолетней Симоной.

На следующий год он снова отправится в Брон, поклониться могиле Эрве. Сопровождавший его Франсуа Тассар наблюдал за ним с беспокойством. Казалось, Ги был очарован надписью, выгравированной на черном камне: «ЭРВЕ ДЕ МОПАССАН». Не он ли сам покоится под этим камнем? Стараясь казаться непринужденным, он говорит своему камердинеру: «Эта могила – точно такая, как нужно. Она округлена. Дождь будет омывать ее». И вдруг у него не выдерживают нервы – горькие слова так и полились потоком: «Я видел, как умирал Эрве. Он ждал меня. Он не хотел умирать без меня. „Мой Ги! Мой Ги!“ У него был тот же голос, что и в „Верги“, когда он, ребенком будучи, звал меня в саду… Франсуа, он целовал мне руку!» И – разрыдался. Франсуа, как мог, утешал его. Потом оба двинулись медленным шагом навстречу городу. Навстречу жизни.

Глава 15
Новый косогор

Вернувшись в Париж в начале зимы, Мопассан внезапно решил переехать на новую квартиру. Он окончательно рассорился со своим кузеном Луи ле Пуатевеном, владельцем дома № 10 по улице Моншанен, где он покуда жил. Долгая привязанность к этому своему спутнику юных лет не стала препятствием для возникновения экстравагантной истории с калорифером. Постоянно мучимый мыслью, что его могут надуть, Ги пишет родичу письмо весьма сухим тоном: «Я нахожу достойной удивления претензию заставить меня платить за калориферное отопление во время моего отсутствия в Париже, невзирая на наши вполне утвержденные договоренности и наши разговоры, содержание которых я предпочел бы здесь не уточнять… Я не могу принять как должное твое поведение по отношению ко мне и должен тебе напомнить, что, если бы не мое быстрое вмешательство, мои отец и мать напрочь порвали бы с тобой по причине твоего образа действия в некоем вопросе относительно наследства моего деда». Хотя споры по поводу наследства деда Жюля имели место еще четырнадцать лет назад, Ги не забыл о них. И на сей раз он был решительно настроен на атаку: «Поскольку я не желаю выяснений по поводу этого дела с отоплением, – продолжает он, – …я вверю дело в руки моего адвоката мосье Жакоба… Со всех точек зрения, юридическое решение вопроса меня устроит… Добавлю к сему, что ты ни разу не дал моему слуге небольшого вознаграждения, обещанного тобою и твоей женою, тогда как я давал по десять франков ежемесячно всем твоим горничным за одно то лишь, что те открывали дверь в мое отсутствие».

Порвав со своим кузеном, он ищет в Париже новую квартиру и находит таковую – на взгляд, вполне приемлемую – по адресу: авеню Виктора Гюго, 14. Квартира располагалась в антресолях и состояла из пяти комнат. Но едва Ги обосновался в ней, как тут же разочаровался. Владелец клялся и божился, что дом тихий и спокойный и населен добропорядочными буржуа. И что же? Оказывается, в квартире под ним живет булочник, который ночью трудится не покладая рук, производя при этом такой ужасный шум, что Ги не в состоянии ни спать, ни писать! Более того – мука привлекает тараканов. Не забылись еще пауки на вилле «Ла-Гийетт», так теперь эти усатые чудовища! Выйдя из терпения, он нанимает очередную меблированную квартиру и дает знать

своему верному защитнику мосье Жакобу, который готов броситься в огонь и в воду за своего непреклонного клиента. Затем по совету министерского чиновника он пригласил эксперта – главного архитектора Парижа, чтобы тот оценил уровень шума в жилище и подтвердил, что таковое для проживания непригодно. Чтобы не возбудить подозрения у консьержей, он устроил в этот же вечер знатный обед. Прислуживавший за столом Франсуа Тассар вострил уши, прислушиваясь к разговорам пирующих. Стоило одному из них, врачу, заявить, что души не существует, все бросились наперебой высказывать свое мнение по данному вопросу. И вдруг посреди всеобщего гвалта раздается ясный голос Мопассана: «Если бы я был опасно болен и если бы люди, окружающие меня, пригласили ко мне священника, я принял бы его!» …Люди, окружавшие хозяина торжества, так и вскрикнули от неожиданности: ведь его считали агностиком, антиклерикалом… Он же посреди воцарившейся тишины вынул из букета розу и принялся ощипывать лепесток за лепестком. Медицинское светило, он же эксперт в области человеческой души, сочло за благо ретироваться на цыпочках. На следующий день Ги сказал своему камердинеру: «В конце концов, если мне заблагорассудится пригласить священника к моему смертному одру, то, как мне кажется, я вполне волен сделать это! Моя точка зрения на этот счет никогда не изменится, но я не желаю считаться с этими категорическими требованиями, пытающимися принудить меня мыслить, как другие!»

И снова Мопассан испытывает крайнюю необходимость в провозглашении своей независимости – это для него вопрос жизни или смерти! Какова бы ни была его неприязнь по отношению к церкви, он не может себе позволить, чтобы всякие любители читать морали диктовали ему, как себя вести. А может быть и то: безумие и уход Эрве пробудили в нем интерес к тайнам потустороннего мира. Как-то раз, блуждая мыслью, Ги задался вопросом, не обладают ли блаженные ясновидцы (les illuminés) правотой перед учеными.

Занятый поиском самого непостижимого ответа на этот вопрос, Мопассан, однако же, не забывает сделать выволочку виновнику своих несчастий. Приводим его письмо мосье Норману, сборщику квартирной платы:

> *«Милостивый государь,*
>
> *Я считаю совершенно невозможным продолжать далее свое пребывание в квартире, которую вы мне сдали.*
>
> *Во всяком случае, я должен немедленно ее покинуть по предписанию врача, засвидетельствованному в*

законном порядке, и поехать на юг лечиться и восстанавливать силы от тяжелого нервного заболевания, вызванного двухнедельной бессонницей, которой я обязан ночной работе живущего подо мной булочника. Я предупреждал вас, что нервы у меня слабые, а сон некрепок, и я откажусь быть вашим квартирантом, если в моих комнатах по ночам будет слышен шум из пекарни.

Вы возразили, что мне нечего опасаться и что ничего не будет слышно, ибо пекарня находится в полуподвальном этаже.

Но оказалось, что голоса и шум работающих так ясно слышны в моих двух комнатах, расположенных наверху, как если бы они прилегали к самой пекарне. Это я могу подтвердить свидетельскими показаниями.

Следовательно, меня обманули.

Вы уверили меня, кроме того, что никто никогда не жаловался.

Но я только что узнал о тяжбе, имевшей уже место по поводу этой булочной, между жильцом третьего этажа и домохозяином.

По возвращении с юга я сделаю новую попытку приучить себя к этому ночному шуму, чтобы не потерять шести тысяч франков, только что истраченных мной на обивку, занавесы и переезд.

Если мне это не удастся, я потребую у вас расторжения моего договора, основываясь вдобавок на вашем письме, которым я располагаю.

Если домовладелец откажется сделать это, я обращусь в суд и буду, кроме того, требовать возмещения убытков, вызванных переездом, частичной потерей трудоспособности и путешествием для поправления здоровья, ибо вы обязаны были обеспечить мне в снятой квартире полный покой ночью».

Не дожидаясь результатов тяжбы, Мопассан уезжает в Канны, где останавливается в пансионе «Мари-Луиз». Солнце и вольный воздух наполняют его энергией, он пишет страстно и увлеченно. На пределе сил заканчивает роман «Наше сердце» и одновременно сочиняет новеллу «Оливковая роща». По странному совпадению герой этой новеллы – священник, один из тех святых отцов, к которым Ги, по его собственным словам, не побрезговал бы обратиться, если бы решил заручиться поддержкой сил небесных. Но аббат Вильбуа сталкивается с

таким откровением, что его вера в Бога поколеблена. Оказавшись лицом к лицу с бродягой, который называет себя его сыном, аббат охвачен ненавистью и угрызениями совести. «Он, который именем Божиим отпускал столько гнусных грехов, шепотом поведанных ему в таинстве исповеди, почувствовал, что в нем самом нет ни сострадания, ни жалости, и он уже не взывал более к милосердному, всеблагому Богу…» Шантажа со стороны пьяного бродяги аббат вынести не мог, и между двумя мужчинами разразилась жестокая свара. Итог: аббата находят спящим вечным сном с перерезанным горлом, его оппонента – спящим сном пьяного. Не успевшего протрезвиться бродягу арестовывают. Но остается сомнение: не сам ли священник покончил с собой, чтобы избежать пугающей его ответственности? На нескольких страницах этой новеллы автор сконцентрировал дорогие его сердцу темы, которые он здесь и там поднимал в своем творчестве: женское коварство, внезапное появление бастарда, фатальность, самоубийство, религия… Когда с визитом к Мопассану явился Тэн,[85] радушный хозяин читал ему вслух «Оливковую рощу», и почтенный старец воскликнул с восторгом: «Это достойно Эсхила!» А Мопассан уже трудится над другой новеллой – «Бесполезная красота». Он собирается поместить их в сборник, выходящий у Авара. «Относительно вашего тома хочу вас уверить, что „Бесполезная красота“ в сто раз ценнее „Оливковой рощи“, – пишет автор издателю. – Она заведомо придется по вкусу буржуазной чувствительности. Но у буржуазной чувствительности – нервы вместо суждения. „Бесполезная красота“ – самая ценная новелла из всех, которые я когда-либо написал. Она не что иное, как символ» (письмо от 17 марта 1890 г.). Невзирая на нарочито неестественный, напыщенный лирический акцент, «Бесполезная красота» поражает читателя тем, с какою настойчивостью Мопассан развивает в этой новелле тему своего ужаса перед материнством. Как и в «Монт-Ориоле», автор открыто высказывает в «Бесполезной красоте» свое отвращение к оплодотворению женщины. «Право, есть ли на свете что-нибудь более мерзостное, более отвратительное, чем этот грязный и смешной акт воспроизводства существ, против которого бунтуют и навсегда взбунтуются все тонкие души?» – говорит один из персонажей. По мнению Ги, любить женщину – значит пытаться забыть о наличествующем в ней животном начале. Одна только мысль о том, что под ее атласною кожей скрываются внутренние органы, вены и соки, вызывает в нем тошноту. Говоря о сексуальном акте одной из своих любовниц – Жизели д’Эсток, – он рубит сплеча: «Я нахожу решительно скучными эти органы для наслаждения, эти непристойные

отверстия, чья истинная функция состоит в наполнении выгребных ям и вызывании удушья в носовых полостях. Мысль о том, что мне потребуется раздеться для того, чтобы выполнить это смехотворное движение, меня сокрушает и заранее заставляет зевать со скуки». И напускается на Господа Бога, единственно виновного в несчастьях и уродствах человечьей глупости, которая бесчестит планету. Не кто иной, как он, Господь, унизил акт любви, придав ему гротескный вид восседания друг на друге (chevauchement grotesque). «Можно сказать, – заявляет Мопассан, – что неискренний и циничный Создатель пожелал навсегда воспрепятствовать человеку облагородить, украсить и идеализировать свою встречу с женщиной». И далее, с еще большей желчью: «Знаешь, как я представляю себе Бога? Это – не познанный нами чудовищный творящий орган, который засевает пространство миллиардами миров, точно так же, как одинокая рыба мечет в море икру. Он творит, потому что такова функция Бога – но он не ведает, что творит. До глупости плодовитый, он не сознает всякого рода комбинаций, производимых его рассеянными всюду зародышами».

Вдохновленный Шопенгауэром, Ги решил, что, выпустив в свет «Бесполезную красоту», сквитал свои счеты с миром таким, как есть. Но в действительности этот гимн женщине стерильной, никогда не болеющей и всегда доступной как объект наслаждения, обожания и ласк, суть не что иное, как отзвук отроческих бунтов против общества, в котором, как он опасался, ему не найдется места. Разнузданному жизнелюбу сорока лет от роду еще порою грезятся нематериальные *любови*; хвастаясь своими эротическими подвигами, он лелеет голубой цветок юношеских иллюзий. Единственная женщина, с которой он разделил бы свое существование, – это его мать. Она служит более или менее веским оправданием тому, что он избегает продолжительных связей. Все, что ему известно о будничной интимной жизни человеческой пары, он наблюдает у других. Невзирая на годы и встречи, он так и не достиг зрелого возраста. Он это знает и превозносит это. «Помните меня? – пишет он Женевьеве Стро. – В Париже в минувшем году был такой мужчина… с немного тяжелым, немного суровым взглядом пехотного капитана, порою ворчливый. Этот мужчина, который был всего лишь торговцем прозою, испарился к осени, и никто толком не знает, что он делает» (1889 г.).

Занимаясь подготовкой публикации сборника новелл под общим заглавием «Бесполезная красота» и своего нового романа «Наше сердце», «торговец прозой» решил в очередной раз сменить квартиру. Он нанял таковую в доме под номером 24 по улице

Боккадор и, едва договор о найме был заключен, шлет письмо матери: «Моя новая квартира будет очень красива, одно нехорошо: туалетная комната слишком мала и плохо расположена. Я вынужден был предоставить Франсуа большую красивую комнату, которая пригодилась бы мне в качестве туалетной, чтобы ночью он был со мною рядом. Дело в том, что при бессонницах, сопровождаемых кошмарами, мне прописаны сухие банки вдоль позвоночника. Это меня мгновенно успокаивает и столь легко переносится, что может быть повторено и на следующий день. На самом деле у меня нормандский ревматизм, и притом с такими осложнениями, что парализует все функции моего организма. Механизм работы моего глаза следует за состоянием моего желудка и моего кишечника».

Единственным средством от этих недугов, приводивших в смущение медицинских светил, был курс лечения в Пломбьере. Ги согласился, но ему нужно было вернуться в Париж к началу продажи «Нашего сердца». «О моем романе „Ревю де Де Монд“ отзывается как об удаче, – пишет Ги все в том же письме. – Он поражает новизной жанра и обещает много хорошего…Люди в моем положении теряют все, если не живут в Париже, ибо тут все делается путем непрестанных ухищрений, а малейший перерыв сводит все на нет» (письмо 20 мая 1890 г.). А ведь это тот самый писатель, который гордо заявлял Жюлю Кларети: «Я никогда не женюсь. Я никогда не буду награжден. Я никогда не буду кандидатом в Академию. Я никогда не буду писать в „Ревю де Де Монд“»! Означенный журнал, который Мопассан доселе считал душной прихожей Академии, отныне казался ему не столь отталкивающим. Фигурировать в числе его авторов означало заслужить благосклонность изысканной публики. Мало-помалу грубый живописатель нормандского пейзанства превратился в психолога салонов. Ныне он не производит вивисекцию душ праздного и упадочного общества.

Герой «Нашего сердца» Андре Мариоль, 37-летний холостяк, оказывается буквально во власти чар прекрасной вдовы Мишель де Бюрн, окруженной целым сонмом поклонников. Единственное наслаждение сего исключительного создания – коллекционировать знаки мужского обожания и властвовать над воздыхателями при помощи чередования ласки и жестокости, обещаний и отказов. Эта фатальная до кончиков ногтей женщина – сущая Цирцея конца XIX столетия. Понимая, что она в конце концов разорит его, Андре Мариоль избегает ее и пытается забыть о ней в объятьях своей весьма аппетитной молоденькой горничной по имени Элизабет. «Она – женщина, – говорил себе Андре. – Все женщины одинаковы, когда нравятся нам. Я

превратил свою горничную в свою любовницу. Она красива и, может быть, сделается очаровательной. Она, во всяком случае, моложе и свежее, чем светские дамы и кокотки». Но Мишель де Бюрн слишком большая кокетка, чтобы примириться с дезертирством одного из своих преданных рыцарей. Она приглашает Андре к себе в Париж. Мариоль повинуется, но берет с собою хорошенькую Элизабет. Эта последняя думает, что потеряла его, но хочет быть причастной к этой слабой иллюзии счастья. Уточнять, чем дело кончилось, Мопассан не пожелал. Ну, не прекрасная ли романтическая иллюстрация положения одного из его последних писем к Женевьеве Стро, что человеку мыслящему невозможно удовлетвориться любовницей ниже себя по положению?

Роман «Наше сердце» – светский, чопорный, напыщенный – вызвал неистовое любопытство всего парижского общества. Все в едином порыве ударились в поиски источника вдохновения образа Мишель де Бюрн – сей ненасытной пожирательницы мужских сердец. Одни, как, например, художник Жак-Эмиль Бланш, видели в ней портрет Эммануэлы Потоцкой. Ледяной кумир, патронесса, абсурдная царица «Маккавеевых пиров» – в самом деле, чем не Мишель? Другие клялись и божились, что, сочиняя портрет своей героини, Мопассан имел в виду Мари Канн. Рассказывали, что она порвала с Полем Бурже именно для того, чтобы отдаться Мопассану, и что ее любовные требования повергали сочинителя на колени – и это при всей его экстраординарной способности быстро восстанавливать силы! Со своей стороны, Эрмина Леконт де Нуи утверждает, что узнала себя в Мишель де Бюрн. Ее книга «Любовная дружба» явилась элегантным эхом «Нашего сердца». Кстати, и внешне Эрмина напоминала словесный портрет Мишель: «Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной, и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк…».[86] Сам Эдмон де Гонкур и тот не удержался от соблазна попытаться разгадать тайну и пишет об этом в своем дневнике 5 июля 1890 года.

Мопассан только посмеивался над всеми этими вычислениями и наотрез отказывался дать однозначный ответ на вопрос, кто же скрывается под личиною коварной Мишель де Бюрн. Не стоит сомневаться, что он соединил в этом персонаже чары и козни многих особей женского пола, которые оставили след в его жизни. От Эммануэлы Потоцкой к Женевьеве Стро, не обходя стороною Мари и Канн, Эрмину Леконт де Нуи и еще нескольких других, каждая из которых была близкою подругой

Ги, – все они завлекали его своими чарами, а потом аккуратненько отваживали, и все они соединились в этом символическом образе. В глазах Мопассана этот образ воплощает в себе вечный капкан женственности, которая притягивает, точно водоворот, и, точно водоворот, затягивает всех, кто уступает головокружительному соблазну.

Многочисленные читательницы были польщены тем, какою почти сверхъестественною силой Мопассан наделяет слабый пол. Писатель точно рассчитал удар. Благодаря сюжету, которого он коснулся на страницах «Ревю де Де Монд», он получил возможность двинуться на завоевание завидного рынка высшего парижского общества. Вслед за молниеносной карьерой сурового, коренастого и приземистого писателя он пустился охотиться на исключительных угодьях Поля Бурже. Вот только не совершил ли он коммерческую ошибку, тиснув роман сперва на страницах журнала? О своих беспокойствах по этому поводу он поведал матери: «Публикация в „Ревю“ все же наносит ущерб продаже. Крупные парижские книготорговцы говорят мне, что шестеро из десяти верных мне покупателей, прочитав роман в „Ревю“, не покупают книгу. И еще вот какая несуразица. Весь шум – а он был значительный! – поднялся в момент появления романа на страницах „Ревю де Де Монд“, а когда вышло отдельное издание, о нем уже перестали говорить. Несмотря на это, продажа идет, хотя и медленно, и все же я думаю, что она превзойдет продажу книги „Сильна как смерть“, которая разошлась в количестве 32 тысяч. И все-таки, в принципе, я считаю – прекрасно, что „Наше сердце“ появилось на страницах „Ревю“. Теперь меня знает особая публика, читающая этот журнал, а позже и покупать будут. Я завоевал себе, таким образом, читателей» (июль 1890 г.). Прошло несколько дней, и он вновь возвращается к будоражащим его материальным вопросам: «Продажа почти не идет, несмотря на *крупный* успех этой книги, – пишет Ги матери. – Дело в том, что публикация в „Ревю де Де Монд“ отняла у меня таких покупателей, как весь парижский свет, а во всех городах провинции – чиновничий мир, мир профессуры и магистратов. По мнению Оллендорфа и комиссионеров-книготорговцев, это соответствует как минимум 25–30 тысячам покупателей. Правда, это имело и свои положительные результаты, как то: проникновение книги в различные слои общества. Но все-таки это потеря» (письмо от 5 августа 1890 г.).

Упущенная выгода от продаж, однако, компенсировалась существенными правами, предоставленными автору «Ревю де Де Монд». По его мнению, в конечном счете он провернул неплохую операцию, как с художественной, так и с финансовой точки

зрения. Кроме того, отзывы прессы никогда еще не были такими теплыми. Журналисты видели в этом романе исследование любовных нравов современности, проведенное с удивительной психологической остротой. «Тончайший и продуманнейший психологический этюд!» – утверждает Поль Гинисти из «Жиль Бласа». Андре Алле[87] на страницах «Журналь де Деба» выражает восторг по поводу человеческой правды, воплощенной в двух героях: «Мне думается, что меосье Мопассан никогда еще не создавал столь живых и человеческих персонажей!» Ну, а если верить «Синему журналу», Мопассан никогда еще не выказывал себя таким крупным писателем, как в «Нашем сердце». Те представители крупной буржуазии, которые кривили рот при упоминании имени писателя, который ярко живописал те среды, где лучше бы не появляться, теперь венчали его венками, ибо ныне язык писателя сделался вполне высокопробным. Мопассан становится для них *своим* человеком! Его можно без стыда принимать у себя в библиотеке. Сам Анатоль Франс горячо приветствовал эту благотворную перемену и выступил в газете «Тан» со следующим заявлением: «Мосье де Мопассан проницателен в своей простоте. Его новый роман хочет явить нам мужчину и женщину в году 1890-м, живописать нам любовь – древнюю любовь, первородное дитя богов – в образе нашего времени и в ее последней метаморфозе… У него такая сила таланта, такая уверенность руки и такая искренность, что нам следует предоставить ему говорить и делать то, что ему хочется».

Нужно ли говорить, как льстил Мопассану этот сияющий успех, каковым он, как считал сам, был обязан в первую очередь доскональному знанию женской природы. Возвращаясь к минувшему, он гордился перечнем своих побед. Предпочтение Мопассан всегда отдавал блондинкам; у большей части его героинь волосы отсвечивали золотом. Впрочем, Ги вспоминает и о рыжеволосой красавице, которую он завлек к себе на ночь после бала и которая хотела пробыть у него в комнате несколько дней, так что писатель даже крикнул Франсуа Тассару: «Я ее больше не желаю, выкиньте-ка ее прочь!» Была еще некая отвергнутая им молодая особа, которая, не застав Мопассана дома, оставила у него на столе записку с единственным словом: «Cochon!» И еще одна, которая преследовала его, зажав в кулаке револьвер; и прекрасная фламандка, которую он привез в Хэмпшир и которая обладала такой роскошной грудью; а там еще батрачки, официантки, колеблющиеся вдовушки, неутоленные жены, арабки, негритянки, обитательницы борделей и зрелые представительницы буржуазного сословия… На вершине сей толпы нежных созданий с оголенными ляжками ныне находились

дамы света в своем мишурном ореоле. Ги торжествовал: он чувствовал, что завоевал их душу, а это куда ценнее, чем победа над телом! «Наше сердце» – почтительная дань их превосходству. Чем больше говорят об этом романе, чем больше ищут ключи к нему, тем больше он убеждал себя, что совершил благую эволюцию, сблизившись с прелестными созданьями, населявшими долину Монсо и Фобур-Сен-Жермен.

Тем не менее, вложив в эту книгу столько собственной души и столько душ своих приятельниц, он не терпел малейшей небрежности в том, что затрагивало его приватную жизнь. Сама мысль о том, что владелец книжного магазина собирается поместить в витрине его фотографический портрет, привела его в неукротимое бешенство. Точно так же, узнав о том, что по заказу Шарпантье гравер Дюмулен исполнил, не предупредив его, портрет для воспроизведения в «Вечерах в Медане», он пришел в ярость и тут же, не сойдя с места, сел строчить письмо своему адвокату мосье Жакобу: «Так как я запретил продажу своих фотографий, равно как и любых других портретов, мосье Дюмулен мог разжиться моей карточкой, только позаимствовав из альбома кого-то из моих друзей. Я сейчас же отправился к издателю Шарпантье на рю Гренель, 11…Я выразил яростный протест и заявил, что дойду до суда, если мое изображение не будет изъято из книги, которую уже начали рассылать…Кто дал право изготовлять, выставлять и продавать портрет кого бы то ни было, сделанный без его ведома и вопреки его желанию?» Одновременно он обрушивает громы и молнии на несчастного Шарпантье: «Я отказал в этом разрешении гг. Надару, Авару, Полю Марсану, приходившему от „Монд иллюстре“. Я отказал в этом десятку газет, „Иллюстрасьон“ и др…Вот чего я требую: вы должны сообщить мне точную цифру нового тиража „Вечеров в Медане“, чтобы я смог сопоставить количество существующих портретов с количеством уничтоженных. Эти офорты должны быть изъяты из всех экземпляров, находящихся у вас на складе. После означенной операции эти экземпляры должны быть обменены на те, что вы уже сдали в книжные магазины. И с этими томами надлежит поступить сходным образом. Все изъятые офорты должны быть переданы либо мне, либо мосье Жакобу по адресу: Фобур-Монмартр, 4, для обеспечения контроля. Если такой порядок действий для вас неприемлем, то я нынче же обращаюсь в судебные инстанции». Досталось и граверу Дюмулену, чей образ действий Мопассан нашел «необъяснимым и не поддающимся определению» (inqualifiable), и тоже грозился действовать против него силою закона. Но все художники как будто сговорились – вот и Анри Туссен обращается к Мопассану с

просьбой оказать ему честь и разрешить написать его портрет. Ги отвечает в раздражении: «К моему большому сожалению, я не могу дать вам испрашиваемое вами разрешение, ибо я в этом уже отказывал много раз. Я уже давно решил запретить публиковать как мой портрет, так и биографические сведения, считая, что частная жизнь человека, равно как и его лицо, не могут принадлежать публике» (письмо от 17 марта 1890 г.).

Напрашивается вопрос: а не является ли столь глубокое отвращение Мопассана к тому, чтобы его изображение сделалось достоянием любопытства публики, еще и глухим опасением раздвоения своей личности, триумфа *Орля*, который, обретя его черты, разлетится по свету? Впрочем, вскоре Ги меняет свое мнение на этот счет и уступает аргументам своего адвоката Эмиля Стро. «Действуйте по своему усмотрению, – пишет ему Ги в конфиденциальном письме, – но, если сочтете дело сомнительным, оставьте его, ибо оно вскоре сделается досадно-скучным».

Пройдет еще несколько месяцев, и он, вне всякой логической последовательности, снизойдет до того, что милостиво разрешит великому Надару то, в чем отказывал другим фотомастерам: «Итак, я дозволяю вам продавать маршанам[88] и публике мои фотографии, – заявляет ему Ги. – А то я получаю столько писем от людей, кои у меня их требуют, не найдя нигде в продаже, прямо кошмар! Если я впоследствии позволю сделать свои снимки другим фотографам, то я не обещаю вам эксклюзивного права на их продажу, но, тем более, не сделаю никому поблажки вам в ущерб» (письмо от 21 февраля 1891 г.). Вспоминает ли он о том, что хотел устроить судебный процесс против Шарпантье? Подобные колебания настроения поражали всех его друзей. Тем не менее оставался принцип, от которого он не отступал: неприкосновенность интимной жизни писателя. Жаждая публичности и обожая светские сборища, он тем не менее предпочитал держать свою личную жизнь скрытой от посторонних глаз. Это противоречие между выставлением напоказ собственного поведения и требованием сдержанности от своего окружения ничуть не смущало его. Как раз после истории с портретом он пишет об этом неизвестной корреспондентке:

«Я не понимаю, что такое физический стыд, но у меня преувеличенная стыдливость в отношении своих чувств, такая стыдливость, что меня волнует малейшее поползновение узнать о моих интимных переживаниях.

И если я когда-нибудь стану достаточно известным, для того чтобы любопытное потомство заинтересовалось тайной моей жизни, то одна мысль о том, что тень, в которой я держу свое

сердце, будет освещена печатными сообщениями, разоблачениями, ссылками, разъяснениями, порождает во мне невыразимую тоску и непреодолимый гнев. Мысль, что станут говорить о Ней и обо мне, что люди будут судить Ее, женщины делать свои замечания, журналисты проводить дискуссии, что будут оспаривать, анализировать мои чувства, что снимут штаны с моей благоговейной нежности (простите это ужасное выражение, но оно мне кажется уместным), эта мысль повергает меня в яростное бешенство и глубокую печаль».

И уточняет в письме к другой анонимной корреспондентке:

«Я склонен думать, что у меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, то старое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать. А в мозгу у меня душа латинского народа, очень усталая. Бывают дни, когда я так не думаю, но и тогда я страдаю, потому что я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо умею скрывать. Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик, потому что у меня хорошие глаза. Мои глаза говорят сердцу: спрячься, старое, ты смешно! И сердце прячется».

Как раз в то время, когда Ги находился на вершине мытарств и смятений, Александр Дюма-сын пригласил его на обед у Дюрана, на площади Мадлен, рассчитывая прельстить перспективой избрания во Французскую Академию. Мопассан ответил с негодованием: «Я ни за что не соглашусь войти в состав компании, членом которой не был мой великий друг и учитель Гюстав Флобер».

Измученный шумом и гамом Парижа вкупе с донимавшими его мигренями, Ги ищет отдохновения в Экс-ле-Бен, потом – в Пломбьере и, наконец, в Жерердмере, где он встретился с Мари Канн. Пейзаж Вогезов, озаренный присутствием Мари, чаровал и успокаивал его. Он обожал эти зеленые склоны, эти подернутые дымкой горы, эту таинственную гладь озер, в которых отражались сосновые и буковые леса. «По всем склонам текут бесчисленные источники, потоки, ручьи… Словом, вода, вода и еще раз – вода, и она бежит, ниспадает, струится, журчит; каскады, реки под травой, реки подо мхами, самыми красивыми из всех, какие я только видел; повсюду вода, повсюду холодная, пронизывающая, легкая влажность от резкого воздуха этой возвышенной местности», – пишет он матери. Впрочем, вскоре он застучит зубами от холода: его замучает ревматизм, и улыбки Мари Канн уже не смогут отогреть его. Стоит ли строить куры женщине, когда все ваше тело – одна зияющая рана?

Ги надеется исцелиться в Этрета, но и в «Ла-Гийетт» холодно, как в ледяной пещере. Сидя перед камином, он предается отчаянию. «Меня снова одолели мигрень, слабость и нервное раздражение, – пишет он матери. – Стоит мне написать десять строк, как я уже вовсе не сознаю, что делаю; мысль утекает, как вода сквозь шумовку. Ветер здесь не прекращается, так что постоянно приходится поддерживать огонь». Иззябший, раздраженный, он даже подумывает о продаже этого дома, в постройку которого вложил столько любви. Дом, который так соблазнял его в молодые годы, теперь лежал на его плечах, точно бесполезный груз. Может, ему станет легче и он ощутит себя более свободным, когда порвет последние связи с прошлым?

Как бы там ни было, ему необходимо такое лекарство, как солнце. Известив своих верных морских волков Раймона и Бернара, он отправляется в Канны; один только вид «Милого друга-II» утешил его. Эта обычная в общем-то яхта казалась ему самой красивой из всей каннской флотилии. Вот какие исполненные лиризма строки посвящены этой «большой белой птице»: «Ее паруса из тонкого нового полотна бросали под августовским солнцем огненные блики на воду; они были похожи на серебряные шелковистые крылья, распустившиеся в бездонной голубизне неба. Три ее фока улетают вперед – легкие треугольники, округляющие дыхание ветра; главный фок, упругий и огромный, проколот гигантской иглой мачты, возвышающейся на восемнадцать метров над палубой, а грудь выдается вперед. Позади всех, словно спящий, последний парус – бизань». Он проводит на ее борту целые дни, бережно проводя ее по волнам; держит курс то в Сен-Рафаэль, где живет его отец, то в Ниццу, где на вилле, возвышающейся над бухтой Ангелов, живет мать с невесткой и внучкой. Несмотря на *приглушенную* озлобленность, царившую между Лорой, которая становилась все более деспотичной, и вдовой Эрве Марией-Терезой, которая не терпела пренебрежительного к себе отношения, Ги испытывал новое для себя наслаждение от игр с ласковой, смеющейся племяшкой Симоной. Думал ли он при взгляде на нее о троих своих внебрачных детях, которых Жозефина Литцельман воспитывала одна? Во всяком случае, он не испытывал угрызений совести – ведь он же поддерживал финансово эту уже более ничего не значившую для него женщину.

В сентябре и дни становятся все короче, и солнце светит все бледнее; так что, если хочешь погреть свои кости, отправляйся на юг. И вот Мопассан, сопровождаемый верным Франсуа Тассаром, садится на трансатлантический пароход «Герцог Браганский» (внося в каюту 12 сундуков, 8 чемоданов, 6 «совершенно

необходимых» мешков, 18 всяческих пакетов – общим числом 44 места багажа!) и плывет опять в Африку. Но – не возраст ли тому виною? – он более не в силах выносить грязь харчевен, вонь кухонь и сутолоку толпы. Ни «фантастическое» представление, устраиваемое в его честь, ни танцы живота, исполняемые для него местными красавицами, ни красочное зрелище еврейской свадьбы, ни дефиле задумчивых верблюдов не могли примирить его со страною, первобытную прелесть которой он некогда воспел. Не песок ли пустыни, от которого непрестанно слезились глаза, был тому виною? Ему казалось, будто под веками у него катались горошинки перца. Он проводит несколько дней в Алжире, в Константине, в Оране, в Тлемсене и, разочарованный и изнуренный, мечтает только об одном: вернуться во Францию!

Едва вернувшись, Мопассан погружается в заботы, связанные с открытием памятника Флоберу в Руане: ведь он – секретарь комитета. Церемония была назначена на 23 ноября 1890 года. Чтобы воздать должное памяти Старца, нужно было, чтобы мероприятие обрело громогласный успех. Мопассан ударил в набат, скликая всех друзей покойного гиганта. После некоторых дипломатических колебаний Эдмон де Гонкур согласился выступить на торжестве с речью; со своей стороны, обещал приехать и Золя, но, не ведая обычаев, спросил Мопассана, как ему следует одеться. «Что касается вопроса, как следует одеться, то он совершенно ясен, – отвечает ему Ги с полной компетенцией арбитра в области щегольства. – Иные будут, конечно, во фраках, но, согласно **светским принципам** (выделено в тексте. – *Прим. пер.*) **никогда** не следует надевать фрак ни на завтрак, проводимый где бы то ни было, ни для церемонии в тесном кругу на открытом воздухе, как, например, вот эта».

…Поутру в воскресенье 23 ноября 1890 года Мопассан, сопровождаемый Эдмоном де Гонкуром и Эмилем Золя, садится на поезд до Руана. Бедняга не в духе; он чувствует себя разбитым и, похоже, разочаровался в самой идее посмертного прославления Флобера. Уж не ждет от жизни ничего он; ни слава, ни деньги не приносят ему радости. Он даже не понимает, сколько собратьев по перу завидуют его успеху. В момент отчаяния он излил душу Жозе-Марии де Эредиа. «Он мне долго рассказывал о своей меланхолии, – вспоминал автор „Трофеев“, – о том, как тосклива его жизнь, о своей все прогрессирующей болезни, о провалах в зрении и в памяти, о том, что глаза его внезапно перестают видеть, о тотальной ночи, которая охватывает его, когда наступает слепота – на четверть часа… на полчаса… на целый час… Но вот зрение вернулось, он в спешке окунается с головой в лихорадку работы – и тут внезапно отказывает память! Какая

мука для такого писателя – не имея возможности найти нужное слово, он неистовствует, впадает в ярость, в отчаяние».

В поезде Эдмон де Гонкур наблюдает за своим попутчиком и, как и Эредиа, отмечает его расстроенное состояние и отсутствующий вид. «В это утро я был поражен дурной миной Мопассана, – пишет он, – его изнуренным лицом с кирпичным окрасом (briqueté), резко выраженным (marqué), как говорят в театре, характером… и даже болезненною пристальностью взгляда. Мне кажется, ему не суждено дотянуть до старости». Когда поезд, подходя к Руану, покатил по берегу Сены, Мопассан удостоил укутанную туманом реку величественным жестом руки и проворчал: «Всем тем, что у меня сегодня есть, я обязан здешним утренним катаниям на лодке».

После обильного завтрака у мэра компания отправилась в сад Музея, где вознесся памятник Флоберу, исполненный скульптором Шапю. «Это, – саркастически съязвил Эдмон де Гонкур, – красивый сахарный барельеф, над которым висящая в воздухе Правда (аллегорическая фигура, коими обыкновенно украшались монументы в ту эпоху. – *Прим. пер.*) справляет нужду в колодец». Порывы ветра нещадно хлестали присутствующих. Дождь хлестал как из ведра. Бравируя перед бурей, Эдмон де Гонкур зачитал свою речь в честь человека, о коем он так часто нелестно отзывался в своем дневнике. «Теперь, когда его нет среди живых, моего бедного великого Флобера, – выкрикнул он охрипшим голосом, – его почитают гением… Но знает ли кто в настоящее время, что при его жизни критика оказывала известное сопротивление тому, чтобы признать за ним даже талант?» И заключает: «Разве не так, Золя? Разве не так, Доде? Разве не так, Мопассан? Ведь он был именно таким, наш друг!..» (Дневник, 23 ноября 1890 г.)

Услышав свое имя, Ги содрогнулся. Он удалился в мечтания, куда его позвал Флобер. Старец от души посмеялся бы над всем этим комичным чествованием, над этим банальным монументом, словно изваянным из топленого свиного сала, и над хриплою речью Гонкура. Дождь удвоил ярость; в половине четвертого церемония завершилась, и многочисленные зонтики разлетелись врассыпную. Мопассан, обещавший организовать для членов комитета ленч, достойный Гаргантюа с Пантагрюэлем вместе, удалился по-английски. Разгневанный подобной «трусостью», Эдмон де Гонкур удовольствовался «ни плохим, ни хорошим» обедом, в котором коронным блюдом была неизменная утка по-руански.

Что до Мопассана, то в Париж он возвратился один. Он жил теперь в доме 24 по рю дю Боккадор, но это новое жилище

казалось ему еще холоднее, чем предыдущие. Кстати, он по случаю нанял еще и гарсоньерку по авеню Мак-Магон. Прибившись поближе к огоньку, он скрипел зубами и слушал, как льет дождь. Перспектива выйти на улицу пугала его. За обедом у принцессы Матильды у Ги внезапно возникло впечатление, что его мозг опустошается и что он, как поведал о том доктору Казалису, «ищет слова, но более не может говорить и вовсе теряет память». «Врач только что ушел от меня, – пишет он своему кузену Луи ле Пуатевену, с которым между делом примирился. – Он мне вообще запретил выходить на улицу и хочет, чтобы с нынешнего дня и надолго я больше не шатался по улицам **по вечерам**. (Выделено в тексте. – *Прим. пер.*) Болезнь все та же, как всегда, – невроз, который принуждает меня ко множеству предосторожностей. Он хочет, чтобы я **любой ценой** избавился от печки медленного сгорания. Он говорит, что это попросту смерть для людей. Все это меня очень досадует» (письмо от 7 январь 1891 г.).

Тем временем на его рабочем столе – новый роман «Анжелюс»; одновременно с этим на сцене театра «Жимназ» ставилась пьеса «Мюзотта», сочиненная драматургом Жаком Норманом по рассказу Мопассана «Ребенок». Необходимость подобной «штопки» раздражала Мопассана, но директор театра Конинг был непреклонен: спектакль увидит сцену лишь в том случае, если текст будет вычитан и одобрен Мопассаном. И то сказать, огни рампы влекли Ги уже давно, и в этой истории он видел возможность хоть и запоздалого, но осуществления своей мечты юных лет. Только слабое здоровье не позволяло ему вкушать наслаждение в двойном размере. «Мои глаза все в том же состоянии, – пишет он матери, – но я уверен, что причиной тому – переутомление мозга, или лучше сказать, нервного переутомления мозга, ибо стоит мне поработать полчаса, как мысли начинают путаться и затемняться одновременно со зрением, и самый процесс письма для меня становится трудным, а движения руки плохо повинуются мысли… Мой врач, академик и профессор Робен, спокоен. Он говорит: „Надо найти лекарство от этих сильных недомоганий, но я не вижу чего-то тяжелого“. И просит родительницу подыскать ему в Ницце скромную квартирку, выходящую на солнечную сторону, где он весной мог бы поселиться с Франсуа».

И вот наконец пьеса принята к постановке – в главных ролях мадам Паска и мадам Сизо. Зачарованный Мопассан присутствует на репетициях – сидит в пустом зале, зябко съежившись в пальто, и с наслаждением внимает собственным репликам, с чувством произносимым профессиональными комедиантами. «Надеюсь на

успех, хотя пьеса и не шедевр, – пишет он Лоре. – Актеры хорошие и играют хорошо». Порою он вынужден замыкаться в четырех стенах из-за головных болей. Или – из-за обострения проблем с глазами. Или опять скребет в горле. Какой же приступ настигнет его на премьере «Мюзотты»?

Сюжет этой пьесы – опять-таки внебрачная связь. Наряду с солнцем, морем и любовью это, бесспорно, предмет, особенно волнующий воображение Мопассана. Молодой человек по имени Жан Мартинель сочетается браком с Жильбертой де Петипре; и надо же такому случиться, что именно в вечер свадьбы его отчаянно зовет к себе бывшая возлюбленная, гризетка[89] по имени Мюзотта, которая родила от него младенца и теперь находится при смерти. Молодой человек спешит к изголовью несчастной, и эта последняя отдает Богу душу, конечно же, разразившись патетическим монологом. Но осиротевший ребенок не будет оставлен на произвол судьбы, ибо Жильберта, в которой пробудилась материнская нежность, соглашается принять внебрачного отпрыска своего супруга. Все вышеозначенное – в мелодраматическом и высокопарном стиле. Хлесткие реплики звучат фальшиво. Но светская публика очарована. У женщин слезы на глазах. Пресса возносит Мопассана до небес. «Вот я и драматург, да к тому же имеющий успех, чему очень удивлен, ибо мне кажется, что я так и не открыл пресловутого секрета драматургии, непостижимого для романистов», – пишет он Роберу Пеншону.

Не явилось ли это для него, разменявшего пятый десяток, началом новой карьеры? Ему как раз этого и хотелось, и он уже думает о том, чтобы «приспособить» для сцены еще одну свою новеллу – «Иветту». Начиная с конца марта на Мопассана сыплются предложения о постановке «Мюзотты» в провинции и за границей. Ну, а Ги, раздуваемый тщеславием, петушится и даже напускается на директора театра «Жимназ» Виктора Конинга с упреками, что тот недостаточно рекламирует пьесу. Отзвуки этих споров долетали до ушей собратьев по перу и, скажем прямо, смешили их. «Доде рассказывал мне, что Конинг окончательно рассорился с Мопассаном и что, несмотря на все попытки последнего примириться, он оставался непреклонен, – заносит в свой дневник Эдмон де Гонкур. – Похоже, сейчас Мопассан сошел с ума от гордости, и тон его писем настолько категоричен, что до глубины души задел директора театра „Жимназ“. Вот что привело к заварушке: Мопассан хотел, чтобы рецензии на пьесу, оплачиваемые Конингом, включали также и восхваления его (Мопассана) гения, а похвала самой пьесе, которая также включала бы немного похвальных слов в адрес его соавтора (Жака

Нормана. – *Прим. авт.*), его мало заботила. Ну, а Конинг, которого, в свою очередь, мало заботило прославление гения Мопассана, целиком занимался успехом пьесы. Больше даже, по словам Конинга, в пьесе больше Нормана, чем Мопассана. И он, Конинг, ждет следующей пьесы – такой, которую тот выполнит целиком сам и благодаря которой он заранее заявляет о себе как о творце нового театра».

Эту вторую пьесу, над которой Мопассан теперь работал, ему хотелось видеть на сцене. Администратор вышеназванного театра Жюль Кларети, с которым Ги завел речь об этом, вроде загорелся большим интересом; но стоило начаться переговорам, как новоиспеченный драматург заявил, что не допустит, чтобы его пьеса проходила через Комитет.[90] Уязвленный Жюль Кларети пытался его урезонить, напоминая ему, что даже самые маститые французские писатели, такие, как Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Санд и Альфред де Мюссе, сдавались на милость этой чистой формальности. Но Мопассан – усы трясутся, глаза искры мечут – заявляет сухим тоном: «Я намерен передать мою пьесу вам. Вы один будете судить о ней, вы один примете ее и вы ее разыграете!» Оставив Жюля Кларети в состоянии оцепенения, Мопассан покинул контору уверенным шагом конквистадора. Несколько дней спустя Эдмон де Гонкур заметил, что все тот же Мопассан публично ошельмовал последнюю пьесу Доде «L'Obstacle»[91] и что никто не мог рассчитывать на снисхождение или даже на простое понимание этого фанфарона от словесности: «Друзья Мопассана, как в тот момент казалось, пытались сыскать извинение неистовым разносам Мопассана, вспоминая о его недуге, – писал Гонкур. – Но ведь она давно у него, эта хворь! Прежде она была более нормандской, более притворной, более замкнутой; теперь же это – злоба в чистом виде, на каковую следует в ближайшее время надеть смирительную рубашку» (запись от 10 мая 1891 г.).

В голове Мопассана еще не стих шум рукоплесканий публики, осаждавшей театр, когда там шла «Мюзотта», а он уже думал о том, чтобы уехать из Парижа. Новый врач, д-р Дежерин – который, по мнению Мопассана, стоит много выше Шарко – заявил ему буквально следующее: «У вас были все признаки (accidents) того, что называется неврастенией… Это – умственное переутомление. Половина литераторов и биржевиков – ваши товарищи по несчастью. В общем, нервы, утомленные катаниями на лодке, затем интеллектуальной работой; от нервов и только от них ваша беда! Но ваше физическое состояние превосходно, и вы поправитесь, хотя и не все пойдет гладко». Вот так моментально удалось вселить в Мопассана уверенность. Доктор Дежерин

посоветовал ему «гигиену, души, успокаивающий и теплый климат летом, основательный и продолжительный отдых в уединении» (письмо матери от 14 марта 1891 г.). Ему бы на юг, к теплу, да вот беда – жестоко разнылся зуб. Как он пишет матери, «теперешнее состояние левого глаза связано с состоянием корня нижнего зуба». Несколько позже он жалуется доктору Казалису: «Я в ужасном состоянии; болезнь глаз, мешающая мне пользоваться ими, и физическая боль от неизвестной, но невыносимой причины превращают меня в мученика… Мать пишет мне, что погода в Ницце ужасная. Я собираюсь остаться до четверга, но думаю, что ошибаюсь». В отчаянии он обращается за советом еще к одному врачу – доктору Мажито, члену Академии медицины, который категорически против удаления своему пациенту второго зуба и журит его с отеческою благожелательностью: «Вы ведете трудовую жизнь, которая убила бы десять обыкновенных человек… Вы опубликовали 27 томов за десять лет, и этот безумный труд пожрал ваше тело. Ныне это тело мстит, парализуя вашу мозговую деятельность. Вам нужен очень длительный и полный отдых, мосье…» Ги заговорил было с врачом о своей любви к мореплаваниям, но врач прервал его. «Яхта, – сказал он, – прекрасная игрушка для здорового молодца, любящего кататься по морю и катать своих друзей, но это отнюдь не место отдыха для человека, утомленного и телом, и духом, как вы. В хорошую погоду вы обречены на неподвижность под палящим солнцем на раскаленной палубе, подле слепящего глаза паруса. Во все прочие дни – под дождем, в маленьких портах – это и вовсе несносное жилище… Я очень хотел бы видеть вас в полном уединении, в очень здоровой местности – и чтобы ни о чем не думать, ничего не делать, и главное, не принимать никаких лекарств! Ничего, кроме холодной воды!» Поведав обо всем этом родительнице, Ги признается, что пребывает в полной нерешительности относительно того, где отдохнуть. «В любом случае я закажу для моей яхты очень плотный тент во всю длину палубы, который обеспечит мне маленькое, но прохладное убежище, как бы солнце ни пекло в портах».

Невзирая на предостережения доктора Мажито, юг так привлекал Мопассана, что он решил попытать счастья. «Мои зубы еще не до конца вылечены, но будут, – сообщает он матери 3 мая 1891 г. – Нарыв подсох и заживает. Я могу пускаться в путь». Тем не менее он не скрывает от матери своих прочих недугов: «У меня новый приступ инфлюэнцы. В первый раз она началась у меня с груди; потом я решил, что поправился. Но после этого она поразила мне носовую полость и гортань. Наконец, когда я стал думать, что она оставила меня в покое, она овладела моей

головой и стала мучить мигренями, не пожалела ни глаза, ни память. Перемена климата, конечно, тут же исцелит меня, так как я ничуть не похудел (вовсе даже наоборот) и не ослаб, а только отупел. Знаешь ли ты, что в некоторых городах Северной Италии от этой хвори сейчас умирают от 50 до 60 человек?»

В Ницце, а затем в Каннах он распределяет свое время между трудом и навигацией. Он все мечтает о шестимесячном круизе на «Милом друге-II» вдоль африканских берегов. Вот только достанет ли у него сил для такого испытания? Нужно сперва закончить начатые рукописи. Но вдохновение подводит его. Перо запинается. Ныне он предпочитает диктовать свои хроники «Жиль Бласу». И заявляет: «Я решительно настроен более не писать ни рассказов, ни новелл. Это избито, изжито; это смехотворно, наконец! Я их и так слишком много настрочил. Я хочу работать только над моими романами». Но эти романы – «Чужеземная душа» и «Анжелюс» – никак не двигались с места. У Ги снова беда с глазами. «Стоит мне сосредоточить свой взгляд, сконцентрировать на чем-то внимание, попытаться читать или писать, как зрачки мои деформируются, расширяются, принимают невероятный вид, – признается он Эрмине Леконт де Нуи. – Вот уже три недели как мне запрещено делать что бы то ни было, даже написать коротенькую записку». Письмо другой корреспондентке, оставшейся анонимной, звучит как крик отчаяния: «Сейчас так жарко, ибо солнце заливает мне окна! Но почему же я теперь не наверху блаженства? Чтобы понять, в каком я состоянии, надо прислушаться к собачьему вою. Как бы мне самому хотелось исторгнуть из себя эту плачевную жалобу, не адресованную никому, не направленную никуда, не говорящую ничего – а просто бросающую в ночь крик сдавленной тоски! Если бы я мог стенать, как они, я бы уходил иногда – нет, пожалуй, часто! – в просторную долину или в глубь леса и там, во тьме, выл бы часы напролет. Мне кажется, я испытал бы от этого облегчение. Мой дух бродит по черным долинам, приводящим меня неведомо куда…Я выхожу из одной, чтобы войти в другую, и не предвижу того, что случится в конце последней. Боюсь, как бы усталость не привела меня как-нибудь впоследствии к решению не продолжать более этого бесполезного пути».

Изнуренный, впавший в уныние, Мопассан бежит от синего моря, южных пальм и солнца, чтобы вернуться вместе с Франсуа Тассаром в Париж. Турне по морям сменяется турне по врачам. Мопассан бегает от одного эскулапа к другому; изливая душу, смешивает подлинные, действительно терзающие его боли и выдуманные хворости, трактует противоречивые диагнозы светил как ему вздумается, да и вообще более не говорит ни о чем

другом, как о своих болячках, о своих галлюцинациях. Он весь – как обнаженный нерв; подвинувшись рассудком, он представляет внутренности своего тела состоящими из труб, карманов и клапанов. Впрочем, несколько дней спустя ему представилось, что дело движется к поправке; доктор Гранше заверяет его, что единственный виновник всех его напастей – климат Ниццы: «У вас в Париже большая и здоровая квартира, в 10 минутах ходьбы от Булонского леса, а вас несет, в самый разгар лета, в город, задыхающийся от пыли, где улицы слепят глаза и некуда выбраться на природу. Вам нужно либо к зелени, либо к морю. Садитесь-ка на свою яхту – живо поправите здоровье. Но если вас потянет в Ниццу, живо опять сляжете, ибо ничего нет на свете более возбуждающего, чем воздух этого города в летнюю пору».

Повинуясь совету доктора Гранше, Мопассан прогуливается по Булонскому лесу, иные уголки которого, по его словам, очень уединенны и красивы. Он уже мечтает о новом круизе на яхте, как то, в противоположность доктору Мажито, советовал ему Гранше. Но облегчение оказалось кратким. Едва высохли чернила на письме Мопассана к матери, в котором он уверял ее, что чувствует «блаженное состояние возвращающегося здоровья», как к нему опять вернулись глазные боли, ночные кошмары и неврастения. Франсуа Тассар, который не отходил от него ни на шаг, обеспокоен настолько, что с этого времени опасается трагического конца своего патрона. Что станется с ним самим в случае внезапного ухода Мопассана из жизни? И Франсуа предусмотрительно испрашивает у Ги свидетельство.[92] Поначалу удивившись, Ги догадывается об истинных мотивах просьбы, одарил грустной улыбкой своего наперсника с аккуратно причесанными бакенбардами и смиренным взглядом и начертал плохо слушавшейся его дрожащей рукою:

«Мой дорогой Франсуа, Вы просите у меня свидетельство, в котором я дал бы оценку Вашей службе на протяжении стольких лет, что Вы со мною. Я всегда видел Вас превосходным слугой – преданным, деятельным, умным, ловким, готовым отправиться в любое путешествие или к любому повороту новой жизни, исполнительным, державшимся самого исправного поведения, а также хорошим поваром. Надеюсь, что данная записка покажется Вам достаточной в качестве рекомендации.

Дано сие 18 мая 1891 года».

Глава 16
«L'Hallali»

С приближением лета Мопассан вновь охвачен манией скитаний и, как всегда сопровождаемый Франсуа Тассаром, устремляется в Тараскон, в Авиньон, в Ним, в Тулузу, в Дивонн-ле-Бен, в Сен-Рафаэль и, наконец, в Ниццу, где консультируется с несколькими врачами в надежде получить лучшее разъяснение своей хвори. Разочарованный путаными объяснениями эскулапов, он возвращается в Париж; но и там врачи Ланнелонг, Мажито и Террильон не могут рекомендовать ему ничего лучшего, как только отдых и гидротерапию. Доктор Гранше еще энергичнее, чем прежде, убеждал его ехать в Дивонн-ле-Бен. Поселившись на вилле в Везенексе близ горячих источников, он страдает от холода во время самого солнцепека, требует, чтобы служанка зажигала в его комнате по вечерам три люжины свечей, но, несмотря даже на такое освещение, страдает от пугающих его галлюцинаций. «Я в Дивонне, который вскоре покину из-за непрекращающихся гроз, ливней и сырости, – пишет он доктору Анри Казалису. – Я теряю остатки сил и не спал уже четыре месяца».

Несмотря на все свои недуги, он покупает трехколесный велосипед и отправляется в Фернэ, чтобы поклониться *тени* Вольтера. Но на обратном пути, почувствовав головокружение, он упал и повредил себе бок. Но словно и этого происшествия ему было недостаточно – его охватили такие мигрени, что приходилось выпивать до двух граммов антипирина в день. Правда, получше стало с челюстью: в Женеве он удалил себе больной зуб. «Тело окрепло, но голова болит как никогда прежде, – жалуется он доктору Казалису. – Бывают дни, когда в буквальном смысле слова руки чешутся засадить туда пулю. Читать не могу, любая буква, которую я пишу, причиняет мне боль. Господи, как я устал от жизни!»

…Погода портилась. Резкий ветер спускался с ледников. Мопассан уже задумался о том, чтобы покинуть южные края, когда к нему пришло письмо от Тэна, который рекомендовал ему другой курорт, соперничающий с Дивонном, – Шанпель, в 10 минутах от Женевы. «Он (Тэн) исцелился там в минувшем году в какие-нибудь сорок дней от болезни, вполне похожей на мою, – пишет Ги матери. – …Сейчас там поэт Доршен с теми же симптомами болезни, что у меня. К нему вернулся сон; пока – не более того, но, черт побери, это – все!» Окрыленный надеждой, Ги

отправляется сперва в Женеву; проезжая этот город, он встречает там своего друга Анри Казалиса. В заботе о бодрости духа своего пациента милый доктор сделал комплимент его хорошей мине и даже воскликнул: «Vous êtes guerf!» (Вы исцелились!) и одобрил его проект прохождения курса лечения в Шанпеле, который, с его точки зрения, был куда здоровее Дивонна. «Для вас, – сказал он в заключение, – самое главное – вопрос климата, а вам потребны сушь и солнце. Потом – необходимо принимать душ, который вас уже преобразил; я в этом убедился, увидя вас». Между тем доктор тайком отправился к Огюсту Доршену и предостерег его насчет экстравагантностей Мопассана. «Я притащил его сюда, чтобы убедить в том, что у него, как и у вас, всего лишь неврастения, – признался он поэту. – Втолкуйте ему, что вы окрепли и лечение принесло значительное облегчение! К несчастью, у него совсем иная болезнь, и вы не замедлите в этом убедиться».

Но и в Шанпеле, едва прибыв, Мопассан жалуется на холод и сырость, требуя, чтобы его номер в отеле «Босежур» отапливался. Огюст Доршен, который знал Мопассана по Парижу еще с 1881 года, был поражен его перевозбужденным видом и сбивчивой речью. Видно, Мопассан спешил вывернуть наизнанку душу перед молодым собратом по перу и его благоверной. Он сразу же открыл перед ними пухлый портфель и объявил: «Вот первые 50 страниц моего романа „Анжелюс“. Вот уже год как я не могу написать больше ни одной. Если в три месяца книга не будет окончена, я покончу с собой». Потом он ничтоже сумняшеся заявил своему собеседнику, что убежал из Дивонна оттого, что воды озера вышли из берегов и затопили его виллу аж до второго этажа. На следующий день он сунул Доршену под нос свою прогулочную трость и заявил: «Вот этой тростью мне как-то случилось защищаться от трех сутенеров, нападавших на меня спереди, и от трех бешеных собак, нападавших сзади». Зонтик Мопассана, по словам владельца, тоже предмет, заслуживающий интереса: «Это не обычный зонт – такие продаются только в одной-единственной лавке в Фобур-Сент-Оноре; я там купил их свыше трех сотен для окружения принцессы Матильды». Сказать короче – плетет небылицы, порет чушь, сочиняет всякие сказки и при этом так хорохорится, что выведенный из себя Огюст Доршен клянет тот час, когда этот несносный сумасброд прибыл в тихий, мирный Шанпель.

Но вот Мопассан ненадолго отлучается в Женеву. Доршен получил пусть кратковременную, но передышку. По возвращении Ги отводит его в сторонку, подмигивает и шепчет на ухо, что в Женеве ему подфартило как никогда прежде: «О, какая была крохотная женщина! Вот такусенькая! А я был блистателен! Я

исцелился!» И, заходя все дальше в самовосхвалении и гиперболах, заявляет о том, что, не удовлетворившись тем, что в два счета и три мгновенья ока завоевал расположение очаровательной гражданки Швейцарии, явился с визитом к самому барону Ротшильду, который якобы устроил ему пышный, почти что королевский прием. В другой раз, заманив поэта к себе в гостиничный номер, он показал ему множество флаконов, на которых разыгрывал «симфонии духов». Он также с большой лиричностью говорил ему о прелестях эфира: «Чувствуешь, как тело твое легчает, растворяется, и остается одна только душа, которая возносится».

С грустью смотрел Огюст Доршен на этого гениального писателя, который впал в такое состояние. Поэт пригласил Ги на обед в маленькое шале, где жил с супругой, и в этот вечер Мопассан показался ему вернувшимся к нормальному состоянию – в продолжение всей трапезы Ги выглядел пребывающим в здравом уме и даже красноречивым. Затем по просьбе гостей он прочел 50 первых страниц «Анжелюса» и рассказал, каким представлял себе продолжение. «На последних словах глаза его наполнились слезами, – заметил Огюст Доршен. – И мы тоже плакали при виде того, что еще оставалось от гения, от нежности и жалости, обитавших в его душе, которой никогда более не суждено будет достичь такого самовыражения, чтобы простереться и на другие души».

В этом романе, который останется незаконченным, Мопассан возвращается к некоторым своим любимым мотивам. Это – тема войны 1870 года, ужас и абсурдность которой он не в силах забыть; тема унижения женщины оккупантом-пруссаком и, наконец, тема бога-преступника. Эта последняя мысль, которую он уже выразил в «Бесполезной красоте», вдохновила его на торжественное проклятие, которое он бросает в лицо Создателю: «Извечный убийца, он, по-видимому, находит удовольствие в производстве людей, но лишь затем, чтобы утолить свою ненасытную страсть к уничтожению, к истреблению произведенных им существ. Вечный изготовитель трупов и поставщик для кладбищ, который забавляется, сея зерна и насаждая ростки жизни лишь затем, чтобы без конца утолять свою ненасытную страсть к разрушениям…»

Говоря о своем романе, едва намеченном в общих чертах, Ги заявляет матери: «Я шагаю по своему роману как по своей комнате, это мой шедевр!» Еще определеннее он высказался Тассару: «В моем „Анжелюсе“ я дам всю мощь экспрессии, на которую только способен. Все детали в нем будут выписаны с особым тщанием, однако это ничуть не будет утомительным для

меня». Но он по-прежнему не отказывается и от идеи сочинить другой роман, название которому – «Чужеземная душа»; здесь он едва закончил первую главу. В облике героини этого романа, румынской графини Мосска, чувственной и полной тайн, возможно, отразился образ царицы «Маккавеевых пиров» – графини Потоцкой. Герой Робер Мариоль (Мопассан дал ему фамилию персонажа из «Нашего сердца», сменив только имя – Робер вместо Андре) предпочитает блондинок. «Они обладают грацией, которой нет у брюнеток, – говорит Робер. – У брюнеток суровый взгляд, они – настоящие вояки в любви! Взгляните хоть на эту. Истинная амазонка кокетства!» Вокруг графини Мосска роится «этот маленький аристократический народишко, не знающий границ, эта международная элита high life,[93] которая всем знакома, которая узнается повсюду и которая сыщется повсюду». В ходе повествования он старается доказать невозможность полного слияния двух существ противоположного пола, настаивая, что эта дисгармония усиливается, когда к этому добавляется расовая антиномия. Но достанет ли ему времени и энергии довести до финала эти два произведения, которые кажутся ему важнейшими? Сомнительно… И эта неуверенность бесит его все больше и больше; гневные вспышки Мопассана за табльдотом шокируют гостей заведения. Он устраивает разнос врачу, отвечавшему за гидротерапию, за то, что тот отказался прописать ему ледяной душ Шарко, «струя которого сбила бы с ног бычка» и который могли бы выдержать только добрые молодцы вроде него. Сознавая в полной мере, что одиозен для своего окружения, Мопассан тем не менее упорствует в своих требованиях и бахвальствах. Он чувствует, что стал карикатурой на самого себя. Порою эта неумолимая деформация пугает его. Он задает себе вопрос, не расплата ли все это за безумства юных лет, за то, что подвергал свое здоровье всем и всяческим испытаниям, за успехи у женщин, большие тиражи и за былой дерзкий смех.

Врачи Шанпеля, которым порядком поднадоели постоянные придирки, дали Мопассану понять, что продолжение пребывания на курорте ему ничем не поможет. Франсуа Тассар тут же занялся паковкой чемоданов. Нанеся визит Казалису в Экс-ле-Бен, Мопассан прибывает к концу сентября в Канны, где пытается забыть тоску и разочарования, проносясь вдоль побережья на «Милом друге-II». Но солнце и море утомляют его. Быстро в Париж!

Едва возвратившись со своим верным Франсуа в квартиру на рю дю Боккадор, он решается броситься со всего маху в светскую жизнь, чтобы развлечься. Но от завсегдатаев салонов не укрылись

ненормальности его поведения. «Похоже, Мопассана захлестывает мания величия», – замечает Эдмон де Гонкур. И утверждает, что его несчастный собрат повсюду рассказывает о том, как он нанес визит на Средиземноморскую эскадру, в ходе которого адмирал Дюперре отдал приказ салютовать в его честь многочисленными залпами из пушек. Но адмирал Дюперре категорически отрицал, что вообще когда-либо встречался с Мопассаном. Что касается собратьев Мопассана по перу, то они либо жалели его, либо насмехались. Но Мопассан продолжал пыжиться, надуваясь спесью и самодовольством. По-видимому, он искренне верил в то, что окружающие его люди – сами сумасброды. Сон и реальность смешивались у него в голове все больше и больше.

17 октября в 11 часов вечера Мопассан рухнул на землю из-за некоей, как выразился Франсуа Тассар, «невыразимой» болезни. Однако быстро пришел в себя и созвал докторов, которые настоятельно посоветовали ему отправиться на отдых в Канны. Он обещал послушаться. Все привлекало его на юге – море, солнце и, конечно, женщины. Как раз в эти дни ему написала жившая с семьей в Симиэзе[94] близ Ниццы русская девушка, мадемуазель Богданова, чтобы выразить свое восхищение. Вот это да! Значит, он еще способен восхищать незнакомок на расстоянии одною лишь силой своего таланта! Польщенный, он ответил девушке, как за семь лет до того ответил другой русской прелестнице – Марии Башкирцевой: «Мадемуазель! Мне будет очень легко утолить ваше любопытство, сообщив все те подробности, о которых вы меня спрашиваете. Ваше письмо так занимательно и оригинально, что я не устоял перед наслаждением ответить на него. Вот прежде всего мой портрет, снятый в прошлом году в Ницце. Мне 41 год, и, как видите, разница между нами большая, поскольку вы сообщили мне свой возраст…Через восемь дней я вернусь в Канны, где проведу зиму. Я буду жить в „Шале д'Изер“, по дороге на Грасс. Моя яхта ждет меня в Антибе. Склоняюсь к вашим ногам, мадемуазель, – чувства мои заинтригованы и искушены».

Но *донселья* вообразила, что, сообщая ей свой адрес, он хочет пригласить ее на галантное рандеву. Она дала понять, что оскорблена. Мопассан ответил ей: «Помилуйте, на каком таком основании я мог бы счесть вас не комильфотной девушкой? Я ничего не знаю о вас. Я решил только, что вы – молодая особа, которой хотелось немного поразвлечься на мои средства, вот и все. Что касается моей фотографии, то, поскольку я разрешаю выставлять их в витринах и продавать, я послал вам ее точно так же, как стольким другим, неизвестным мне людям». Такого учтивого ответа, пожалуй, было бы достаточно; но Мопассана

охватил зуд эпистолярного трепа. Он снова с наслаждением пустился расписывать перед совершенно незнакомой корреспонденткой особенности своего характера: «Я стараюсь выражаться как можно яснее по всем пунктам, чтобы не выглядеть угрюмым ворчуном. Я – не от мира сего. Мне даже кажется, что нет такого человека, который был бы еще более не от мира сего, чем я. Но прежде всего я – наблюдатель. Рассматриваю то, что меня забавляет. Все то, что кажется мне незначительным, я вежливо отстраняю от себя. Не правда ли, вполне нормальное и учтивое поведение? Не сердитесь же, мадемуазель».

Тем не менее адресатка сего послания оставалась по-прежнему неудовлетворенной его объяснениями. Она требует, чтобы Ги ответил пункт за пунктом на ее вопросы, размещенные в виде анкеты, которая произвела шок в салонах. В ответ разозлившийся Мопассан шлет из «Шале д'Изер», куда он перебрался с Франсуа Тассаром, письмо, в котором извещает нахалку, что их переписка что-то слишком затянулась: «Это письмо – последнее, что вы от меня получаете. Я вижу, что нас разделяет целый мир и что вам абсолютно нет дела до того, чем является человек, занятый исключительно своим ремеслом и современной наукой и полностью пренебрегающий всею житейской суетою.

Вопросы из альбома кисейной дамочки, которые вы мне задаете, явились для меня потрясающим откровением.

Свою жизнь я держу в такой тайне, что никто ее не знает. Я – скептик, отшельник и вообще дикарь. Я работаю – и этим все сказано, и ради уединения веду по целым месяцам скитальческий образ жизни, так что только одна мама родная знает, где я нахожусь… Я слыву в Париже человеком загадочным, неведомым, я связан только с несколькими учеными, ибо я обожаю науку, и с несколькими художниками, которыми восхищаюсь; я – друг нескольких женщин, может быть, самых умных, какие только есть на свете…» Водя пером по бумаге, Мопассан упивается своею оригинальностью и своим величием. Хоть он и презирает эту вертихвостку, которая имеет наглость посягать на его уединение, но все же расписывает ей еще кое-какие подробности о себе: «Я порвал со всеми литераторами, которые шпионят за вами, чтобы накропать роман. Я на порог не пускаю журналистов и вообще запретил писать о себе. Все статьи обо мне – сплошная ложь. Я разрешаю говорить только о своих книгах. Я дважды отказался от ордена Почетного легиона, а в прошлом году – от избрания меня в Академию, чтобы остаться свободным от всяких пут, от любой необходимости быть кому-то признательным, чтобы с этим миром меня не связывало ничто, кроме работы». Поскольку коварная

мадемуазель Богданова не преминула напомнить, что с Марией Башкирцевой он был куда снисходительнее, он настаивал, что всякий раз отказывался встречаться с нею: «Я уехал в Африку, написав ей, что с меня довольно этой переписки». И с гордостью заключил: «Я почти всегда живу на своей яхте, чтобы ни с кем не общаться. Я наведываюсь в Париж только затем, чтобы наблюдать за жизнью других и собирать нужные мне документы… Если я послал вам свою фотографию, то лишь потому, что меня засыпают просьбами о них… А чтобы самому показаться – никогда! Я исчезну вновь на шесть месяцев, чтобы освободиться от всех на свете. Как видите, мы совсем не сходимся характерами» (письмо от 10 ноября 1891 г.).

Только Мопассан сквитался с этой настырной девой, как образовался новый фронт: ему пришлось защищать свои интересы перед нью-йоркской газетой «Этуаль».[95] Редактор вышеупомянутого листка опубликовал на английском языке роман, источником которого послужила новелла Мопассана «Завещание». Исполненный наглости, он еще и подписал его именем Мопассана. Это был грабеж средь бела дня, чистой воды плагиат. Нет, не защитить виновников заокеанским крючкотворам! Ги поручил вести дело своему поверенному, мосье Жакобу, и своему адвокату, мосье Эмилю Стро. Но что более всего раздражало его, так это то, что руководство газеты «Этуаль» представило его как писателя «малоизвестного и плохо оплачиваемого»! Задетый за живое, он пишет мосье Жакобу, перечисляя все свои «боевые заслуги». Вот какие регалии цепляет он себе на грудь: «Ведь это именно я снова привнес во Францию алчный вкус к рассказу и новелле. Мои книги переводятся во всем мире, продаются в огромном количестве экземпляров и оплачиваются по самым высоким расценкам, каких еще не было во французских газетах, где мне платят по одному франку за строчку романа и 500 франков за один рассказ, идущий за моей подписью. Мои книги выдержали огромное количество изданий, впереди идут только произведения Золя. Я вам пошлю через несколько дней почти полный список этих изданий, а также статьи о себе». И, опасаясь, как бы мосье Жакоб не преуменьшил из-за робости или по оплошности литературной и коммерческой ценности своего клиента, он даже приложил к письму собственноручно начертанную справку, которая должна была фигурировать в качестве одного из важнейших документов досье: «Ги де Мопассан является первым французским писателем, который возродил национальный вкус к рассказу и новелле. Он опубликовал, сначала в периодической печати, затем в сборниках, все свои рассказы, составившие собрание в 21 том, проданный в

среднем в количестве 13 000 экземпляров каждый; в подтверждение прилагаются квартальные отчеты издателей. Эти рассказы оплачивались ему в газетах и издательствах по наивысшим во Франции расценкам» (письмо от 5 декабря 1891 г.).

После изнурительной переписки Мопассан капитулировал перед сложностями и дороговизной ведения процесса за океаном. Перо в его руках дрожит все больше; иные слова с трудом можно разобрать; другие пестрят орфографическими ошибками. Одну из записок к своему поверенному он завершает оборванною на полуслове фразой: «Жму вам сердечно…» Но тут же требует от издателя Авара под угрозой судебного процесса, чтобы у него на складе находился запас из не менее чем 500 экземпляров «Заведения Телье». Он даже нанял судебного исполнителя, чтобы констатировал на месте отсутствие означенной книги на складе. Бедняга уже давно ничего не творит, но постоянно воображает, что в его мозгу зреет великий шедевр.

Невероятно, но ему хорошо в «Шале д'Изер»,[96] фасад которого заливали лучи солнца. Из окон открывался вид на море и на мыс Эстерель. Температура была подходящей. «Это – моя грелка», – говорил он об этом доме. Франсуа Тассар уже начал верить, что в ходе болезни его господина наступила ремиссия. Но больше всего Франсуа боялся женского нашествия к своему патрону. И то сказать – мадамы и мамзели не думали разоружаться, а он – истасканный Дон Жуан, задыхающийся и одержимый манией – по-прежнему распинался перед этими соблазнительницами. Ту из них, которая была предметом наибольшего беспокойства бравого камердинера, последний не называет в своих «Воспоминаниях» по имени, упоминая о ней только как о «даме в сером». «Хоть она и чересчур надушена, – пишет Франсуа, – в ней нет ничего от „профессионалки“; тем более не принадлежит она и к тому изысканному обществу, которое посещает мой господин и где над ним смеются. Это – представительница буржуазии самого высшего шика; она совершенно в жанре тех гранд-дам, которые воспитывались в пансионах то ли Уазо, то ли Сакре-Кёр… Она несказанной красоты и носит с высшим шиком костюмы, сшитые на заказ, неизменно серые с жемчужным оттенком либо с оттенком золы, стиснутые на талии поясом, сотканным из настоящей золотой пряжи. Шляпы у нее совсем простые и всегда подобраны к платью, а под рукою она носит небольшую пелерину на случай дождя или сомнительной погоды».

По поводу сей таинственной «дамы в сером», которая преследовала Мопассана от Парижа до Дивонна, а затем до Канн,

Франсуа Тассар утверждал, что она истощала писателя своими амурными требованиями. Как только она появлялась на пороге – в дом входило несчастье с мраморным лицом. «Не следовало ли мне объяснять роковой визитерше, в каком состоянии находится мой хозяин, – корил себя Франсуа Тассар, – ставить ей в упрек преступление, которое она совершает своим развеселым сердцем, и выставлять ее за порог без всяких церемоний?.. Но, поскольку моему господину очень хотелось принимать ее, мне ничего не оставалось, как поддакивать…Вот теперь я могу рассказать о том, как я жалею, что мне недоставало мужества… выставлять эту вампиршу за порог. Мой хозяин и по сей день был бы жив…» Правда, в один прекрасный октябрьский день 1891 года Мопассан, напуганный тем, в какой полон взяла его эта женщина-вамп, робко пробормотал своему камердинеру, что более не желает видеть ее. Но она являлась вновь и вновь, а он не в силах был устоять перед ее ласками, которые убивали его. Оба вместе роднились за нюханьем эфира и неотвязными размышлениями о сладострастной смерти.

Не Мари ли Канн Франсуа имеет в виду, вспоминая о визитах «дамы в сером» и не называя ее имени? Словесный портрет элегантной и светской подруги Мопассана на странице дневника Эдмона де Гонкура, датированной 17 июня 1891 года, дает основания поверить в это: «К концу вечера в салоне княгини появилась – с наведенными коричневыми кругами под глазами и в макияже в стиле покойника – мадам Канн, бывшая Лесная нимфа Бурже, а ныне Лесная нимфа Мопассана, который, как она мне сказала, был серьезно болен… и дала понять, что ему угрожает полный паралич». Недужная, взбалмошная и алчная до редких ощущений, Мари вполне могла мертвой хваткой прицепиться к Мопассану, чтобы добиться от него редкостных наслаждений – еще бы, ведь каждый случай мог оказаться последним! Говоря об этой своей анонимной любовнице, Ги поведал Франку Аррису: «Все нравится мне в ней. Ее парфюм опьяняет меня, а когда он испаряется, запах ее тела одуряет еще более. Красота ее форм, несказанный соблазн ее отказов и ее согласий возбуждал меня аж до бреда». Жан Лоррен, который хорошо знал Мари Канн, подтверждает, что она и есть та самая «роковая женщина», о кознях которой поведал Франсуа Тассар. «В высшем израэлитском обществе, – писал Лоррен, – Мопассану суждено было встретить капризную и одуревшую от скуки женщину, чья яростная фантазия ускорила нарушение эквилибра в душе несчастного великого писателя. Не кому иному, как этой даме света, литература обязана исчезновением таланта Мопассана». Но, согласно другой версии, которую поддерживал, в

частности, большой друг писателя Леон Фонтен, «дама в сером» суть не кто иная, как Мари-Поль Паран-Дебарр, взявшая псевдоним Жизель д'Эсток. Эта бойкая резвушка, которую влекли к себе женщины, занималась живописью, скульптурой, от случая к случаю позировала обнаженной Жан-Жаку Энне, пописывала в газетах и выступала с докладами, отстаивая равноправие для женщин. Готовая дать сто очков вперед Жорж Санд и Флоре Тристан, она коротко стриглась и охотно носила мужские костюмы. Ее вкусы, в которых находилось место как мужчинам, так и женщинам, толкали ее на поиски самых экстравагантных приключений. Покинутая своей подругой, наездницей в цирке Медрано Эммой Руэ, Жизель вызвала ее на дуэль и оцарапала ей пулею левую грудь. Ничто из пережитого не могло остановить ее. Встретившись с Мопассаном около 1884 года, она участвовала вместе с ним в самых разнузданных оргиях, которые истаскивали нервы у обоих и связывали их безнадежно тесной связью. По крайней мере, она утверждала это в повествовании, которое явилось плодом их союза.[97] «Точные воспоминания о твоем теле яростно возбуждают мою плотскую память», – пишет ей Ги. Порою она приходила к нему, переодетая учеником колледжа; при этом панталоны тесно облегали ее ягодицы, а фуражка дразняще склонена на ухо. Перед нею он дважды насиловал другую партнершу, которая, «даже будучи приученною к длинным и сложным сеансам», молила о пощаде. В другой раз сама Жизель, раздетая догола, предлагала себя в качестве участницы «мероприятия», включавшего Мопассана и «некоего широкозадого парня». Естественно, она без ума от этой любовной гимнастики, а Мопассан старается изо всех сил, чтобы подтвердить свою репутацию – но, увы, он более не в состоянии! Не она ли, полная страсти Жизель д'Эсток, нагрянула в Канны в то время, как он был затерроризирован аж до стадии паники этими чаровницами алчными, *пиявицами ненасытными*? «„Она была тем опаснее для своего любовника, что была одарена исключительным умом, несравненным шармом и телом богини, самым настоящим гнездом для ласк“, – уточнял мой друг, у которого эта связь вызывала бурный восторг», – признался Леон Фонтен. А может быть, и вовсе какая-нибудь новая незнакомка, собаку съевшая на юных распутниках, настигла Ги в его убежище? Неутомимый хищник в свои юные годы, Мопассан сделался в годы зрелости добычею алчных хищниц. Они, можно сказать, мстили за то обольщение, которым он в избытке одаривал их в прошлом. Франсуа Тассар в отчаянии наблюдал за тем, как по их вине его господин от часа к часу буквально таял.

После краткого затишья Мопассана снова понесло неведомо

куда. Он уже не хозяин своего тела – хоть и живой, да не жилец. Однажды он повелел своему камердинеру называть его «Господин граф». Появилась новая навязчивая идея: будто тело его разрушает присутствие неких вредных солей. В одном из писем жалуется на то, что за неделю похудел на целых десять кило. «Вы ведь химик, не правда ли? – пишет он в декабре 1891 года доктору Жоржу Даранберу. – Ну, так не можете ли вы установить, нет ли у меня внутри соли, так как я, в конце концов, выделяю в тысячу раз больше соли, чем ее может быть у меня в голове… А в вашей немецкой водке – алкоголь! Неужели вы не знаете, что я не могу выпить ни капли вина, ни белого, ни красного, ни полстакана водки, даже анисовой или черносмородиновой! Сегодня утром я принял чайную ложечку, и кашляю, как проклятый, а мое горло и слизистая оболочка горят огнем. Я даже не могу более пользоваться духами, да и просто вдыхать их, ибо всякое испарение алкоголя мутит мне мозг. Я околею от морфию, равно как и от соли…Ни в коем случае не говорите никому, что эти дамы приходили меня повидать. Это бы их страшно скомпрометировало… Я в жутком состоянии. Вчера, в день отвратительных страданий, я открыл, что все мое тело, и мясо и кожа, пропитаны солью… У меня всякие неполадки, точнее сказать, страшные боли, причиняемые всем, что поступает в мой желудок, а вслед за этим – что-то невыносимое с головой и с мыслями. У меня больше не выделяется слюны – соль иссушила все; вместо нее с моих губ струится какая-то отвратительная соленая масса.

…Я думаю, что это – начало агонии. Я не ел ни вчера вечером, ни сегодня утром. Ночь была ужасна. Я почти потерял способность речи, а мое дыхание похоже на жуткий и яростный хрип. Головные боли столь сильны, что я сжимаю голову руками, и мне кажется, что это голова мертвеца».

Никакое средство не приносило облегчения. Он так пристрастился к эфиру и морфию, что, как ни увеличивал дозы, все продолжал страдать. Раз так, не лучше ль, не откладывая в долгий ящик, покончить с собой? Еще в минувшем году он говорил Гюгу Ле Ру: «С признательностью думаю о самоубийстве. Это – открытая дверь для бегства. В этот день я по-настоящему обрету отдохновение». А позже он выскажется доктору Фреми: «Я сделал свой выбор между безумием и смертью». Стоя на краю пропасти, он сообщает доктору Казалису: «Я совсем пропал. Я в агонии. У меня размягчение мозга, вызванное промываниями соленой водой носовой полости. В мозгу произошла ферментация соли, и каждую ночь мой мозг вытекает через нос и рот в виде клейкой массы. Или неминуемая смерть, или я сошел с ума. Моя

голова порет чушь. Прощайте, друг, вы больше не увидите меня».

14 декабря 1891 года он пишет завещание. Что по-прежнему удерживало его от того, чтобы наложить на себя руки, так это мысль о горе матери родной. Он обещал провести с нею Сочельник на вилле Равенель в Ницце, но в последний момент посылает ей депешу с извинениями: «Обязан провести Сочельник на островах Сент-Маргерит с Госпожами Х, но я приеду на проводы Старого года и встречу Новый год с тобой». По словам госпожи Мопассан, вышеозначенные дамы Х суть не кто иные, как Мари Канн и ее сестра. Ги был не в силах удержаться от соблазна снова свидеться с ними. Но галантный ужин был, по-видимому, испорчен развернувшимся диспутом, потому что уже назавтра обе раздраженные дамы умчались прочь первым же поездом.

Назавтра, когда спустился вечер, Ги отправился погулять в одиночестве по дороге на Грасс. В глубине души он был рад скорому отъезду своих двух прекрасных парижских подруг. Хоть на какое-то время избавился от липучего женского заклятья, обволакивавшего его персону. И что же? Разделявший его чувство облегчения Франсуа Тассар был крайне поражен, увидев, как к бедняге почти мгновенно возвратились мертвенно-бледный цвет лица и дикий, блуждающий взгляд. Клацая зубами, Ги утверждал, что ночью на прогулке столкнулся носом к носу с собственным призраком. «Этот призрак, Франсуа, – пробормотал он, – был я… Он подошел совсем близко ко мне… Он мне ничего не сказал… Он просто с презрением пожал плечами… Он ненавидит меня… Франсуа, не забудь запереть все двери на два оборота ключа». В его мозгу свербит воспоминание об Эрве. Ему кажется, что его влечет к пропасти, в которую Эрве сверзнулся два года назад. Теперь уже весь дом жил в ритме его болей и галлюцинаций.

Ухаживавшие за ним врачи – а их было множество – сходились теперь на том, что у их подопечного все признаки менинго-энцефалитического сифилиса. Они долго колебались, что с несчастным: инфекция венерического происхождения или невроз, ибо наука того времени не могла поставить более точный диагноз.[98] Но вот вопрос: идет ли речь о приобретенном сифилисе или о наследственном? Бесспорно, в случае с Мопассаном груз семейного прошлого сыграл печальную роль. У его мамаши, и без того, мягко говоря, дамочки экстравагантной, к 1891 году невроз развился до такой степени, что она, длительное время не получая вестей от Ги, проглотила опийное лекарство и пыталась удавиться с помощью своих волос. Ее дядюшка по материнской линии Альфред де Пуатевен окончил свой земной путь тридцати двух лет от роду, предварительно истаскав свою жизнь всякого рода излишествами. Исходом брата Эрве явился

полный паралич. Ну, а на долю Ги выпало сражаться с сифилисом, который он, как предполагается, подхватил около 1876 года. Поначалу он так и считал, что был вознагражден «сифоном», потом, видя нерешительность эскулапов, стал склоняться к мысли, что у него невроз. По совету медицинских светил он увеличил ассортимент средств лечения, переходя от эфира к банкам и от гидротерапии к солнечным ваннам. После стольких лет безуспешного лечения он отощал и облысел, язык у него стал заплетаться, рука – дрожать, а мозг наполнился туманами и призраками. Когда он гляделся в зеркало, то на него смотрело жуткое огородное пугало, коему он категорически отказывался дать свое имя.

27 декабря 1891 года, прислуживаемый своим верным Франсуа Тассаром, Мопассан завтракал в одиночестве в «Шале д'Изер» и вдруг, поперхнувшись, закашлялся, а затем воскликнул с испуганным видом: «Крошка филе морского языка[99] попала мне в легкие!!» Франсуа посоветовал ему выпить горячего чаю; тот послушался и мигом объявил, что спасен. Час спустя он поднимается на борт «Милого друга-II». Но эта прогулка утомляет его. Бедняга испытывает трудности даже при пересадке в шлюпку, которая должна доставить его на берег. Ноги едва слушаются его. Он слишком высоко поднимает ногу и слишком быстро ставит ее на землю – движение получается прерывистым. В этот день он еще написал по возвращении своему поверенному мосье Жакобу: «Я умираю. Думаю, что умру через два дня. Займитесь моими делами и установите связь с г-ном Коллем, моим нотариусом в Каннах. Это – прощальный привет, который вам шлет *Мопассан*».

И однако ж, 28 декабря он отправился, в сопровождении Франсуа Тассара, на обед к матери в Ниццу. Во время трапезы он замкнулся в упорном молчании. Вид у него был отсутствующим; он даже не поинтересовался маленькой Симоной, которая обыкновенно чаровала его своим щебетаньем. Во второй половине дня 29-го он принимает у себя в ванной комнате доктора Даранбера. Намыливаясь, он как ни в чем не бывало балагурил с врачом. Расставаясь, недоуменный эскулап сказал Франсуа Тассару, проводившему его до ограды сада: «У вашего хозяина дюжая комплекция, но он страдает хворью, которая терзает его мозг. А ведь он только что без всякого труда поведал мне о своем путешествии в Тунис, называя даты и имена виденных им людей, не копаясь в памяти, без всяких колебаний… Он разговаривал со мною, как будто ему еще долго-долго можно будет ничего не опасаться. Терпения и мужества вам, мой милый Франсуа!»

Тассар, поначалу скептичный, почувствовал толику надежды.

30 декабря небо над Эстерелем озарилось северным сиянием. Мопассан вышел за ограду сада, чтобы повнимательнее наблюдать редкостное явление, и пробормотал: «Взгляни, Франсуа, ведь это – красная кровь!» Затем он садится на свой трехколесный велосипед, катит в Антиб к своему другу капитану Мютерсу, обсудил с ним, что бы еще следовало обустроить на «Милом друге», и пригласил назавтра на утреннюю трапезу. Но в этот день он был настолько не в себе, что с самого начала трапезы упустил нить разговора и, пробормотав несколько слов извинения, удалился к себе в комнату.

1 января 1892 года в семь утра Ги уже на ногах и готовится сесть на поезд до Ниццы, где его ожидала мать. Но туман застил ему глаза. С трудом побрившись и откушавши скрепя сердце, он взялся за корреспонденцию. Горка писем на подносике. В этом мире, который отдаляется от него, о нем еще думают! Он распечатывает несколько конвертов, читает послание от Александра Дюма-сына, затем одевается и спускается в сад, где его встречают преданные морские волки – Бернар и Раймон, с пожеланием счастливого Нового года. Поздравления, смех, после чего Ги, не забывая о данном слове, говорит:

– Франсуа, давайте не опаздывать на поезд. Моя мать ждет нас. Если мы не приедем, подумает еще, что я болен.

Сидя в вагоне, Мопассан любуется в окошко морем, усыпанным солнечными блестками, и просит Тассара сделать обзор газет и сообщить ему новости, которые он сочтет интересными.

Завтрак состоялся, как и обычно, на вилле Равенель. За столом бледный как полотно Ги нес всякую несусветную чушь и внезапно объявил, что проглотил «пилюлю подофилла» (слабительное средство), которая избавит его от большой неприятности. Видя, что мать наблюдает за ним со скорбным удивлением, он решает вернуться в Канны. Опасаясь, что в таком состоянии он не сможет сесть в поезд, Лора воскликнула:

– Не уезжай, мой сын! Не уезжай!

Но тот покачал головой и направился к дверям. «Я цеплялась за него, я умоляла его, на коленях влачила за ним мою беспомощную старость. Но он следовал за своим упрямым видением. И я видела, как он углублялся в ночь – экзальтированный, безумный, заговаривающийся; он уходил неведомо куда, мое бедное дитя!»

Вернувшись в Канны, Ги шасть к себе в комнату; там он надевает на себя шелковую сорочку и слегка закусывает: крылышко цыпленка в сметане, рисовое суфле с ванилью да минеральная вода. Но едва он откушал и сделал пару шагов по

комнате, чтобы размять ноги, как у него опять начались боли в спине. Камердинер заварил ему ромашкового чаю и поставил банки. Час спустя Ги сказал, что ему полегчало. За полчаса до полуночи он ест по *зернышку* белый изюм, продолжая курс «виноградолечения», и смыкает глаза. Около полуночи Франсуа Тассар, видя, что его господин изволит почивать, удалился, оставив, однако, дверь полуоткрытой. В этот момент раздается настойчивый дверной звонок. Камердинер открывает и видит на пороге разносчика телеграмм, который приносит депешу, по его словам, «из какой-то восточной страны». Как о том поведал Франсуа Тассар, депеша была от женщины, которую он считал злейшим врагом своего господина, а именно – «дамы в сером». Неужели она так никогда и не оставит несчастного в покое?! Не затем ли она напоминает о себе в день Нового года, чтобы окончательно добить?! У Франсуа сжалось сердце, но все же он неслышными шагами входит к своему спящему господину и кладет фатальную депешу на столик у изголовья. Затем выходит на цыпочках и ложится в постель. Но без четверти два часа пополуночи его разбудил тарарам. В полудреме, натыкаясь на вещи, он спешит в комнату своего господина.

Тем временем Ги собрался пустить себе пулю в лоб из револьвера. Но Франсуа Тассар догадался несколькими днями ранее вынуть патроны. Металлический щелчок… И ничего более. Вот так насмешка! Охваченный ужасом, Ги отбрасывает бесполезное оружие, хватает со стола стилет, которым пользуется для разрезания бумаги, и приставляет себе к шее, чтобы перерезать сонную артерию. Но лезвие соскальзывает и вонзается ему в тело. Еще один бесполезный жест. В отчаянии Ги бросается к окну, чтобы кинуться в пустоту. Но ставни заперты. Пока он сотрясал их, рыча как бешеный, приблизились шаги, послышались голоса. Франсуа успел предупредить бравого морехода с «Милого друга-II» Раймона, оба вместе ворвались в комнату к Мопассану и застали его стоящим в ночной рубашке, с остекленелым взглядом, всего перепачканного кровью. Бедняга пробормотал прерывающимся голосом: «Видишь, Франсуа, что я наделал?.. Я себе перерезал горло… Это – абсолютный случай сумасшествия…» А как-то он с гордостью сказал своим друзьям: «Я ворвался в литературную жизнь как метеор и как молния покину ее». Но удара молнии не последовало. Его прощание с публикой дало осечку. Все, как один, поднимут его на смех. Или начнут жалеть его, что не слаще. Веселенькая история! Потом его ничто более не трогает. Его голова гудит, как пустая калебаса. [100] С ним разговаривают. Он не отвечает. Что это за люди, которые надоедают ему? Посопротивлявшись, он согласился

снова лечь в постель. Франсуа Тассар наскоро перевязал ему рану. К счастью, она оказалась неглубокой. В спешке послали за доктором Валькуром. Он наложил необходимые швы. Во время операции пациент оставался спокойным, безмолвным, безразличным. Да хоть помнит он о том, что произошло?!

После того как врач ушел, Мопассан, как показалось, пришел в себя и обратился с краткой речью к двум мужчинам, стоявшим у его изголовья. «Он высказал нам свои сожаления по поводу того, что отчубучил и тем причинил нам столько беспокойства, – писал Франсуа Тассар. – Он подал мне и Раймону руку. Ему хотелось просить у нас прощения за все, что натворил: он понимал весь масштаб своего несчастья… Наконец голова его склонилась, веки смежились, и он уснул… Опершись о ножку кровати, Раймон стоял подавленный, держась из последних сил. Он сделал все, на что был способен. Он был до ужаса бледен. Я посоветовал ему глотнуть немного рому, что он и сделал, и тут его грудь колосса исторгла такие рыдания, что казалось, будто она готова разорваться… Оба мы глядели на нашего хозяина; я не мог пошевелиться, потому что его ладонь лежала у меня на руке».

Поутру Бернар пришел сменить своего товарища по экипажу. Весь этот день, 2 января, Мопассан провел в постели в полубессознательном состоянии. Но часам к восьми вечера он внезапно возбудился. Поднявшись над изголовьем, сверкая воинственным взглядом, он вскрикнул:

– Франсуа! Вы готовы? Война объявлена!

Чтобы успокоить его, верный камердинер решил подыграть и объявил, что отъезд на фронт будет только завтра утром.

– Как, – буркнул Мопассан, – вы хотите задержать наш отъезд, когда нужно торопиться, и как можно скорее!..Ведь мы же договорились о том, что ради реванша выступим вместе! Вы прекрасно знаете, что нам нужно! И мы этого добьемся!

Итак, в этом сломленном человеке пробудились воспоминания о войне и жестоком поражении. Источником этого сотрясающего его бреда явились отроческие годы. В момент затмения ему снова было двадцать. Явив всю свою осторожность и ласку, Франсуа Тассар урезонил своего хозяина, и тот, по-прежнему подавленный горем, снова лег, не проронив более ни слова.

Все доктора были единодушны во мнении: новый суицидарный кризис мог разразиться со дня на день. Необходимо было его изолировать. Но мать, от которой зависело решение, колебалась. Мопассана – в приют для душевнобольных?! Эрве – еще куда ни шло. Но Ги, ее дорогой Ги, гениальный писатель, взлелеянный толпой, обожаемый женщинами… Какое унижение!

Ей хотелось, чтобы ее сын явился на свет в палате замка, чтобы гордился частицей «де» перед фамилией… И для чего теперь все это? Ужели для того, чтоб увидеть его в смирительной рубашке?! Но все же мало-помалу ее удалось убедить, раскрыв глаза на очевидное. Ее сын не выкарабкается. Напротив, болезнь будет только прогрессировать. Если оставить его на свободе, он сделается опасным не только для себя, но и для окружающих. Устав бороться, Лора капитулировала. Все же она не желала, чтобы Ги кончил свои дни в ужасном заведении в Броне, как Эрве. Ей приходилось слышать о вполне приличной парижской лечебнице для душевнобольных, где проходили курс лечения самые видные люди с заболеваниями мозга. Там Ги, по крайней мере, окажется в хорошей компании. Важно, чтобы он и в несчастье сохранил свое лицо и респектабельность.

Незамедлительно предупрежденный, доктор Бланш откомандировал санитара для доставки своего нового пациента. Лора не проводила своего сына. Возможно, врачи отсоветовали ей приезжать, опасаясь, что ее присутствие может вызвать у сына пароксизм безнадежности. За спиною у Ги кто-то предложил сперва привезти его в порт и устроить ему последнее свидание с «Милым другом-II». Иные даже высказывали мысль: а вдруг вид любимой яхты произведет благотворный шок в его мозгу и пробудит его сознание! Идея была принята с энтузиазмом. Окружавшая Мопассана маленькая компания покинула «Шале д'Изер» и направилась к побережью. Прохожие с удивлением взирали на этого приземистого мужчину с опухшим лицом и глазами навыкате. Крепко поддерживаемый санитаром, он переставлял ноги с безразличием, свойственным только автомату. Под шубой у него была надета смирительная рубашка, а шейный платок скрывал перевязанное горло. Очутившись на набережной, он бросил грустный взгляд на свою яхту, лакированные поверхности и медные части которой блистали на солнце. Два морских волка, Бернар и Раймон, глотали слезы. Морским прогулкам с патроном у руля пришел конец. Несчастный шевелил губами. Но его уста не молвили ни слова. Ги де Мопассан прекратил существование. Теперь это была всего лишь тряпичная кукла, даже без пружины, приводящей ее в движение. Санитар управляется с ним с профессиональной суровостью. И еще несколько раз Ги оборачивается, чтобы взглянуть на корабль, оставшийся без хозяина.

Чтобы избежать наплыва любопытных, его отвели в особый салон начальника Каннского вокзала. Санитар и камердинер не покидали его, ожидая поезда. Минуты тянулись мучительно долго; сломленный усталостью Тассар клял все на свете. Но вот

издалека послышался свисток локомотива. Тассар и санитар помогли Мопассану подняться на подножку вагона под нумером 42. Войдя в забронированное для него купе, Ги опустился на банкетку. Сонный, со склоненной головою, он не обращал никакого внимания на зевак, которые толпились у вагонного окна, стремясь рассмотреть «чокнутого», которого увозили от них.

Всю дорогу несчастный путник молчал, то ли пребывая во сне, то ли уединившись в хаотических размышлениях. Назавтра утром 7 января 1892 года на перроне Лионского вокзала в Париже его встретили доктор Анри Казалис и издатель Оллендорф и тут же сопроводили в клинику доктора Бланша.

Глава 17
Живой мертвец

Улица Бертон. Тихая, провинциальная, забытая. За воротами, на которых красуется номер 17, высится старинный замок княгини де Ламбаль, в котором доктор Эмиль-Антуан Бланш разместил свою клинику.[101] Мощная стена опоясала парк. Ко входу ведет широкая аллея, обсаженная деревьями. Выходя из экипажа, Мопассан пошатывался: дорога истомила его. У него был землистый цвет лица, язык пересох; плетясь, он отплевывался направо и налево. Он явно не отдавал себе отчета в особом характере учреждения, порог которого только что переступил. Ему казалось совершенно естественным, что санитар укладывает его в постель и что доктор Мерио перевязывает ему рану на шее. Впрочем, он отказывался от пищи и пил только воду. Палата № 15, в которой его разместили, была просторной и светлой, но окно из предосторожности забрано решеткой. Главная комната отделялась от коридора кабинетом, в котором находился охранник.

На следующий день по прибытии Ги жалуется на некоего индивида, который якобы украл у него половину рукописи «Анжелюса», высказывает упрек Оллендорфу за то, что разрешил публикацию этого романа в «Нувель Ревю», и, проглотив «две пилюли подофилла», застонал от боли, уверяя, что одна из них проскользнула ему в легкие. В последующие дни он согласился откушать бульончику с гренками, но заявил, что дом полон сифилитиков и что по его комнате бродит дьявол. Потом он внезапно успокоился и, приняв вдохновенный вид, сказал, что ему слышатся голоса, и потребовал вымыть его эвианской водой, чтобы раз и навсегда очиститься от всякой скверны. Вслед за коротким периодом просветления умножились галлюцинации. Он раздумывает о княгине де Ламбаль, которая обитала в этих стенах и погибла, изувеченная и обезглавленная, во время кровавых сентябрьских событий. Вскоре после этого к нему обратился незримый Флобер. Затем послышался голос Эрве… «Их голоса так слабы, – уверял Ги, – словно они доносятся издалека». Изрекши сие, он со всею силой топнул ногой, чтобы затоптать полчища «умных насекомых», которых наслал на него Эрве, дабы те «отрезали ему путь к отступлению», жаля морфием.

Эти симптомы ставили в тупик даже таких медицинских светил, как доктор Бланш и доктор Мерио. Выздоровление представлялось проблематичным. Проведя очередной осмотр

больного, Бланш пометил в «Истории болезни»: «Налицо нарушение интеллектуальных способностей, характеризующееся бредовыми концепциями, чаще всего проявляющимися в меланхолической и ипохондрической форме, иногда – в форме мании величия с галлюцинациями и иллюзиями чувств… Болезнь г-на Ги де М(опассана) тяжелая, и еще длительное время не представится возможным сказать, каков будет исход».

В то время как Мопассан сражается в палатах мадам де Ламбаль с осаждающими его призраками, большинство журналистов комментируют его водворение в клинику с нездоровою настойчивостью. Вот, к примеру, высказывание Андре Верворта на страницах «Интрансинжан» от 12 января 1892 года: «Так ли уж необходимо было запихивать Мопассана – лишь затем, чтобы не дать ему нюхать эфир и курить опий – в заведение „трехзвездочного доктора“ (Docteur Trois-ètoiles), создавая ему тем самым большую рекламу? Если даже, благодаря воздержанию, писателю и станет лучше, не пойдет ли все насмарку, когда писатель осознает себя пациентом знаменитого специалиста по душевным болезням?» В прессу просочились и другие сведения; кто публиковал их из жалости, а кто – из вероломства. Опасаясь, как бы они не попались на глаза Мопассану, критик драматургии из «Ревю де Де Монд» Луи Гандера направил доктору Мерио 12 января спешно написанную записку: «Необходимо, чтобы ему (Мопассану) не передавали ни одной газеты, предварительно не изучив ее со всем тщанием, и чтобы в газетах „Фигаро“, „Голуа“ и „Эко де Пари“ было как можно скорее опубликовано сообщение, подписанное доктором Казалисом и содержащее примерно следующее: „Мы с удовольствием узнали, что состояние здоровья мосье Ги де Мопассана день ото дня улучшается. Вчера он попросил газеты и прочел их некоторое количество“. Это никого ни к чему не обяжет. Его не обидит, если он это прочтет, а для журналистов послужит предупреждением, что он в состоянии читать их материалы».

Доктор Анри Казалис пообещал предпринять все необходимые шаги, чтобы болезнь Ги была окутана приличествующим молчанием. Но его опередил Эмиль Готье, который тиснул в «Эко де Пари» 13 января мерзопакостную статью под заглавием «Любители эфира»: «Автор „Нашего сердца“, – пишет он, – разбавлял чернила эфиром, в котором растворился его мозг. Нескольких капель этого дьявольского снадобья, ежедневно вводимого в его кровь, было достаточно для того, чтобы его голова треснула, как перезрелый орех, и превратить чудесного мастера искусств в инвалида, слабоумного,

сумасшедшего». Разъяренный Луи Гандера настаивает, чтобы доктор Бланш передал наконец в газеты успокаивающую информацию о здоровье своего знаменитого пациента. Но доктор Мерио, который в то время был истинным заправилой в клинике, воспротивился. Тогда Луи Гандера, игнорируя мнение врачей, помчался в редакцию, и 17 января 1892 года. «Голуа» опубликовал следующее: «Мосье Ги де Мопассану много лучше. Он в курсе всего, что происходит. Он читает газеты».

Лора де Мопассан сгорала со стыда при виде всей этой возни вокруг сына. Она кричала на всех перекрестках, что Ги не сумасшедший, что в семье вообще не было ненормальных и что даже Эрве был здрав рассудком. И супруг ее, Гюстав де Мопассан, находившийся в Сент-Максиме, не без рвения подтвердил эту информацию в письме к неизвестному адресату: «Мой сын Эрве имел досадную привычку работать в саду на солнце и непокрытой головой. Три года назад он страшно перегрелся, не смог отойти и умер несколько месяцев спустя. Эта смерть была совершенно случайною».

Как бы там ни было, в литературных кругах усердно чесали языками. Большинство собратьев Мопассана по перу, притворяясь, что сожалеют о несчастии Ги, на деле только радовались. Еще бы, ведь одним конкурентом – и какого масштаба! – меньше! Ну как тут не взыграть стадному чувству злой радости? Октав Мирбо холодно заявил Клоду Моне: «Мопассан никогда ничего не любил – ни своего искусства, ни одного цветочка, вообще ничего! Справедливость вещей сразила его!» Эдмон де Гонкур перещеголял Мирбо на страницах своего дневника: «(Возымел место) разговор о шуме вокруг Мопассана, который находят слишком громким, соразмеряя с истинной ценностью этого писателя… Кто-то сделал грустное замечание, что у Мопассана нет близкого друга; близким другом у него был только его издатель Оллендорф» (Дневник. 10 января 1892 г.). Накануне, еще не зная о том, что ждет Мопассана, Гонкур вычеркнул его из списков своей будущей Академии.

Затворившись в своих конфузных раздумьях, Ги безропотно позволял своему камердинеру, который приходил каждый день, и санитару по имени Барон ухаживать за собою. Лора вменила в обязанность Тассару регулярно информировать ее в письменной форме о состоянии сына. Сама же она, по ее собственным словам, была слишком обессилена, чтобы приехать в Париж. Если верить мадам Мопассан, ее здоровье требовало такого же ухода, как и здоровье самого Ги. Этот момент истолковывался друзьями писателя по-разному. Одни готовы были поверить, что она и впрямь слишком болезненна, чтобы пуститься в путь, другие – а

таковых было большинство – готовы были обвинить ее в бесчувственности и эгоизме. Правда, по-видимому, расположена между сими двумя крайностями. Будучи уже много лет неисправимой ипохондричкой, Лора не решалась покинуть свое пристанище в Ницце, и сама перспектива увидеть своего сына обезумевшим повергала ее в ужас. Как она ни призывала свое истерзанное чувство материнства, она ни секунды не думала о том, чтобы пуститься в путь. «Я стара и очень больна, а наркотики, которые я пью целыми стаканами, окончательно доканывают мою способность мыслить».

В одно прекрасное утро, когда Франсуа Тассар писал письмо матери, мадам де Мопассан, в комнате больного, этот последний набросился на него и прорычал: «А, так это вы заняли мое место в „Фигаро“! Прошу вас немедленно убраться! Я не желаю более вас видеть!» Ошеломленный, со слезами на глазах, Тассар спросил совета у Бланша. Тот покачал головой и вздохнул: «Как раз этого я и опасался!»

Но Ги уже успел позабыть упреки в адрес своего верного слуги. Им внезапно овладела очередная мистическая химера, и он изрек буквально следующее: «Вчера после полудня Господь провозгласил с высоты Эйфелевой башни на весь Париж, что мосье де Мопассан – сын Бога и Иисуса Христа!» И далее заявляет буквально следующее: его миссия на земле столь важна, что он долее не может терпеть преследований со стороны врачей: они ожидают в коридоре, чтобы вколоть ему морфий, капли которого прожигают дырки у него в мозгу. Мало того, слуга прикарманил 600 000 его франков. Но что более всего нагоняет ему тоску, так это то, что он распространяет сильный запах соли, что возбуждает парижан против него. Ему также нужно позаботиться о могиле своего брата Эрве, с которым он ежедневно разговаривает; покойный просил расширить ее. Он несколько раз изгонял Франсуа Тассара из своей комнаты под тем предлогом, что тот обкрадывает его, а может быть, даже хочет убить. Зато соглашается принять у себя нескольких посетителей. Перед ним последовательно дефилируют сочувствующие месье, которых он едва узнает, – доктор Казалис, доктор Гранше, мосье Жакоб, Альбер Каэн и другие. Все разговаривают с ним ласково, а он в ответ держит перед ними такие бессвязные речи о «странствующей медицине», что им ничего не оставалось, как ретироваться в удрученном состоянии.

23 января он заявляет, что его нотариус продал его дом в Этрета за полторы тысячи франков, тогда как он стоит 35 000, и разоблачает заговор врачей, которые хотят его умертвить путем медовых омовений. Несколько дней спустя он голосил,

повернувшись к стене: «Эрве! Эрве! Меня хотят убить! Спалите все бумаги! Убейте жандарма!» 31-го – заказывает завтрак для своей матери, жены брата, племянницы Симоны и Эрве, сожалея о том, что они не могут найти входную дверь в дом. Затем пускается в пространные рассуждения о дьяволе, который без конца теребит его, и бранит Франсуа Тассара за то, что тот послал письмо Богу, обвиняя своего хозяина в содомитстве с курицей и козой.

Коль скоро Бог и дьявол сделались привычными собеседниками больного, доктор Бланш пишет Лоре, спрашивая у нее совета – что делать, если Ги потребует помощи священника. «Все, что я могу вам сказать, – ответила мадам де Мопассан, – это то, что я никогда не замечала за своим сыном ни малейших религиозных поползновений. Тем более что он не веровал… Действуйте по обстоятельствам и уступите желанию больного… Но не опасаетесь ли вы также возбудить его мысли и пробудить в нем опасный фанатизм? Вдруг это – всего лишь сон больного? Признаюсь вам, я не из тех, кто соблюдает религиозные обряды, но я испытываю самое большое уважение к верующим и прошу только об одном: об исцелении моего бедного дорогого сына. В большей ли, в меньшей ли степени будет он верующим – он останется таким, каким был всегда: щедрым, благородным, деликатным и наделенным самым лучшим сыновним сердцем, которое когда-либо билось в груди». И однако же, она по-прежнему не намеревалась приехать в Париж к сыну, чье состояние все ухудшалось, несмотря на душ и лекарства.

28 января он заявляет, что всю ночь проговорил с матерью, что врачи плохо перевязали его в Каннах «хлопчатобумажными швами» и что его голос, даже когда он шепчет, слышен даже в Китае. И снова он выставляет за порог своей комнаты Франсуа Тассара, который якобы обобрал его, и шлет упрек поварам клиники, что они будто бы отравили кофе сульфатом железа. 1 февраля он высказал желание отправиться причаститься к целестинцам, которые его давно дожидаются. Но, по его словам, у всех католиков искусственный желудок. И ему поставили такой, что стоило 12 тысяч франков; но этот желудок взорвался, потому что ему не давали есть яйца каждые полчаса. 4 февраля, охваченный неистовым возбуждением, он воскликнул: «Оденьте меня! Я отправляюсь на поезде в чистилище!» Далее, он призывает Бога, величая его «глупым стариком», и требует пожарников, чтобы они извлекли «бомбы из-под монастыря и из-под цитадели». Бред его шел по нарастающей – вот он напускается с оскорблениями на доктора Мерио: «Ты, жалкий старикашка! Боже, вы сумасшедший! Франсуа только что признался, что украл у меня восемьсот миллионов… Вы меня

слышите? Он ограбил издателей! Это не я – это барон де Во объявил войну, и это именно он оскорбил Поля де Кассаньяка… Как, вы не знаете, что генералы и архиепископы заживо похоронили меня в Каннах? Вы меня не сможете убить… Я неприступен… Я сам убью всех чертей!» Еще он напустился на доктора Гранше и угрожал прислать ему «тридцать капель меркурия». 17 февраля, отказавшись от трапезы, потому что «продукты из зародышей мумии и солдат», он возгласил буквально следующее: «Иисус Христос спал с моей матерью! Я – сын Божий!»

Он был в таком состоянии, что приходилось вводить ему пищу через зонд. Лежа в постели, он мямлил что-то про то, что через этот зонд ему ввели черную оспу, каковою он заразит Бога, чтобы умертвить его. Кстати говоря, он сильнее самого Господа и благодаря ему «обесчещены» все на свете женщины. 8 марта случается новый казус: Мопассан решительно отказывается освобождать свой мочевой пузырь: «Не стоит мочиться во время агонии. Я обрету страшную силу… А если мне введут катетер, это будет означать для меня немедленную смерть». И далее: «Никогда не следует освобождать мочевой пузырь вечером, потому что моча усыпляет: ведь нельзя же помещать в ночной горшок драгоценные камни! Говорю вам, что это питает тело! У меня в животе сумасшедшие деньги!» Встревоженные столь продолжительным держанием урины у пациента, медики прибегли к катетеру; во время операции Мопассан кричал, что его мочу следует сохранить любой ценой: «Это – бриллианты! Поместите их в сейф!» Эта идея так пришлась ему по сердцу, что он вернулся к ней 29 марта и заявил: «Не надо испускать мочу: она состоит из драгоценностей. С ними я отправлялся к женщинам света!» Любопытно, но женщины света, как и всякие прочие, занимавшие столь важное место в его жизни, ныне не занимали его ничуть. В его бреде теперь нет ни намека на его амурные подвиги, а как он любил бахвалиться ими во время оно! Походило на то, что сумасшествие охолостило его. Лишившись своего сексуального начала, погрузившись в необратимое слабоумие, он интересовался теперь лишь движением своих внутренностей, голосами потустороннего мира, Богом, который ополчился на него, и врачами, которые обирают его, состоя в сговоре с Франсуа Тассаром. Порою он забывает о том, что был некогда знаменитым писателем. Орля окончательно изгнал его из самого себя.

В среду 30 марта 1892 года Эдмон де Гонкур пометил в своем дневнике: «Мадам Комманвиль (племянница Флобера, вдова Эрнеста Комманвиля. – *Прим. авт.*)…передает мне печальные

новости о Мопассане. Он теперь никогда не говорит о рукописи своего „Анжелюса“. Вот только что хотел отправить кому-то депешу, которую так и не смог сочинить. И наконец, он проводит целые дни в разговорах со стеной, которая у него перед глазами». Информацию эту мадам Комманвиль получила от доктора Франклена Гру, который настойчиво ухлестывал за нею и ассистировал в клинике доктору Мерио. Позже Гонкур добавит в свой дневник следующую запись: «Мопассан целый день беседовал с воображаемыми персонажами, исключительно банкирами, биржевыми маклерами и вообще денежными людьми». И добавил, что, по мнению доктора Бланша, у больного «физиономия настоящего сумасшедшего, с блуждающим взглядом и ртом, лишенным энергии». 20 августа в газете «Иллюстрасьон» можно было прочитать: «О Мопассане говорят уже как о предке».

Дни тянулись за днями, а Ги не имел понятия ни о том, сколько воды утекло, ни о том, какие люди посещают его. Но все же время от времени искра разума озаряла его. Композитору Альберу Каэну, который пытался развеселить его кое-какими общими воспоминаниями, он внезапно сказал: «Уходите! Еще мгновение – и я перестану быть самим собой!!» И позвонил в звонок: «Санитар! Наденьте на меня смирительную рубашку! Быстрей! Быстрей!» Однажды его внезапно охватил такой ужас, что прежде, чем смог позвать на помощь, уложил на месте другого больного, запустив ему в голову бильярдный шар. За подобным возбуждением следовала патологическая апатия. Он покорно позволял за собой ухаживать и продолжал разговаривать в пустоту. 30 января 1893 года, по возвращении с обеда у принцессы Матильды, Эдмон де Гонкур записывает в свой дневник: «Доктор Бланш, который в этот вечер нанес визит принцессе, отозвал нас в угол для разговора о Мопассане и дал нам понять, что он постепенно превращается в животное». Термин отличается пугающей точностью. Мопассан и впрямь достиг животного состояния. От него, некогда провозглашавшего примат инстинкта над разумом, теперь осталось только тело, движимое первичными физиологическими потребностями. Так, повинуясь безжалостной фатальности, певец существа, в коем слились животное и человек, превратился попросту в животное. Правда, в иные прекрасные дни казалось, что к нему возвращается вкус к жизни – он выходил в сад, втыкал в землю прутики и говорил: «Посадим это здесь! На следующий год здесь будут новые Мопассанчики». А затем снова свергался в туман бессознательного.

Между тем 11 марта 1893 года «Комеди Франсез» впервые ставит его двухактную пьесу «Семейный мир», за репетициями

которой наблюдал Александр Дюма-сын; говорят, он также правил текст. По поводу этого произведения – кстати, второго плана – Мопассан писал матери три года назад: «Я считаю ее теперь великолепной и не сомневаюсь в успехе, если удастся поставить ее на сцене» (5 августа 1890 г.). В этой пьесе снова идет речь о любовной салонной интриге. «Светская женщина принадлежит свету, в смысле – всему свету, за исключением того человека, которому отдается!» – восклицает Жак де Рандоль, возлюбленный прекрасной мадам де Саллюс. Роли исполняли мадам Вормс, мадам Ле Баржи и мадемуазель Барте. В то время как Мопассан один-одинешенек в своей палате, окончательно утративший рассудок, с трясущимися руками, сражался с осаждавшими его кошмарами, элегантная и беззаботная парижская публика рукоплескала репликам, некогда написанным им в часы радости. Иные из зрителей даже задавали себе вопрос, на том свете автор или на этом.

4 мая Эрмина Леконт де Нуи нанесла Ги визит, который произвел впечатление непоправимой катастрофы. «Он сидел во дворе лечебницы под синим небом, – писала она, – но до чего же он был бледен, до чего постарел, ослаб! Не человек, а тень! Я разглядывала его увядшие черты, красные угасшие глаза, одрябнувшие мышцы челюстей, отвиснувшие щеки. Плечи у него были ссутулены, и он бессознательно ласкал себе подбородок тощей и бледной рукой». И другие женщины, в том числе Жозефина Литцельман, пожелали повидать его в последний раз, но Лора, которая ревниво следила издалека за спокойствием своего сына, распорядилась затворить дверь клиники перед этими бестактными посетительницами.

В начале июня Мопассана охватили конвульсии, принявшие эпилептическую форму. Эскулапы решили, что это конец. И все-таки сердце продолжало сопротивляться, хотя держаться на ногах больной долее не мог. Сифилис сделал свое дело, превратив бывшего атлета в жалкую тряпку. Случалось, что он, встав на четвереньки, лизал стены своей палаты. 28 июня новые судороги сотрясли его тело, которое даже не почувствовало страданий. Бедняга впал в кому, потом вынырнул из нее, к изумлению окружавших его людей, открыл глаза, исторг хриплый вздох и пошевелил рукою, лежавшей на краю одеяла. Только 6 июля 1893 года в 11.45 утра случился кризис куда посильнее прочих, который и оторвал его грешную душу от тела.

И вот он лежит, вытянувшись на своей маленькой кроватке, с закрытыми глазами, хорошо причесанными усами и удовлетворенным видом, что в сорок три года покончил со своим абсурдным пребыванием на этой земле. Избавившись от своей

нелепой телесной оболочки, отошел в лучший мир суровый плодовитый писатель, который – от «Пышки» до «Сильна как смерть» – покорял толпы читающей публики яростной правдивостью своих новелл и блистательным богатством стиля. И вся эта сокровищница создавалась в течение каких-нибудь десяти лет, в продолжение которых творец ее вел беспокойный образ жизни, разделяя ее между женщинами, лодками и яхтами, путешествиями и повседневной борьбой с недугом. Конечно же, к нему срочно позвали священника. Но святой отец успел стать свидетелем только последнего хрипа агонизирующего. Но и этого оказалось достаточно, чтобы иметь возможность объявить прессе, что «литератор Ги де Мопассан скончался, получив Св. Причастие». Приличия соблюдены. В то время, когда Ги находился в лечебнице, семья предусмотрительно наняла чиновника для управления его наследством.

Согласно уведомительному письму, «отпевание Анри-Рене-Альбера-Ги де Мопассана, писателя, скончавшегося в Париже 6 июля 1893 года», должно было состояться «в ближайшую субботу сего месяца, ровно в полдень, в приходской церкви Сен-Пьер-де-Шайо». Подобный конформизм вокруг погребения бунтаря удивил друзей покойного, которые съехались во множестве на траурную церемонию. С меланхолической иронией они констатировали, что ни отец, ни мать покойного не дали себе труда прибыть в Париж. Лора сказалась чересчур усталой, чтобы покинуть Ниццу, и послала вместо себя горничную Мари Мэй. И то сказать – уж коли она не нашла нужным навестить сына за все время его пребывания в лечебнице, с чего бы она отправилась отдавать почести трупу? Семью представлял только доктор Фантон д’Андон, брат вдовы Эрве.

Во время службы мадам Комманвиль прошептала на ухо Эдмону де Гонкуру, что завтра ей нужно будет ехать в Ниццу «с благочестивым желанием утешить мать Мопассана», которая, по ее словам, «находится в тревожащем горестном состоянии». Со своей стороны, Роден говорил Эдмону де Гонкуру об общем друге, который благодаря их поддержке вскоре будет награжден орденом Почетного легиона. А Жан Лоррен по выходе из церкви поведал забавную историю о маленькой девочке, которая была изнасилована своим опекуном в траурной колеснице, следовавшей за катафалком, перевозившим прах ее дражайшей бабушки. На церковной паперти велись разговоры и о том, что покойного похоронили в трехслойном гробу из ели, цинка и дуба, тогда как он высказал пожелание быть уложенным просто в землю. Но похоронное бюро отказалось выполнить эту волю покойного, найдя таковую неприличной. Как рассказывают,

мадам де Мопассан была глубоко огорчена этим. По ее словам, сын хотел раствориться «в великом Всем». Наконец траурный кортеж тронулся в путь. Над городом царила несносная жара. Шагая подле катафалка, погребенного под грудою венков, доктор Фантон д'Андон, Золя, Оллендорф и мосье Жакоб держались за бахрому покрова. Наиболее сраженным всем происходящим был, конечно, Франсуа Тассар, вышагивающий позади на ватных ногах, с мертвенно-бледным лицом и покрасневшими глазами – он хоронил собственную жизнь.

На кладбище Монпарнас любопытные могли различить в теснящейся вокруг могильной ямы толпе комедийную актрису мадам Паска, композитора Альбера Каэна, писателей Александра Дюма-сына, Жана Лоррена, Анри Ружона, Катулла Мендеса, Анри Сеара, Марселя Прево, Поля Алексиса, Анри Лаведана, Жозе-Марию де Эредиа… С обнаженной головой, в запотевшем пенсне, Золя начинает речь. Он до того потрясен, что моментами ему изменяет голос. Тем не менее собрат по перу красноречиво живописал блистательную карьеру покойного, рассказывая о том, что он ничуть не собирался отвергать житейские наслажденья ради того, чтобы целиком отдаться писательскому труду. «Он пребывал во славе ото дня ко дню, и вопрос об этом даже не ставился, – изрек оратор. – Казалось, улыбчивое счастье взяло его за руку, чтобы отвести на такую высоту, на которую он сам возжелает подняться… За что был он с первого же часа понимаем и любим? За то, что он обладал французскою душою, дарами и достоинствами, которые делали его лучшим представителем нашей породы. Его понимали, потому что он был сама ясность, сама простота и сила». Но оратор не мог обойти стороною и падение Мопассана: «И вот – Боже правый! – он впал в безумство. Все его счастье, все его здоровье одним махом оказались в этой пропасти!» Единственным утешением для тех, кого он оставил на земле, продолжает Золя, остается уверенность в постоянстве той славы, которая ожидает усопшего в будущих поколениях: «Да почиет он добрым сном, купленным столь дорогою ценою, веруя в здравие произведений, которые он нам оставил! Они будут жить и будут побуждать к жизни. В сердце у нас, знавших его, останется этот крепкий и печальный образ. А с течением времени те, те кто знал его, узнают его только по сочинениям, полюбят его за вечную песнь любви, которую он пел во имя жизни».

Вслед за Золя несколько трогающих своей простотою слов от имени друзей юности произнес Анри Сеар. Некогда юные, они постарели, потеряли вкус к смеху. Неуклюжие в своих черных плащах, они склонили головы, держа в руках цилиндры. Наконец собравшиеся разошлись мелкими группами. Александр Дюма-сын

вздохнул: «Что за судьба! Какая потеря для словесности! О, какой это был гуляка!» Эта мужественная надгробная речь не могла не прийтись по сердцу бывшему лодочнику – завсегдатаю «Лягушатни».

…Вопросы, связанные с наследством, решались со скрипом, под гнусные препирательства матери, отца и жены брата Мопассана. Родственники засыпали письмами мосье Жакоба, и каждый требовал свое. Отец отказывался от предложенной ему кровати, но требовал «портреты». Мать претендовала на каминный гарнитур севрского фарфора и настенные часы Людовика XVI. Жена брата с пеной у рта отстаивала интересы маленькой Симоны, которой, по ее словам, покойный завещал все свое состояние.

Еще не успел Ги отойти в мир иной, как мать, позабыв о страсти, которую питал ее сын к «Милому другу-II», – символу его успеха и свободы – предложила яхту к продаже, оценив ее в 6000 франков. Та же судьба ожидала и «Ла-Гийетт». 20 и 21 декабря в особняке Друо на глазах у сверхвозбужденной публики расходились и другие принадлежавшие Мопассану ценности: шкаф эпохи Людовика XVI, медальон Флобера, автоматический карандаш со вставным грифелем, крючок для застегивания обуви, зажим для галстука, «Химера» Родена… Рассказывают, что некий друг дома демонстративно засунул в когти этой самой химеры последнюю телеграмму от «дамы в сером»… Общая сумма вырученного за два дня продаж составила 24 500 франков. 20 декабря Эдмон де Гонкур пометил в своем дневнике все с тою же неизменною ненавистью: «Сегодня вечером у принцессы сожалели о той публичности, которую приобрела распродажа вещей Мопассана, которая решительно уронила его как писателя, сделавши всеобщим достоянием его отвратительный вкус как человека». И назавтра: «Любовное поклонение этому мужчине с видом виноторговца, который жил в окружении *мерзких* вещей, составлявших его интерьер, не делает похвалы вкусам дам большого света. Нетрудно догадаться, что я подразумеваю Мопассана».

Хлынул поток воспоминаний – и благочестивых мемуаров, и скандальных разглашений самых потаенных сторон жизни писателя. Многочисленные письма разлетелись по незнакомым рукам; немало было уничтожено адресатами. Лора – то экзальтированная, то разъяренная – тщетно пыталась отвергать тезис о полном параличе сына. Ей хотелось, чтобы репутация ее сына оставалась неуязвимой во веки веков. Зато Эдмон де Гонкур и после смерти Мопассана напускается на его память на страницах своего дневника, обвиняя его в том, что он построил

свою славу на двусмысленной благосклонности со стороны светских женщин, заявляя, что, по словам его друга, поэта Жоржа Роденбаха, в книгах Мопассана «не найдется ни одной фразы, которую можно было бы процитировать», и смакует «совокупления автора „Милого друга“ на публике, причем одна из таких эксгибиций была оплачена лично Флобером» (Дневник, 11 марта 1894 г.). Гонкур решительно не может простить Ги критику «артистической словесности». С его точки зрения, этот успешный романист в подметки не годился Флоберу. Стихийность, легкость и простота Мопассана представлялись ему недостойными истинного литератора. Словом, автор «Милого друга» недостаточно начитан, да и вообще зажился на этом свете!

Находившаяся вдалеке от всех этих слухов Лора – больная, отравленная наркотиками – поклялась не желать ничего, кроме смерти. Театральная по привычке, она называла Костлявую «дамой с впалыми глазами». Когда Поль Алексис приехал в Ниццу навестить ее, она заявила ему, как и стольким другим, что у нее в семье ни у кого не было ни малейших признаков ментальных отклонений. Однако в разговоре она допустила обмолвку – говоря об отце Ги, она вымолвила имя Флобера. Этот ляпсус очаровал Поля Алексиса, который решил, что стал свидетелем сенсационного откровения. Вернувшись в Париж, он объявил о своем «открытии» Эдмону де Гонкуру, а тот и рад был поводу сесть на своего любимого конька: «В ходе продолжительного разговора, который он (Поль Алексис) имел с нею, мадам де Мопассан проявила некое оживление с целью доказать ему, что (Гюстав) Мопассан не имел ни в физическом, ни в моральном отношении ничего общего с его отцом» (Дневник, 1 октября 1893 г.). По правде говоря, Эдмону де Гонкуру было бы желательно, чтобы более никто не занимался Мопассаном, да и сам он более не желал им заниматься. Разве что для того, чтобы унижать его, очернять и после его ухода в мир иной. А впрочем – не есть ли это своеобразная форма признания важности человека, который в прошлом внушал ему подозрения?

Были и другие посетители, тревожившие покои Лоры в ее убежище. Она принимала их с благочестивой почтительностью, точно хранительница музея. Мадам де Мопассан со вздохом показывала гостям письма, телеграммы, фотографии своего дражайшего Ги. По просьбе Оллендорфа она дала разрешение на посмертную публикацию двух сборников новелл: «Отец Милон» и «Заговорщик». В 1895 году тот же издатель при поддержке группы друзей предложил перенести прах Мопассана на кладбище Пер-Лашез, где городом Парижем ему была выделена могила на участке, где покоятся знаменитые писатели, по соседству с

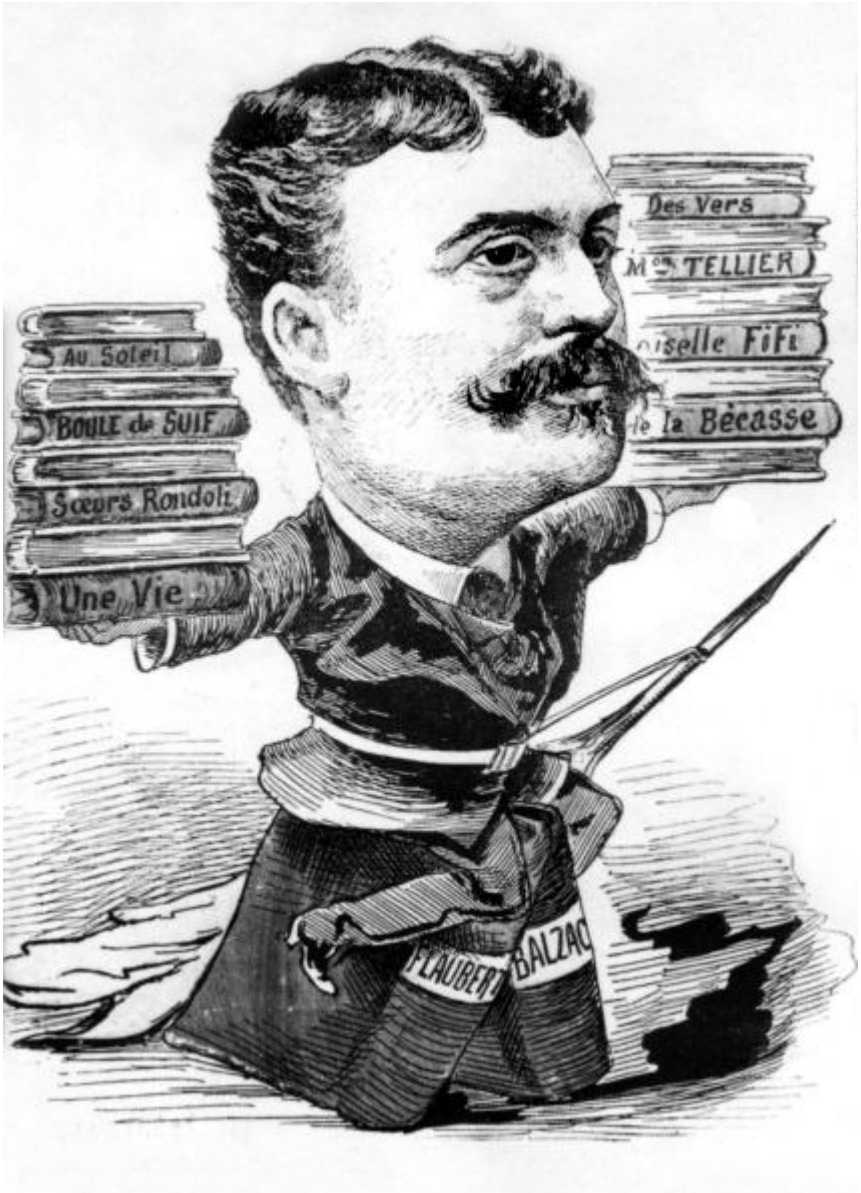
могилой Альфреда де Мюссе. Когда Лоре де Мопассан сообщили об этом проекте, она энергично воспротивилась. Ей не хотелось, чтобы вечный покой ее сына был нарушен. С тех пор, как она надела траур, ее дни потекли в скорбной суровости и погребальной медлительности. Когда Гюстав де Мопассан, вдали от которого она прожила столько лет, испустил последний вздох 24 января 1899 года в Сент-Максиме, она удивилась, что пережила его.

Между тем ее сыну стали ставить памятники. Один монумент вознесся в Париже, в парке Монсо. У подножья колонны, на которой воздвигнут бюст писателя, полулежит фигура женщины, имеющая меланхолический и томный вид; глупая мысль, но она считается символом идеальной читательницы. Некоторое время спустя увековечить писателя решил город Руан, воздвигнув в его честь новый бюст; таковой был поставлен в саду Сольферино. Автором того и другого памятника был Рауль Верле. Открытие памятника «великому нормандцу» состоялось 27 мая 1900 года под знойным небом; перед официальной трибуной, на которой толпились важные персоны, журналисты и элегантные дамы под зонтиками, играл оркестр 24-го пехотного полка. Жаркий воздух сотрясали речи, расписывающие достоинства сердца усопшего, его привязанность к родной земле и оригинальность произведений, которые он оставил миру. Жозе-Мария де Эредиа обрисовал успешную карьеру Мопассана, поведал несколько личных воспоминаний и завершил: «Он из нормандского рода, из расы Малерба, Корнеля и Флобера. Как и им, ему присущ строгий классический вкус, прекрасный архитектурный строй, но за этой правильной и практичной видимостью скрывалась дерзостная и взбалмошная, авантюрная и беспокойная душа». Собравшаяся толпа долго аплодировала. Впрочем, иные сожалели, что оратор, член Французской Академии, не облачился для произнесения речи в расшитое зеленым одеяние. Им шепотом объяснили, что Мопассан всегда был настроен враждебно к этому учреждению и что он перевернулся бы в гробу, если бы Жозе-Мария де Эредиа выступил при открытии его памятника в полном академическом облачении. Но вот уже состязание в искусстве красноречия уступает место поэзии. На трибуне молодая актриса из «Комеди Франсез» мадемуазель Маргерит Морено – она декламирует три стихотворения Ги, и вновь звучат аплодисменты. Затем под знойным солнцем снова звучат речи. Празднество завершается под звуки торжественного марша. Лора, которая, ясное дело, не участвовала в торжествах, могла прочесть подробности в газете «Иллюстрасьон» от 2 июня 1900 года. Во всяком случае, она осталась довольна. Но, истерзанная болью, полуслепая, с

помутненным рассудком, она еще задавала себе вопрос, почему же «дама с впалыми глазами» к ней не торопится.

Летом 1902 года знаменитая итальянская актриса Элеонора Дузе, проезжая через Ниццу, нанесла Лоре визит. Ее глазам предстала старая, иссохшая женщина с седыми волосами, пожелтелыми на висках, и блеклым взглядом. Говорили о Ги, его творчестве… В момент расставания Лора сказала великой трагедийной актрисе: «Вы обладаете гением, признанным всеми; чего еще мне пожелать для вас?» – «Покою», – ответила гостья. Мадам де Мопассан печально улыбнулась и ответила: «И вы тоже – пожелайте этого той, которая обретет покой только после смерти». Лора угасла 8 декабря 1903 г. в Ницце, на 82-м году жизни, и вопреки желанию сына, согласно своей последней воле обрела вечный покой в той же земле.

Фото



Ги де Мопассан представляет свои сочинения. С анонимной карикатуры. Фото Рожер-Вьолле.

Лора де Мопассан, мать писателя. Фото Ж. —Л. Шарме.

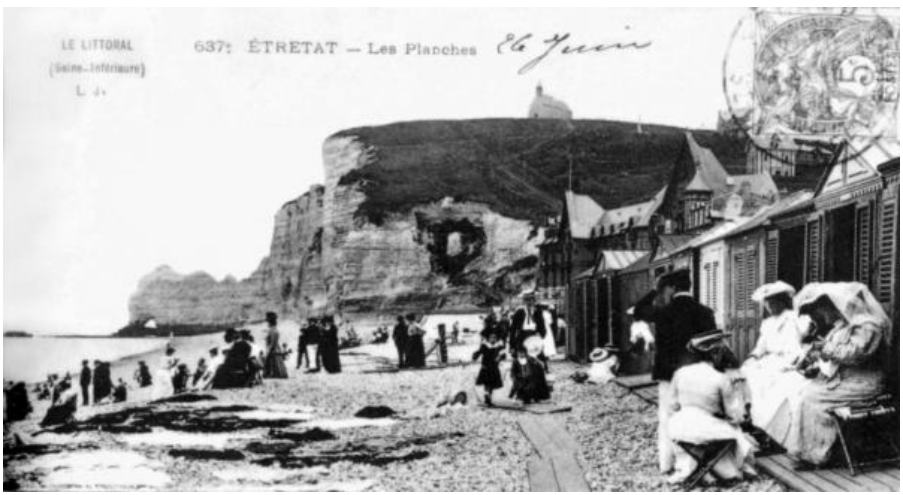
Гюстав де Мопассан, отец писателя. Коллекция Сиро-Анжеля.

Эрве де Мопассан, брат писателя. Коллекция Сиро-Анжеля.

Ги де Мопассан семи лет от роду. Коллекция Сиро-Анжеля. Фото Вица, Руан.

Гюстав Флобер. Фото Эдимедиа.

Луи Бушле. Фото Б.Н.

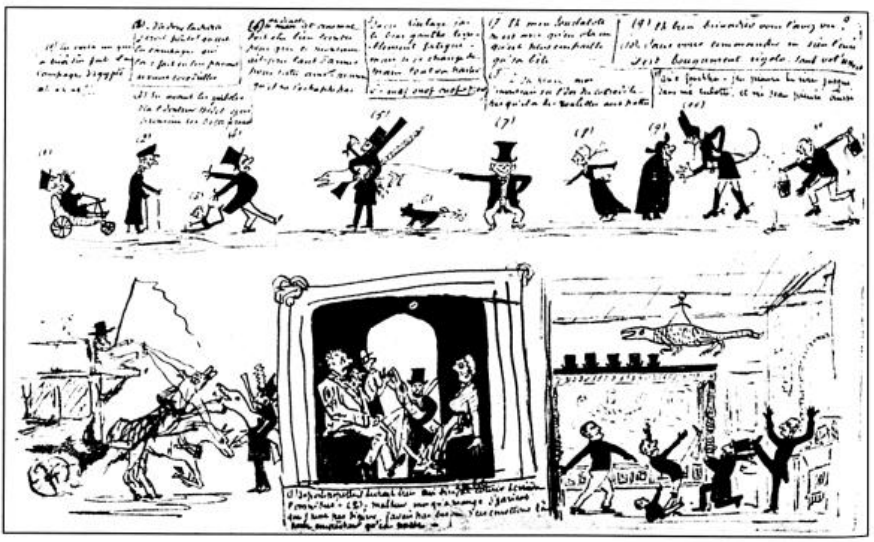


Пляж в Этрета. Фото Б.Н.

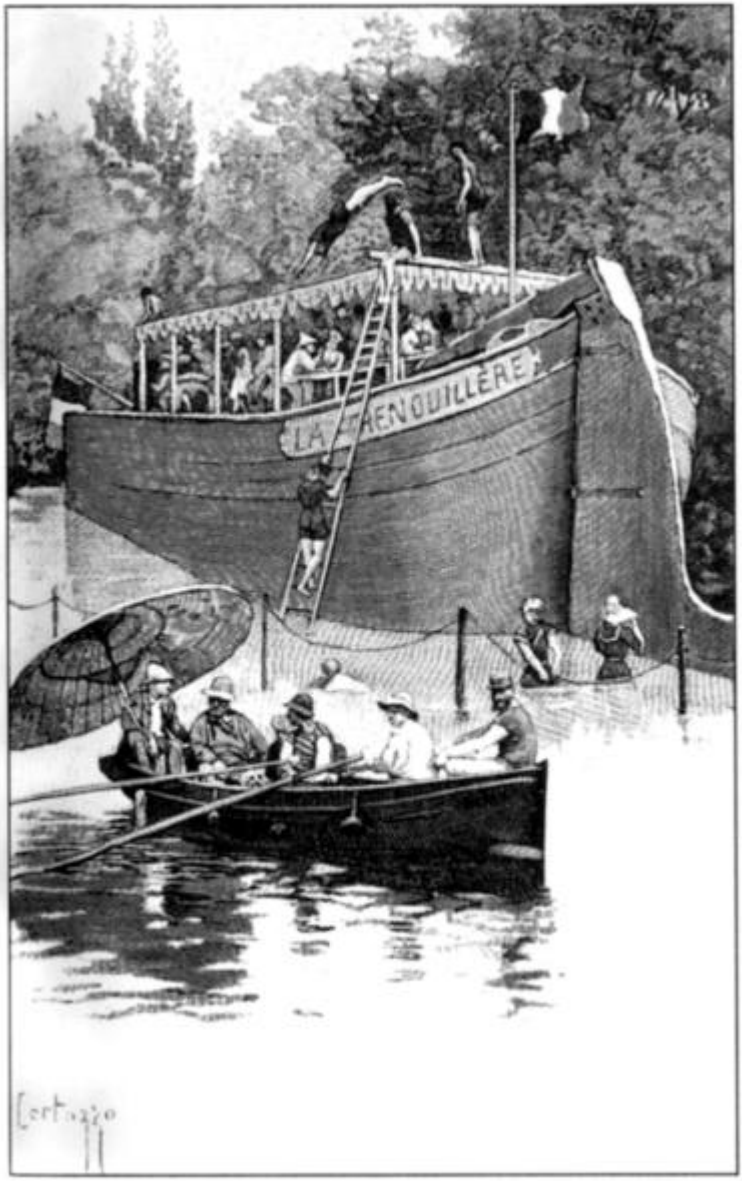
Замок Мироменшль (коммуна Турвшль-сюр-Арк), где родился Ги де Мопассан. Фото Рожер-Вьолле.

Ги де Мопассан – служащий Морского министерства. Коллекция Сиро-Анжеля.

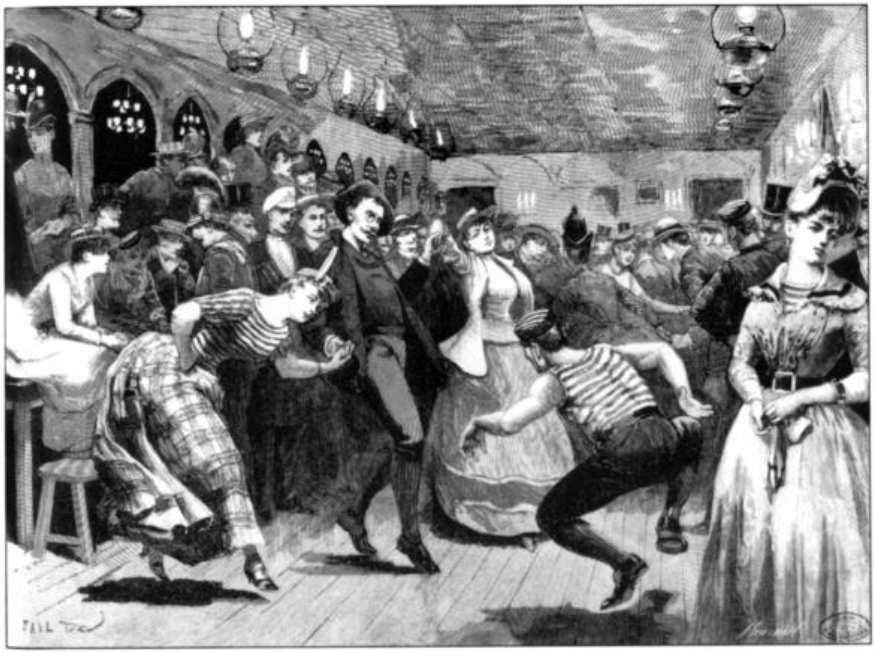
Ги де Мопассан в лодке с двумя подругами. Ок. 1875 г. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.



Письмо Мопассана к Луи ле Пуатевену от 20 февраля 1875 г. с юмористическими рисунками. Париж, фото Ж. —Л. Шарме.

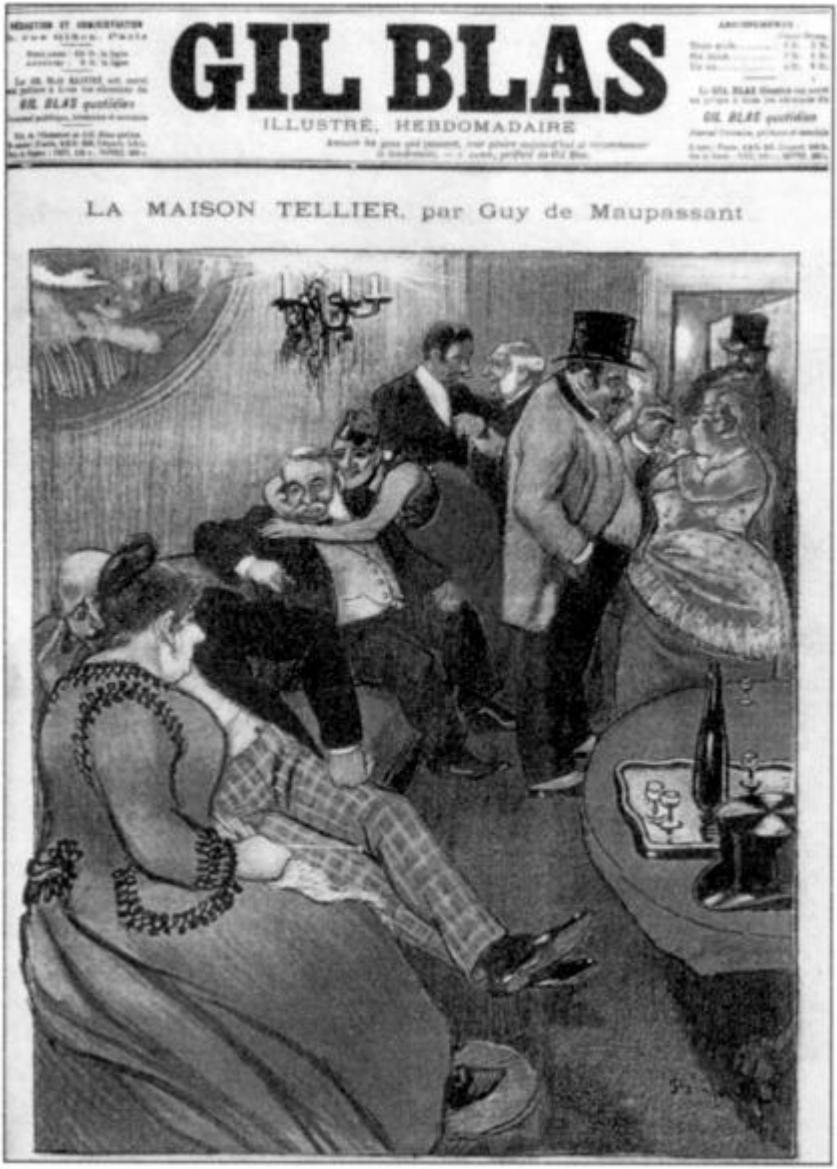


«Лягушатня» на острове Круасси. Иллюстрация Кортаццо. Фото Ж. —Л. Шарме. Внизу: Бал в «Лягушатне» вечером в четверг. 1885.

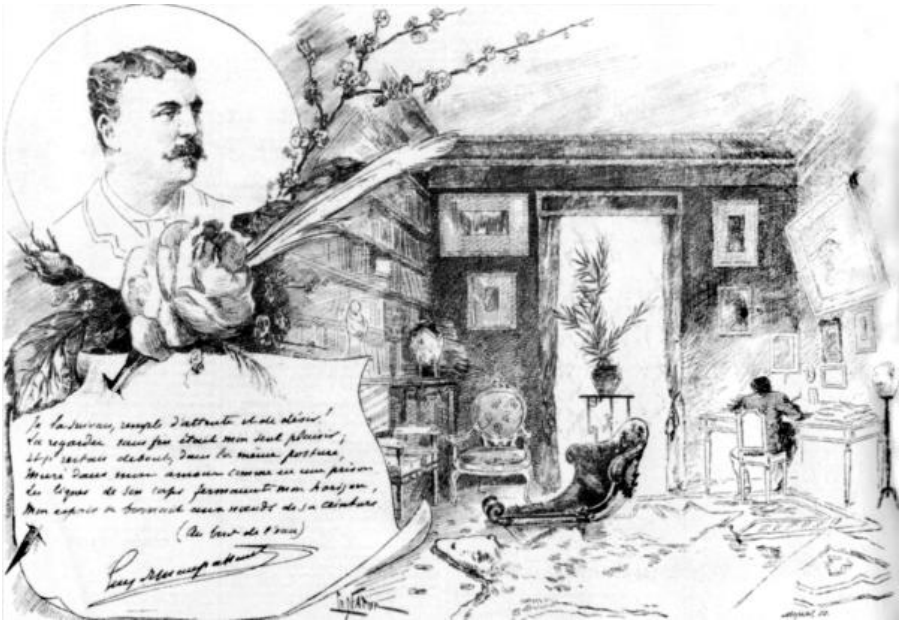


Гравюра Гюсмана по рисунку Десте. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Франсуа Тассар в эпоху, когда он состоял на службе у Мопассана. Фото Ж-Л. Шарме.


GIL BLAS
ILLUSTRÉ, HEBDOMADAIRE
LA MAISON TELLIER, par Guy de Maupassant

«Заведение Телье», опубликованное на страницах «Жиль Бласа» в номерах от 9, 16 и 23 октября 1892 г. (С) Харбин/Тапабор



Рабочий кабинет Мопассана. Рисунок из газеты «Ля Журнэ» от 15 дек. 1885 г. Фото Ж.-Л. Шарме.

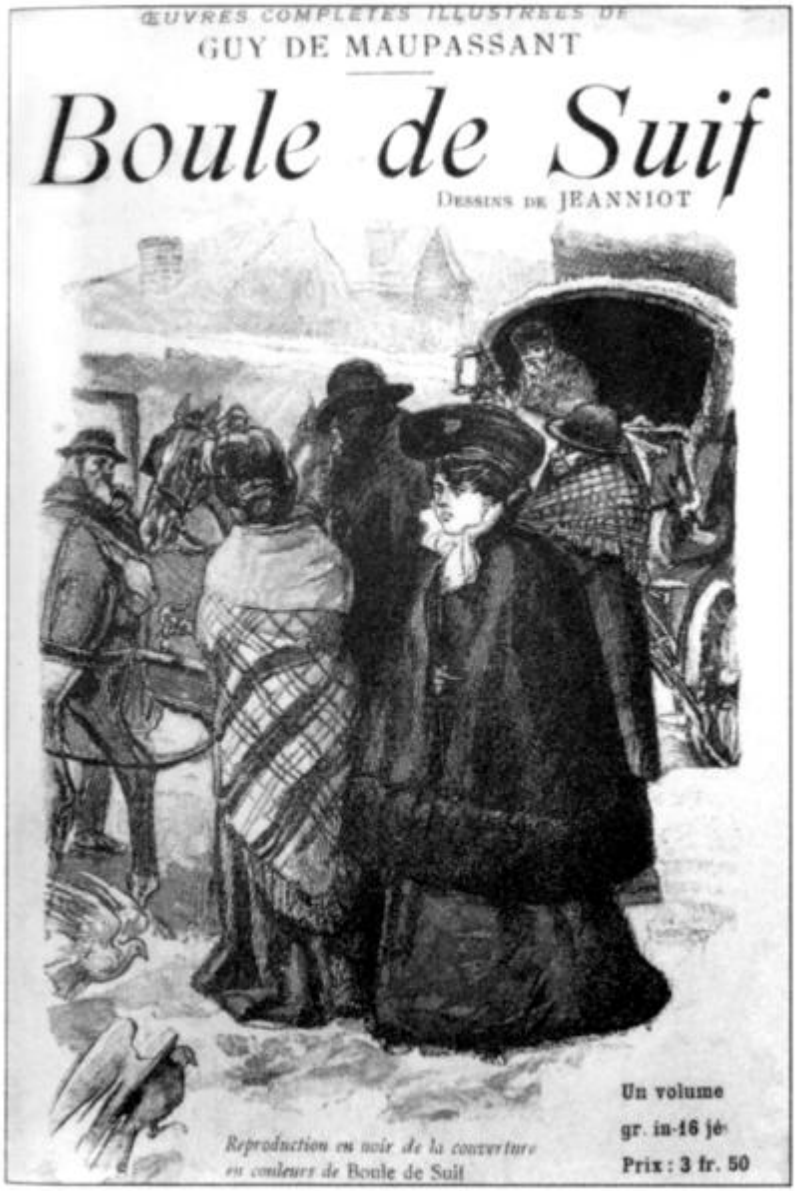
Le numéro (15 pages de texte) : 15 cent.

LA VIE POPULAIRE

DIRECTION

LA MAIN

Иллюстрация к «Руке» Эд. Зье, опубликованная в «Ля Ви Попюлер» от 10 мая 1885 г. Фото Ж.-Л. Шарме.



Реклама «Пышки», опубликованная в «Нотр кер» (1902 г.). Фото Ж.-Л. Шарме.

«Ле Орля». Иллюстрация Жюлиана-Демази, 1910. Фото Ж.-Л. Шарме.

Эдмон де Гонкур. Фото Поля Надара.

Анри Сеар, гравюра Ф. Демулена. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Поль Алексис. Гравюра Ф. Демулена. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Мадам Каэн д'Анвер. Портрет работы Леона Бонна, 1891.

Эмиль Золя. «Рисунок с натуры», 1890. Фото Ж.-Л. Шарме.

Ги де Мопассан. Акварель работы Жана-Батиста Гюта, 1888 г. Париж, музей Карнавале. На врезке: отрывок из рукописи главы IX романа «Жизнь». Архив Талландье.

Эрмина Леконт де Нуи. Портрет работы Тристана Ришара. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Жизель д'Эсток в костюме студента коллежа. Париж, Б.Н. Фото Ж.-Л. Шарме.

Ги де Мопассан, мадам де Брассья, Мельхъор де Вогю, мадам Стро и генерал Анненков. Июль 1888 г. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Мадам Стро, урожд. Женевьева Алеви. Париж, Б.Н. Эстамп. Фото Б.Н.

Эммануэла Потоцкая. Портрет работы Леона Бонна. 1880. Байонна, музей Бонна. (С) Архивы Фото-Париж/СПАДЕМ.

Великая русская художница Мария Башкирцева, Фото Рожер-Вьолле.

Портрет Марии Канн работы Леона Бонна, 1882. Байонна, музей Бонна. (С) Архивы Фото-Париж/СПАДЕМ.

Жорж Легран, Ги де Мопассан, Эрмина Леконт де Нуи, Жизель д'Эсток, неизвестная дама и графиня Потоцкая играют в теннис. С картины Луи-Эдуарда Фурнье. Париж, Б.Н. Фото Ж.-Л. Шарме.

«На воде». Иллюстрация Лано, 1904. Фото Ж.-Л. Шарме.

Лора и Гюстав де Мопассан со своей маленькой дочкой Симон в Ницце. Париж, Б.Н. Фото Б.Н.

Ницца, Променад дез Англе в 1883 г. Библиотека декоративных искусств. Фото Ж.-Л. Шарме.

Раймонд, один из матросов яхты «Милый друг». Рисунок работы Риу, 1888. Париж, Б.Н. Фото Ж.-Л. Шарме.

A VENDRE

YACHT "BEL-AMI"

Yawl de 20 Tx

Désarmé dans le Port d'ANTIBES (Alpes-Maritimes)

DESCRIPTION

Dimension. — Longueur totale, 11,60 ; Longueur de l'étrave à l'étambot, 12,30 ; Bau, 3,34 ; Tirant d'eau, 2,50 ; Hauteur des chambres, 1,30, sous barrots.

Tonnage. — 20 tonneaux de yacht ; 10,50 tonneaux de douane.

Construction. — Construit en bois en 1879 par MILLER, de Lymington (Angleterre), chevillé en cuivre, renforcé et reboulé en cuivre à la fin de 1889 ; voilier de Lapthorn et Ratsey de 1899 ; lest intérieur, 3 tonneaux de plomb et 8 tonneaux de fonte ; quille en plomb de 2 tonneaux.

Très beau yacht et bon voilier par grosse mer, le tout en parfait état.

Pour plus amples détails et permis de visiter, s'adresser à :

MM. CLERC & C^ie^, Seuls Agents
55, Rue de Châteaudun, PARIS

Et à **M. LAVAREILLE**, Administrateur Judiciaire à PARIS, Rue de Verneuil, 20

Объявление о продаже яхты «Милый друг». Архив яхт-клуба Франции. Фото Ж.-Л. Шарме.

Бернар, капитан яхты «Милый друг». Рисунок работы Риу, 1888. Париж, Б.Н. Фото Ж.-Л. Шарме.

Доктор Антуан-Эмиль Бланш. Коллекция Сиро-Анжеля.

Доктор Андрэ Мерио. Париж, Б.Н. Фото Ж.-Л. Шарме.

Памятник Ги де Мопассану в парке Монсо в Париже. Работа Рауля Верле, 1897 г. Фото Рожер-Вьолле.

Клиника доктора Бланша в особняке княгини де Ламбаль в Париже. Фото Рожер-Вьолле.

notes

Примечания

1

Пишется: Laura. (*Прим. пер.*)

2

Лора ле Пуатевен родилась 28 сентября 1821 года в Руане; Гюстав Мопассан – 27 ноября 1821 года в Бернэ (департамент Эр). (*Прим. авт.*)

3

Ныне набережная, носящая имя Ги де Мопассана. (*Прим. авт.*)

4

Если в акте о рождении Ги де Мопассана утверждается, что он увидел свет в Турвиле-сюр-Арк, то составленный в Париже акт о смерти писателя называет местом его рождения Сотвиль, близ Ивето. Возможно, в документ вкралась описка, и писец имел в виду деревню Соквиль (Sauqueville), близ которой расположен замок Миромениль. Некоторые биографы, как, например, Жорж Норманди и Рене Дюмениль, доверяясь достаточно хрупким устным свидетельствам, поддерживают версию о рождении Ги де Мопассана в Фекане, в доме № 98 по рю Су-ле-Буа. Однако согласно недавно найденным документам замок Миромениль был сдан в аренду с августа 1849 г. «с находившейся в нем мебелью», а в октябре того же года эта мебель была продана с публичных торгов владелицей, мадам де Мареско; часть ее купил мосье Гюстав де Мопассан, который **уже находился на месте** (alors qu'il se trouvait déjà dans les lieux), как то подчеркивает исследование мадам Легра. Как следствие, представляется, что Ги де Мопассан и впрямь увидел свет в шато де Миромениль, как гласит официальная версия, а не в Фекане. (*Прим. авт.*)

5

A. Lumbroso.: Souvenirs sur Maupassant.

6

«Гарсон, кружку пива!»

7

Из статьи в журнале «Жиль Блас». 1883 г.

8

Буквальное значение слова: изобилие, но также и «сильно разбавленное вино». (*Прим. пер.*)

9

Как тут не вспомнить аналогичную шалость юного Пушкина со товарищи в Царскосельском лицее! (*Прим. пер.*)

10

Забавы, шалости (*фр.*).

11

Любовью к плоти и любовью к морю (*фр.*).

12

Saint-Charlemagne – праздник учащихся лицеев и колледжей во Франции, отмечаемый 28 января. (*Прим. пер.*)

13

Бюффон, Жорж (1707–1788) – знаменитый французский натуралист, член Парижской академии, автор мастерски и увлекательно написанной 36-томной «Естественной истории». Энциклопедист. (*Прим. пер.*)

14

A. Lumbroso. Souvenirs sur Maupassant.

15

То же, что референдум. (*Прим. пер.*)

16

Для наглядности представим себе пять тогдашних франков – крупную серебряную монету вроде знакомого нам царского рубля. А теперь вообразим себе гору из миллиарда таких монет… Да, было от чего французам в отчаяние прийти! (*Прим. пер.*)

17

Вот более точная датировка, которую у нас еще недавно полагалось знать каждому школьнику: 18 марта восставший пролетариат свергнул господство буржуазии, 28 марта была провозглашена Коммуна; 21 мая версальцы вступили в Париж, и до 28 мая коммунары сражались на баррикадах. Об этом мятежном периоде истории Парижа на русском языке существует гораздо больше литературы, чем собственно о французской столице. (*Прим. пер.*)

18

В 1871 году всякий мобилизованный еще мог подобрать себе замещающего среди немобилизованных, естественно, на условиях уплаты тому оговоренной суммы. Практика «замещения» была упразднена в 1872 г., когда рекрутчина по жеребьевке была заменена обязательной для всех военной службой. (*Прим. авт.*)

19

110 тогдашних франков примерно равняются 1760 теперешних (по состоянию на конец 1990-х гг. – *Прим. пер.*) франков. Так, писарь в конторе получал жалованья 145 франков в месяц – на теперешние деньги 2320. Накануне 1900 года жалованье учителя составляло в среднем 100 франков в месяц. (*Прим. авт.*)

20

С у – монета в 5 сантимов, 1/20 часть франка. (*Прим. пер.*)

21

В книге Армана Лану «Мопассан» (русское издание: М., 1971. С. 60).

22

A. Lumbroso. Souvenirs sur Maupassant.

«Лягушатня» (*фр.*).

24

Робер Пеншон отказывался садиться за весла, мотивируя это тем, что может опрокинуть лодку. (*Прим. авт.*)

25

УТОЧНЕНИЕ. Стихи эти датированы 2 июля 1885 года – «в них ирония пресыщенного человека, вернувшегося в места своих юношеских похождений». // *Лану А.* Мопассан. М., 1971. С. 92. (*Прим. пер.*)

Перевод Н.И. Пожарского.// Мопассан, Ги де. Полн. собр. соч. Т. 12. Письма. М., 1958. С. 12.

27

Moule – здесь: растяпа, шляпа (*фр.*)

28

Впервые «Лепесток розы» опубликован на русском языке только в 1992 году, причем автор перевода – дама, Н.Попова. См.: Ги де Мопассан, знакомый и незнакомый. М., ТОО «Внешсигма», 1992. Сост. Н.Поповой. (*Прим. пер*.)

29

Дневник от 5 марта 1891 г.

30

Здесь у нашего героя малоудачная претензия на остроумие: Maupassant превратил себя в Mau(vais) passant, что значит «дурной прохожий». (*Прим. пер.*)

31

Henry Roujon. Souvenirs. // La Grande Revue, 15.02. 1904.

32

Мак-Магон, Патрис (1808–1893) – маршал Франции, герцог (звание и титул получил за победу в 1859 г. при Мадженте). Руководил армией, разгромленной в 1870 г. под Седаном. Командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуну в 1871 г. В 1873–1879 гг. – президент Французской Республики; в 1877 г. участвовал в подготовке сорвавшегося монархического переворота. (*Прим. пер.*)

33

Заболонь (бот.) – молодой слой древесины, лежащий непосредственно под корой. (*Прим. пер.*)

34

Терье, Андре (1833–1907) – французский поэт и романист. (*Прим. пер.*)

35

По тем же мотивам пришлось столкнуться с правосудием и Бодлеру после публикации в 1857 г. «Цветов зла». (*Прим. авт.*)

Здесь в значении «черт побери!» (*фр.*)

37

Имеется в виду граф Жермини, подвергавшийся в 1876 году преследованиям за «покушение на нравственность». (*Прим. авт.*)

38

Беотия– наряду с соседней Аттикой наиболее значительная область Центральной Греции; из Беотии происходили Гесиод, Пиндар, Плутарх. Афиняне считали беотийцев грубыми, мужиковатыми и неуклюжими людьми – видимо, в этой связи и вспоминает о Беотии Флобер. (*Прим. пер*.)

39

Отметим, что судьба Адриенны оказалась трагична: растеряв клиентов, она покончила с собою в крайней нищете в 1892 году, задолжав хозяину семь франков. // См.: *Лану, Арман.* Мопассан. М., ЖЗЛ, 1971. С. 114. (*Прим. пер.*)

Однако окончательно отчисленным из штатов министерства Мопассан оказался только в 1882 г. (*Прим. авт.*)

41

У Труайя ошибочно: **Луи** ле Пуатевену. (*Прим. пер.*)

Cf. George Normandy. La Fin du Maupassant.

43

Мало, Гектор (1830–1907) – французский писатель. Наиболее известны его романы «Без семьи» (1878) и «В семье» (1893), живописующие бедственное положение тружеников, особенно детей. (*Прим. пер.*)

«хорошему вкусу» (*фр.*).

Сирокко – знойный южный или юго-восточный ветер, дующий из пустынь Северной Африки или Аравийского полуострова и приносящий большое количество песка и пыли. (*Прим. пер.*)

Именно так, не путать с месяцем Термидором! (*Прим. пер.*)

47

Обратим внимание на игру слов: фамилия издателя Havard произносится как avare – скупердяй, жадюга! Трудно поверить, чтобы в общении с издателем Мопассан хоть раз не сыграл на этом. (*Прим. пер.*)

48

По-французски «La Maison Tellier» буквально переводится как «Дом Телье». (*Прим. пер.*)

49

В оригинале непарламентское выражение «pète plus haut que son derrière», буквально: «п…дит выше собственной ж…пы», что приблизительно значит: «живет не по средствам», «мотает деньги». (*Прим. пер.*)

50

Здесь трудно поддающаяся переводу игра слов: vers – стихи и verres – бокалы, campagne – битва и champagne – соответственно, шампанское. (*Прим. пер*.).

51

Указ об амнистии коммунарам был проголосован летом 1880 г. (*Прим. авт.*)

52

Валлес, Жюль (1832–1885) – автор автобиографической трилогии «Жак Вентра», в которой даны предыстория и история Парижской коммуны. Издавал революционную газету «Крик народа» (Cri du peuple). (*Прим. пер.*)

53

Франсуа Тассар оставался на службе у Мопассана до самой его смерти и написал с помощью журналиста два тома воспоминаний о своем хозяине. Первый – «Воспоминания о Ги де Мопассане, написанные его камердинером Франсуа» – вышел в свет в 1911 г.; второй – «Новые воспоминания» – в 1962-м. Сам Франсуа Тассар скончался в январе 1949 года в Рубе, на 83-м году жизни. (*Прим. авт.*)

54

Речь идет о женском монашеском ордене «Сердце Иисусово» – Сакре-Кёр; монахини общины Сакре-Кёр владели множеством пансионов, где воспитывались барышни из дворянских и буржуазных кругов. (*Прим. пер.*)

A. Lumbroso. Souvenirs sur Maupassant.

56

Так в издании: *Мопассан, Ги де*. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1958. С. 253. У Труайя дата: 13 марта 1884 г. (*Прим. пер*.)

57

София-Матильда-Аделаида-Дениз де Морни, дочь герцога, вышла замуж за маркиза де Бельбеф в 1881 г. (*Прим. автора.*)

Как у Богородицы (*фр.*).

59

Разведясь в 1901 г., графиня Потоцкая поселилась в доме № 41 по авеню Теофиля Готье и умерла в 1943 г. в одиночестве и нищете; ее тело будет найдено обглоданным крысами. (*Прим. авт.*)

60

Переписка Мопассана и Марии Башкирцевой приводится по изданию: Ги де Мопассан, знакомый и незнакомый. М., 1992. С. 253–269.

61

Говорящая фамилия: по-французски savant значит «ученый». (*Прим. пер.*)

На местном наречии называются: *лаццарони*. (*Прим. пер.*)

63

Как признается сам Мопассан, он вообще просил своего друга читать ему страницы «Жерминаль» вслух. (*Прим. пер.*)

Рихард Вагнер скончался в 1883 г. (*Прим. пер.*)

65

Письмо к Морису Вокеру от 17 июля 1885 г.

Или: «А жизнь проходит мимо» («En regardant passer la vie»).

67

В Полн. собр. соч. Мопассана (изд-во «Правда», Москва, 1958. Т. 12. С. 229) датировано началом ноября 1887 г.; у Труайя – 1888 г. (*Прим. пер.*)

68

Через несколько лет после бракосочетания Марии с мосье Канном этот последний оказался в психиатрической клинике доктора Бланша, где и умер в безумстве. (*Прим. авт)*.

69

В оригинале – труднопереводимая игра слов: «on s’amusé à monter les pires bateaux»: «все забавлялись тем, что сажали его в самые негодные лодки».

70

Основанная по инициативе Эдмона де Гонкура согласно его завещанию, Гонкуровская Академия фактически официально начала свое существование только в 1902 г., а первая Гонкуровская премия была присуждена годом позже. (*Прим. авт.*)

71

В оригинале труднопереводимая игра слов. «Baudruche gonflée» – это и «воздушный шар», и «надутый пустомеля». Пожалуй, можно передать приблизительно как «надутый пузырь». (*Прим. пер.*)

Подробнее об этой стороне жизни Мопассана см. в: *Лану, А.* Мопассан. М., ЖЗЛ, 1971. С. 245–250. (*Прим. пер.*)

73

Жозефина Литцельман ушла из жизни в 1920 г., 63 лет; Люсьен скончался в 1947 г., Люсьенна – в 1954-м, а Маргарита – в 1951 г. Эта последняя оставила двух дочерей. (*Прим. авт.)*

Великий Старец посетил эти края в 1858 году; ко времени приезда сюда Мопассана еще пребывали в живых сопровождавшие Флобера в этой поездке люди. (*Прим. пер.*)

75

Мопассан позировал также художнику Жану-Батисту Гюту (Guth), который создал в 1888 году его акварельный портрет. (*Прим. авт.*)

На сегодняшние (конца 1980-х гг. – *Прим. пер.*) деньги около 2 миллионов франков. (*Прим. авт.*)

77

Фарандола (от прованс. farandoulo) – провансальский народный хороводный танец. Темп быстрый, сменяющийся более медленным. Жанр фарандолы использовался Шарлем Гуно, Жоржем Бизе и др. (*Прим. пер.*)

Живопись-«обманка» (*фр.*).

Городовой (*фр.*).

«Превосходно! Превосходно!» (*фр.*)

81

Массне, Жюль (1842–1912) – французский композитор, мастер лирической оперы («Манон», «Вертер» и др.). Возможно, на празднестве звучала его знаменитая «Элегия», доныне популярная у многих музыкантов. (*Прим. пер.*)

82

Термин «зомби» (из африканского zumbi – амулет, талисман) появился лишь в недавнее время; простим автору этот анахронизм! (*Прим. пер.*)

83

Отметим разночтения с А. Лану: у него Мопассан прямо из Санта-Маргериты направляется в Тоскану поездом. / См.: *Лану, А.* Цит. соч. С. 299. (*Прим. пер.*)

Бей (от тюрк. bai – богатый) – на Востоке: богач, землевладелец. (*Прим. пер.*)

85

Тэн, Ипполит (1828–1893) – французский философ, литературовед. Родоначальник культурно-исторической школы. (*Прим. пер.*)

А вот как развивает эту тему А. Лану:

«Существовал ли прототип Мишель де Бюрн? Прежде всего настораживает разительное сходство между романом, пережитым художником Жак-Эмилем Бланшем, который был влюблен в Потоцкую, и романом, написанным Ги де Мопассаном. Сам Жак-Эмиль Бланш приложил все усилия к тому, чтобы книга об этой несчастной страсти – „Эймерис“, вышедшая в 1922 году, выглядела скорее автобиографией, чем романом: „Часть романа, названная мною „Лючия“, – это и есть рассказ о графине Эммануэле Потоцкой“.

Незадолго до того, как Мопассан приступил к работе над романом „Наше сердце“, он снова встретился с Мари Канн, за которой давно уже ухаживал.

По версии приятельниц Мари Канн, Мишель де Бюрн – это сама Мари. В действительности Мишель де Бюрн из романа был свойствен „ледяной огонь“, характерный для Потоцкой. Мари Канн пылала другим огнем – не столь ледяным и ослепительным; как только она оставила Поля Бурже, то не замедлила доказать Ги свое любовное расположение, весьма, к слову сказать, утомительное. Мишель – это психологический слепок с Эммануэлы; ей льстит, что мужчины ходят за ней стадом зачарованных боровов. С другой стороны, Мишель – это и Мари Канн, с ее несравненной светскостью и главным образом с ее нежеланием скрывать свою связь с Мопассаном. Но какова же внешность этой прелестной Мишель? Фотографии и портреты Эммануэлы и Мари не имеют ничего общего с внешностью возлюбленной Мариоля.

Объяснение этому весьма простое. Если Эрмина Леконт де Нуи, узнав себя в Мишель, решила в ответ на „Наше сердце“ написать „Любовную дружбу“, то, значит, у нее были на то веские основания. Ее холодность напоминала холодность героини, да и внешне она очень похожа на Мишель».

Лану А. Цит. соч. С. 308–309.

Пишется: Hallays. (*Прим. пер.*)

Маршан – во французском языке вообще купец, торговец; в русском языке закрепилось в значении: торговец картинами и т. п. (*Прим. пер.*)

89

Гризетка – молодая девушка (швея, хористка и др.) не слишком строгих правил; персонаж романов, комедий и др. из французской жизни XIX в. (*Прим. пер.*)

Нечто вроде привычного нам худсовета. (*Прим. пер.*)

91

Пьеса в 4-х актах, поставленная в театре «Жимназ» 27 декабря 1890 г. (*Прим. авт.*)

В терминах наших дней: характеристику. (*Прим. пер.*)

Шикарной жизни (*англ.*).

Не следует смешивать с созвучным названием крымского курорта – Симеиза. (*Прим. пер.*)

Так у Труайя; по-видимому, все-таки «Стар». (*Прим. пер.*)

Находится по адресу: авеню де Грасс, 42. (*Прим. авт.*)

97

См.: Pierre Borel: Le Vrai Maupassant; Maupassant et l’Androgyne. // Gizèle d’Estoc. Cahièr d’Amour. (*Прим. авт.*)

Только в 1899 году, через шесть лет после смерти Мопассана, доктор Бабинский описал глазные нарушения как очевидный симптом сифилиса. В 1905 году Шаудинн и Гофман открыли патогенный фактор с названием *трепонема*; в 1913 году врач Ногуши представил доказательства, что сифилис на 3-й стадии не задерживается долее в гениталиях, но систематически атакует мозг, и с 1923 года в качестве меры борьбы с этим злом стали использовать соли висмута, пока в 1944 году не пришло куда более эффективное средство – пенициллин. (*Прим. авт.*)

Порода рыб. (*Прим. пер.*)

Калебаса – сосуд для воды из тыквы (обычно в странах Африки). (*Прим. пер.*)

101

Особняк мадам де Ламбаль поначалу был приобретен доктором Сильвестром-Эспри Бланшем, открывшим там клинику, которую унаследовал его сын Эмиль-Антуан. Рю Бретон в настоящее время называется рю Анкара. (*Прим. А. Труайя.*)